



# ЮНОСТЬ

10



РИСУНОК ХУДОЖНИКА ИГОРЯ БЛИОХА К РАССКАЗУ РАДИЯ ПОГОДИНА «ДУБРАВКА» (печатается в этом номере).

«...Она упивала на свой камень, садилась там, обхватив мокрые колени, и устало смотрела в море...»

# ЮНОСТЬ

ЛИТЕРАТУРНО-  
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И  
ОБЩЕСТВЕННО-  
ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЕЖЕМЕСЯЧНИК

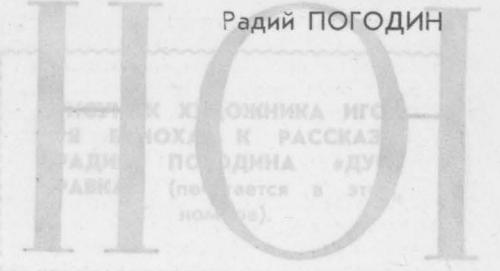
# 10

ОКТЯБРЬ · 1960

ГОД ИЗДАНИЯ ШЕСТОЙ

СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА



# ДУБРАВКА

*Рассказ*

Рисунки И. Блиоха.

**Д**убравка сидела на камне, обхватив мокрые колени руками. Смотрела в море. Море напоминало громадную синюю чашу. Горизонт далеко-далеко; видны самые дальние корабли. Они словно поднимаются над водой и медленно тают в прозрачном воздухе.

А иногда море становится выпуклым, похожим на ряду черных холмов. Оно закрывает половину неба. Чайки тогда вроде брызг. Чайки подлетают к самому солнцу и пропадают, словно испаряются, коснувшись его.

Дубравка пела песню. Она пела ее то во весь голос, то тихо-тихо, едва слышно. Песня была без слов. Про птичьи следы на сырьем песке, которые смыло волной. Про букашку, что сидит в водяном пузыре, оцепенев от ничтожного страха. О запахе, прилетающем с гор после дождика.

Пахнут розы. Пахнет прибой. Пахнут горы. Наверно, и небо имеет свой запах.

Дубравка пела о море, о зеленых волнах. Они бегут одна за другой, бегут, чтобы разбиться о камни.

Дубравка пела о людях. Люди встречаются и расходятся. К счастью, уходят не насовсем. Хорошие люди живут в памяти, даже говорят иногда, словно идут с тобой рядом. Об этих разговорах тоже поется в Дубравкиной песне. Их нельзя передать просто. Они покажутся непонятными, может быть, даже смешными.

Дубравка пела о разбитой раковине, о странных мальчишках...

Песня ее очень длинная. Может быть, не на один день. Может быть, не на один год. Может быть, на всю жизнь.

Камень стоял в море. Он давно оторвался от берега, сжался с волнами, с их беспокойным характером и, мокрый от брызг, сам блестел, как волна.

Дубравка приплывала сюда, взбиралась на эту одиночную скалу, когда ей нужно было разобраться в своих тревогах, сомнениях, обидах. Камень был ее другом.

На берегу у самой воды бродили мальчишки. Они мелко шкодничали на пляже. Зевали от жары и безделья.

— Смотрите, какое облако! Это волна хлестнула до самого неба и оставила там свою гриву.

— Дура,— скажут они и добавят: — Поди проветрись.

Мальчишки — враги.

Еще недавно Дубравка гоняла с мальчишками обшарпанный мячик, ходила в горы за кизилом и дикий сливой. Лазила с ними на заборы открытых кинотеатров, чтобы бесплатно посмотреть новый фильм. Потом ей стало скучно.

— Вст тебе рыбий хвост, будешь русалкой,— говорили мальчишки.

— Бессовестные обормоты,— говорила Дубравка. А почему бессовестные, и сама не могла понять.

Она смутно догадывалась, что теряет какую-то частьцу самой себя. Раньше все было просто. Теперь простота ушла. Любопытно и чуточку страшно.

В начале лета Дубравка записалась в драматический кружок старших школьников. Ее не принимали категорически. Староста сказал:

— Разве ты сможешь осмыслить высокую философию Гамлета? Ты еще недоразвитая.

Руководитель кружка, старый, седой человек с очень чистыми сухими руками, усмехнулся.

— «Гамлета» мы ставить не будем. Его смогли одолеть только два великих артиста: Эдмунд Кин и Павел Мочалов. Не нужно смешить людей.

Это он сказал старшим школьникам, чтобы сбить с них спесь и поставить на место. Старшеклассникам всегда кажется, что они умнее всех. Но они слишком обидчивы и не способны к сплочению. Они возмущались, доказывали, что Гамлет для них прост, как мычание. Пересорились между собой. И на следующий день согласились ставить «Снежную королеву».

Роль Маленькой разбойницы досталась Дубравке. Потом все начали влюбляться. Мальчишки писали девчонкам записки. Девчонки смотрели друг на друга злыми глазами. Они жеманно щурились, поводили плечами и неестественно хохотали по самому пустячному поводу.

Мальчишки вели себя шумно. Авторитетно сплетничали. О понятном старались говорить непонятно. Много восклицали и очень редко утверждали что-либо. Уходя с репетиций, они выжимали стойки на перилах мостов, на гипсовых вазонах с настурциями, толкали девчонок в цветочные клумбы. Некоторые закуривали сигареты.

Дубравку они заставляли передавать записки и надменно щелкали по затылку.

Сначала Дубравка вела себя смироно, терпела из любопытства. Потом начала грубить.

Девчонки говорили, забирая у нее письма:

— Опять послание. Надоели уже... Ты не разворачивала по дороге?

— Я также барахло не читаю, — отвечала Дубравка. Потом она укусила Снежную королеву за палец, когда та погладила ее по щеке.

Потом она взяла тетрадь, переписала в нее аккуратным почерком письмо Татьяны к Онегину и посыпала в запечатанном конверте самому красивому и самому популярному мальчишке — Ворону Карлу.

На следующий день мальчишки, кто силой, кто хитростью, заставляли девчонок писать всякие фразы — сличали их почерки с письмом. Только у одной девчонки они не проверили почерк — у Дубравки.

Дубравка сидела на стуле перед сценой. Ей хотелось забросать всех этих взрослых мальчишек камнями. Ей хотелось, чтобы взрослые девчонки натыкались на стулья, падали и вывихивали ноги. Она сидела, стиснув пальцы, и в глазах ее было презрение, глубокое, как море у ее камня.

К Дубравке подошел старый артист. Он положил ей на голову сухую теплую руку. Кивнул на сцену.

— Старшие школьники — бездарный возраст, — сказал он. — Им невдомек, что самая прелестная сказка называется «Золушкой». — Он ласково шевелил Дубравкины волосы. — Ты способная девочка, В тебе есть искренность. Кстати, почему тебя назвали Дубравкой?

— Не знаю...

— Красивое имя... Ты сможешь стать хорошей актрисой. Хочешь?

— Не знаю...

— Самая мудрая сказка на свете называется «Голый король». А искусство — это маленький мальчик, который сказал: «А король-то голый!... Значит, не знаешь, почему тебя назвали Дубравкой?»

— Просто назвали — и все.

Артист снял свою руку с ее головы и направился к сцене, очень прямой, очень легкий, словно под одеждой у него были натянуты струны и они тихо звенели, когда он шагал.

После репетиции Дубравка шла позади ребят. Мальчишки еще не утомились — допытывали, кто отважился послать такое письмо Ворону Карлу. Девчонки отвечали уклончиво, будто знали, да не хотели сказать.

Дубравка забежала вперед, забралась на решетчатый забор санатория. Крикнула с высоты:

— Это письмо написала я!

Снежная королева расхохоталась деревянным смехом.

— Врет, — сказала она.

Дубравка перелезла через забор и еще раз крикнула:

— Глупость вам к лицу! Всем, всем! Вы самый бездарный возраст!

Разбойники и тролли, потеряв свое степенство, ползли на забор. Но у Дубравки были быстрые ноги. Она знала отлично этот сад, принадлежавший санаторию гражданских летчиков.

Потом она приплыла к своему камню. Был уже вечер.

Она думала, почему так красива природа. И днем красива и ночью. И в бурю и в штиль. Деревья под солнцем и под дождем. Деревья, поломанные ветром. Белые облака, серые облака, тяжелые тучи. Молнии. Горы, которые тяжко гудят в непогоду. А люди красивы, только когда улыбаются, думают и поют песни. Люди красивы, когда работают. А еще знала Дубравка, что особенно красивыми становятся люди, когда совершают подвиг. Но этого ей не приходилось увидеть еще ни разу.

Волны шли с моря, как упрямые, беспокойные мысли. Они требовали внимания и сосредоточенности. Они будто хотели сообщить людям тайну, без которой трудно или даже совсем невозможно прожить на свете.

Волны следили за ходом времени. Они считали: «Р-ррраз!.. Два-а-а.. Р-ррраз!.. Два-а-а», — без конца, как маятник, непреклонный и вечный.

А на берегу лежали мальчишки — Дубравкины сверстники. Она изменила им, уйдя к старшим школьникам. Мальчишкам было досадно. В них жило чувство неудовлетворенной мести и мужского презрения. На берегу лежали враги.

Когда Дубравка вышла на берег, они окружили ее кольцом.

— Эй, ты, артистка из погорелого театра!

По лестнице на пляж спускались старшие школьники из драмкружка.

— Подайте ей как следует, — сказали они и прошли мимо.

Дубравка опустилась на теплую гальку.

Один из мальчишек, толстый, с большими кулаками, по прозвищу Утюг, толкнул ее коленом в плечо.

— Поднимайся давай!.. Поговорить нужно.

Дубравка вскочила. Ударила Утюга головой в подбородок. Утюг опрокинулся навзничь. Перепрыгнув через него, Дубравка побежала к лестнице.

Мальчишки бежали за ней, как уличные собаки за кошкой.

У морского вокзала беспокойно кружились люди. Они только что сошли с парохода. Расспрашивали всех прохожих, как проехать к санаториям и домам отдыха.

Дубравка подбежала к молодой женщине с желтым кожаным чемоданом.

— Тетенька, можно я постою возле вас?

— Спасибо за честь, — сказала женщина. — Мне очень некогда. — Потом она увидела мальчишек.

Мальчишки смотрели на Дубравку хищными глазами и откровенно потирали кудаки.

— Трудно тебе живется, я вижу. Ты не бойся, я тебя в обиду не дам.

— Я не боюсь. Просто их больше,—сказала Дубравка.—А вам в какой дом отдохнуть?

— Мне ни в какой. Я сама по себе.

Свет фонарь падал сверху на волосы женщины, зажигая в них искры. Ее глаза мягко мерцали в темноте.

«Ух, какая красивая!» — удивилась Дубравка. Она осторожно взяла женщину за руку.

— Вы комнату снимать будете? Пойдемте в наш дом. Мы живем в хорошем месте. Вам понравится, я знаю. Там есть одна свободная комната.

Всю дорогу Дубравка бежала боком. Она смотрела на женщину. Горло у нее пересохло от волнения. Дубравка глотала слюну и все боялась, что женщина сейчас повернется и уйдет в другую сторону, и след ее затеряется в узких зеленых улочках.

«Разве бывают такие красивые?» — думала Дубравка. Она снова тронула женщину за руку. Спросила:

— Скажите, пожалуйста, как вас зовут?

Так они познакомились: девочка Дубравка и взрослый человек Валентина Григорьевна.

**Д**ом, где жила Дубравка, имел устрашающе веселый вид. С одной стороны он был похож на кособокую мечеть, с другой — на греческий храм. Были здесь мансарды, мавританские галереи, крепостные башни, украшенные ржавыми флюгерами. Каменные и деревянные лестницы выползали из дома самым неожиданным образом. Одна из них, железная, даже висела в воздухе, как подвесной мост.

Дом покорял курортников своей безудержной фантастичностью. Вокруг него тесно росли кусты и деревья. Цветы пестрели на стенах, как заплаты на штанах каменщика. Это были южные растения: могучих расцветок и причудливых форм.

Валентина Григорьевна поселилась во втором этаже, в крошечной комнатушке, получив в свое распоряжение железную койку с сеткой, тумбочку, а также вид из окна на крыши, горы и море.

В небе тарактел рейсовый вертолет, летающий через перевал в душный областной центр. Ночь стекала с гор, наполняя улицы запахом хвои и горького миндаля.

Внизу, в такой же крошечной комнатушке, на такой же железной кровати, лежала Дубравка. Она думала о Валентине Григорьевне. Таких красивых женщин ей еще не приходилось встречать в своей жизни ни разу. Может быть, это сумерки виноваты? Может быть, днем Валентина Григорьевна станет обычной? Вечером люди всегда красивее. Вечером не видны морщины.

Дубравке было душно под простыней. Она встала с постели и, как была в трусиках и майке, полезла на улицу через открытое окно.

— Сломаешь ты себе когда-нибудь голову! — сонно проворчала Дубравкина бабушка. — Куда тебя все время носит?

— Я пойду спать в сад на скамейку, — шепотом ответила Дубравка. — Разве это комната? Здесь кошка и та задохнется.

— Иди. В твоем возрасте скамейки не кажутся жесткими, — сказала бабушка.

Так же, как и все постоянные обитатели дома, бабушка сдавала комнату на лето курортникам. Большой нужды у бабушки в этом не было, зато была большая привычка. Бабушка работала сестрой-хозяйкой в санатории металлургов. Она уходила на целые сутки, предоставляя Дубравку самой себе.

Если бы спросили Дубравку, хорошая ли у нее бабушка, она бы ответила:

— Лучше и не бывает.

Дубравке не спалось. Она смотрела на окно Валентины Григорьевны, все в серебристых лунных потоках. Скамейка качалась на гнилых столбиках-ножках. Дубравка вороилась с боку на бок. Потом встала и, краудучись, пошла к санаторию учителей.

В большом доме с каменными колоннами, с лестницами и балюстрадами из желтого туфа свет был погашен. В окнах колыхались шелковые занавески. Было похоже, что все отдыхающие сидят и курят назло врачам и белый дымок клубится возле каждого растворенного настежь окна.

В вестибюле дремала вахтерша, загородив лицо курортной газетой.

Вдоль песчаных дорожек, вокруг фонтана, который шуршал мягкими струями, жили цветы. Дневные цветы спали. Ночные цветы бодрствовали. Черные бабочки щекотали их хоботками и уносили на своих крыльях комочки пыльцы.

Дубравка посидела на каменной кладке забора. Потом тихо соскользнула в сад и, прикрытая кипарисовой тенью, побежала к клумбе с гвоздикой и гладиолусами.

Гладиолусы — очень изящные цветы. Ночью они напоминают балерин. Они будто поднялись на носочки и всплеснули руками.

Дубравка любила гвоздику. Еще давно бабушка сказала ей, что гвоздица — цветок революции.

Дубравка осторожно срывала гвоздику с клумбы, стебель за стеблем. На заборе она перебрала цветы и, спрыгнув на тротуар, пошла к своему дому.

Бензиновый запах осел на асфальт жирным слоем. В гаражах оставали автобусы. Прогулочные катера терпели о причалы белыми боками. В стеклах витрин отражались холодные звезды. Ночь пошла к своей грани. Она еще не начала таять, но уже где-то за горизонтом вырезал первый луч утра.

Во дворе Дубравка столкнулась с мужчиной. Он снимал комнату в Дубравкином доме. У него было двое ребят-близнецов. От мужчины пахло рыбой и табаком. Звали его Петр Петрович.

Дубравка спрятала цветы за спину.

— Я вижу насквозь, — сказал мужчина, — ты от меня ничего не скроишь.

— И не собираюсь... — Дубравка встряхнула буket. — Я нарвала их в санатории учителей.

— Зря, — сказал мужчина. — В городском саду гвоздика крупнее.

Дубравка не ответила. Она поднялась на висячую лестницу. С лестницы на карнизы. Мужчина смотрел на нее снизу и попыхивал папиросой.

Ну и пусть смотрит. Дубравка дошла до водосточной трубы и полезла по ней к башенке с флюгером. Еще по одному карнизу она дошла до открытого окна Валентины Григорьевны. Посидела на подоконнике, свесив ноги, посмотрела, как мигает красноватый огонь на маяке. Потом влезла в комнату, нащупала на тумбочке стакан, налила в него воды из кувшина и поставила в воду цветы.

Обратно она ушла тем же путем.

**Д**убравку разбудило солнце.

На мощенной плитняком дорожке двое малышей в красных трусиках с лямками наложивали на прутья апельсиновые корки. Малыши были прутьями по подошвам сандалей. Апельсиновые корки летели, как желтые ракеты, и мягко

шлепались возле коротконогой белой собачонки. У собаки были страшные усы, лохматые брови, борода клином. Только глаза у нее были добрыми и чуть-чуть грустными. Она пыталась ловить апельсиновые корки зубами, даже грызла их на потеху малышам и морщилась. Потом она поднялась из уютной солнечной лужи под кустом, издала несколько звуков, похожих на кашель, и побежала на середину солнечной реки, которая называлась здесь улицей Грибоедова.

Собачонку звали Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Была она ничья и, возможно, поэтому никогда не голодала. Она зарабатывала хлеб собственной головой, кувыркаясь через нее; собственными лапами, так как умела ходить и на задних и на передних в отдельности. Она знала, что на человека можно тяянуть не более трех раз подряд, иначе тебя сочтут грубиянкой. И еще она знала: показывать зубы в улыбке гораздо прибыльнее, чем сканить их просто так.

Малышей в красных трусиках звали Сережка и Наташка. Брат и сестра. Были они двойняшками-близнецами. Когда они ревели, то становились друг к другу спиной, чтобы рев слышался со всех сторон. Дрались плечом к плечу. Засыпали вместе и просыпались одновременно. По очереди они только задавали вопросы.

Малыши подошли к Дубравке.

— Ты почему на скамейке спала? — спросила Наташка.

Сережке этот вопрос был неинтересен. Он, как мужчина, полагал, что человек может спать, где ему заблагорассудится. Он спросил:

— Скажи, кто главнее: колдунья, ведьма или баба-яга?

— Все главные, — ответила Дубравка. — Они различаются только по возрасту. Колдунья — это молодая девушка. Ведьма — женщина средних лет. Баба-яга — старуха.

— А есть колдовские дети? — тут же спросила Наташка.

Дубравка давно уже знала, что единственное спасение от вопросов — вопросы.

— Валентина Григорьевна не выходила? — спросила она. Брат и сестра переглянулись. Сказали хором:

— Какая?

— Очень красивая. Она комнату в той башне снимает.

Дубравкина бабушка высунулась в окно и позвала Дубравку завтракать.

— Как только она выйдет, — наказала малышам Дубравка, — кричите мне.

Сережка и Наташка важно кивнули.

Не успела Дубравка выпить кружку молока, как во дворе раздался крик:

— Дубравка, она вышла!

Дубравка выглянула в окно.

Посреди двора стояла Валентина Григорьевна. В руке она держала белую пляжную сумку. Платье на ней было тоже белое и узкое, в крупных пунцовых цветах.

Дубравка поперхнулась молоком. Днем Валентина Григорьевна оказалась еще красивее.

Бабушка посмотрела через Дубравкину голову во двор.

— Радуга, — сказала она. — Дай бог, чтоб не мыльный пузырь.

«Радуга, — подумала Дубравка. — Почему нет такого женского имени?» И спросила вдруг:

— Это ты меня Дубравкой называла? Почему?

— Так, — ответила бабушка.

Во дворе перед Валентиной Григорьевной, взявшись за руки, стояли Сережка и Наташка. Они смотрели на нее и деловито кричали:

— Дубравка, она вышла!

Потом Наташка спросила:

— Почему вы такая красивая?

— Потому что я мою уши, — сказала Валентина Григорьевна. Она хотела еще что-то сказать, но тут из дома вышел мужчина с такими же темными глазами, как у Сережки и Наташки. Он взял малышей за руки.

— Идемте немедленно мыть уши. Я тоже буду мыть душистым мылом.

— Вам это вряд ли поможет, — насмешливо сказала Валентина Григорьевна.

— Спасибо, я буду мыть уши без мыла... — Мужчина улыбнулся и повел ребят к набережной.

Валентина Григорьевна смотрела им вслед, покусывала губы, потом, спохватившись, крикнула:

— Пожалуйста! — И принялась разглядывать дом.

— Нравится? — спросил ее кто-то сверху.

Она обернулась, подняла голову. На ступеньке висячей лестницы сидела Дубравка.

— Здравствуйте! — сказала Дубравка.

Встав на цыпочки, Валентина Григорьевна пожала Дубравкину руку, крепко, как хорошему, верному товарищу. Потом спросила, махнув сумкой в сторону набережной:

— Кто этот человек?

— Это Сережкин и Наташкин отец. Петр Петрович. Он всегда дразнится. У него не поймешь, когда он говорит серьезно. Он прозвал наш дом Могучая фата-морганы.

— Почему?..

— Ему так хочется. Он чудак.

Валентина Григорьевна еще раз оглядела дом.

— Он, и правда, похож на фата-моргану.

— Может быть, — согласилась Дубравка, — только я не знаю, что это такое.

— Ничего, — сказала Валентина Григорьевна, — просто забавный мираж.

**M**альчишки лежали на пляже вверх лицом. Они изо всех сил надували животы. Считалось, что к надутому животу легче пристает загар. Лежать с надутыми животами тяжело. Скоро мальчишки устали, повернулись к солнцу спинами.

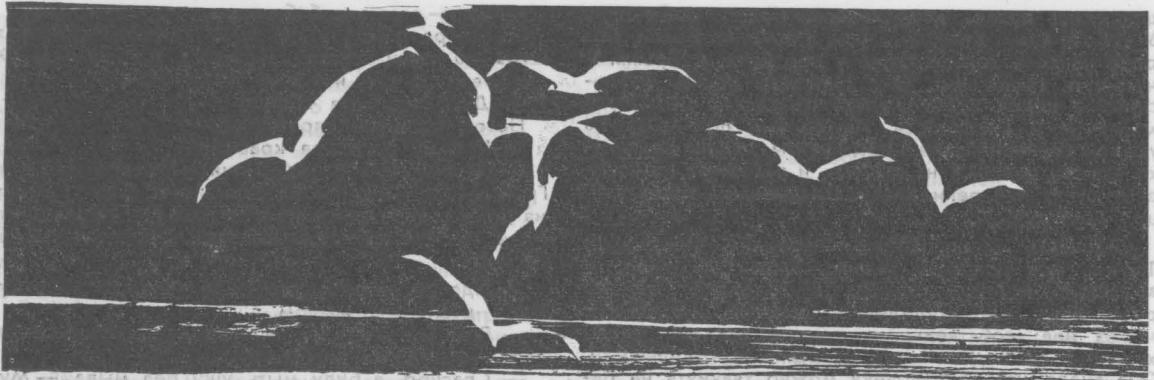
— Попадись мне эта Дубравка! — сказал Утюг ни с того ни с сего.

Его друзья не шелохнулись. Они лежали, словно пришитые к земле солнечными нитками. Им было лень говорить.

Утюг был местный. Прозище он получил за то, что не умел плавать, как это ни странно.

— Меня вода не держит, — объяснял он. — У меня повышенная плотность организма.

Утюг верховодил на берегу. Он бросал на спины загоральщиков сухой лед, выпрошенный у продавцов мороженого. Ловил девочонок в веревочные силки, закатывал им в волосы колючки. Но больше всего он любил посещать салон, где соревновались кондитеры. В этом салоне давали отведать любое пирожное, какое хочешь, душистые кексы и сливочное печенье. Нужно было только заплатить за билет, выслушать лекцию о белках, витаминах и углеводах. Пробовать можно бесплатно. Правда, очень скоро Утюга перестали туда пускать. У него оказался слишком большой аппетит и очень маленькая совесть.



«В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Он тянул ее



сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли» (стр. 8).

Утюга часто били. Но вчерашний Дубравкин удар Утюг считал оскорблением.

— Пусть только появится! — бормотал он. — Что лучше: леща ей отвесить или макарон отпустить?

— И того и другого, — предложил кто-то из ребят равнодушным голосом. — Чем больше, тем лучше.

— Ее сначала поймать нужно.

— Вон она идет! — крикнул Утюг, вскочив на ноги.

Мальчишки поднялись, стряхнули налившую на животы гальку. Они сумрачно глядели на Дубравку. А та даже не повернула головы в их сторону.

Дубравка шла по пляжу с Валентиной Григорьевной. Это было очень приятно и необычно. Головы загоральщиков поворачивались им вслед. Взгляды были всякие: восхищенные, удивленные, даже завистливые и злые. Не было равнодушных взглядов. Разогретые солнцем люди, обычно лениво уступающие дорогу, вежливо подвигались. Говорили «пожалуйста» — слово, которое не часто услышишь в магазинах, автобусах и на общественных пляжах.

Валентина Григорьевна и Дубравка выбрали место почти у самой воды. К их ногам подлетел волейбольный мяч. Какие-то загорелые парни прибежали за ним. Они разучились играть в волейбол и долго не могли подхватить мяч в руки. Они бы возились с мячом полчаса, улыбаясь и бормоча извинения, но Валентина Григорьевна сильным ударом отбросила злополучный мяч далеко за спину.

Потом по мелкой воде, громко хохоча и брызгаясь, прошли старшие школьницы из драмкружка. Они украдкой посматривали на Валентину Григорьевну.

— Дубравка, можно тебя на минутку? — сказала Снежная королева, грациозно изогнув спину.

— Что? — сказала Дубравка.

— Почему ты не ходишь в кружок? Ведь ты так хорошо играла, — ласково спросила Снежная королева, глядя через Дубравкину голову.

«Потому что вы злые кобылы, — хотела сказать Дубравка, — у вас только мальчишки на уме», — но промолчала.

— Кто эта женщина? — зашептали девчонки.

— Артистка из Ленинграда, — сказала Дубравка. — Народная артистка республики. Знаменитая.

Девчонки сдержанно загадали:

— Я говорила!

— Нет, это я говорила!

И только Снежная королева, не в силах совладать с ревностью, пожала плечами.

— Для народной артистки она недостаточно интересная. Серые глаза, подумаете! Черные кинематографичнее. И волосы...

— Нет, красивая! — возразила Дубравка. — Даже очень красивая, это всякий скажет.

— Красивая, — подтвердили остальные.

Дубравка фыркнула надменно и, выгнув спину, как это делала Снежная королева, подошла к Валентине Григорьевне.

— Жабы, — сказала она. — Лицемерки...

Потом мимо них прошли мальчишки.

Утюг будто ненароком споткнулся и упал. Поднимаясь, он швырнулся из-под ноги целый фонтан мелких камушков.

— Ладно, Утюг, — сказала Дубравка. — Запомни.

Валентина Григорьевна засмеялась.

— Смешная ты, Дубравка, — сказала она. — Ты, наверное, с целым светом воюешь.

— Хороших людей я не трогаю. А Утюг пусть запомнит.

Когда мальчишечки головы круглыми поплавками

заскакали на волнах, Дубравка скользнула в воду и поплыла вслед за ними.

Утюг порядочно отстал от приятелей. Он плыл, крепко вцепившись в надувной круг. Что-то цепкое обвило его ноги и с силой дернуло вниз. Страх — плохой товарищ. Утюг выпустил резиновый поплавок, заколотил руками по воде и тотчас окунулся с макушкой, блестяще оправдав свое прозвище.

Ноги его освободились.

Утюг вынырнул, хватил ртом воздух и увидел прямо перед собой Дубравку. Она прескокойно лежала на его круге.

— Тони, — сказала она.

Утюг покорно утонул.

Через секунду он снова вынырнул на поверхность.

— Отдай круг!

— Бери, — сказала Дубравка и оттолкнула круг от себя.

— Ап... — сказал Утюг. — Ап... — Волна забила ему рот мягкой соленой пробкой. Он бултыкался, не надеясь на помощь Дубравки и стыдясь крикнуть в ее присутствии. А она плавала рядом. И круг тоже плавал рядом.

Утюг тонул. Глаза его стали желтыми, выпученными, как большие янтарные бусины.

— Ладно, — наконец сказала Дубравка. — На сегодня хватит. — Она подтолкнула круг к Утюгу и, нырнув, скрылась в волнах.

Утюг выбрался на берег жалкий и обессиленный. Он усился возле Валентины Григорьевны. Долго кашлял, поджимал живот и фыркал, выдувая воду из носоглотки.

— Тяжело? — насмешливо спросила Валентина Григорьевна.

— Эх, — хрюпнула Дубравка, — чертова море!.. Чертова Дубравка, плавает, как акула!..

А Дубравка топила уже другого мальчишку. Она плавала лучше всех на этом берегу. В море невозможно было поймать ее.

— Пей наразан, Хлебай! — говорила она, влезая на шею своей жертве. — В следующий раз не будете меня задирать.

**С** этого дня началась громкая слава Дубравки. Мальчишки мстили ей на берегу всеми средствами, пускались на недозволенные приемы. Но Дубравку не так легко было застать врасплох. Она все время ходила под надежной защитой Валентины Григорьевны.

Дубравка топила мальчишек в море одного за другим. Потом она уплывала на свой камень, садилась там, обхватив мокрые колени, и устало смотрела в море.

Волны бухали тяжело и требовательно. Отступая от берега, они издавали такой звук, словно кто-то громадный всасывал сквозь зубы воздух. Волны поднимали гальку со дна. Круглые камни бежали за морем и грохотали. Казалось, проносятся мимо скорые поезда-экспрессы. Один за другим, один за другим. Куда они мчатся, в какую даль? К каким берегам, к каким океанам?..

Желтые пятна на воде сталкиваются, дробятся на сотни пронзительных вспышек. Черные мелкие крабы сидят в трещинах скалы, грызут слюдяные чешуики. Крабы боятся всего, даже птичьих теней.

Отдохнув, Дубравка торопилась обратно на берег, к женщине с большими серыми глазами. В этой женщине был какой-то другой мир, еще скрытый от Дубравки. Она даже не пыталась в нем разобраться. Но он тянул ее сильнее, чем море, горы, сильнее, чем всякие яркие краски земли.

Иногда вместе с Дубравкой приплывала к камню Валентина Григорьевна. Дубравка показала ей раковину. Раковина лежала глубоко на дне, и никто не мог до нее донырнуть. Валентина Григорьевна по-пробовала это сделать. Она вылезла из воды бледная и долго не могла отдохнуться. И долго у нее плыли круги перед глазами, завиваясь спиральями, как известковое тело раковины.

Валентина Григорьевна не мешала Дубравке воевать с мальчишками. Только просила:

— Не трогай, пожалуйста, Утюга в воде. Он и так наказан. — И спрашивала: — Из-за чего, собственно, разгорелась война?

Дубравка отвечала:

— Не знаю... Просто они все уроды. Противно на них смотреть.

Валентина Григорьевна смеялась.

Однажды вечером к Дубравкиному дому пришла делегация — драмкружок старших школьников вместе со своим руководителем.

Девчонки шли впереди. Они волновались, то и дело поправляли складки на юбках, неестественно приседали, поводили глазами в разные стороны. Мальчишки подобрали свои и без того поджарые животы. Никто из них не совал руки в карманы. Поэтому руки у них казались лишними. Старый руководитель то и дело покашливал. Он был в белом пиджаке. Лицо его было бледным и взъяненным.

Сережка и Наташка играли во дворе в камушки. Они первыми увидели нарядную делегацию. Первыми успели задать вопрос:

— Вы к кому?

— Мы хотим видеть народную артистку республики, — пересохшими голосами сказали девчонки.

Сережка и Наташка переглянулись.

— Какую?

— Такую... — Девчонки замялись. Потом одна из них, с голубым платочком на голове, в спектакле она играла Ворону Клару, выступила вперед.

— Артистка такая... Волосы у нее каштановые. Пышные. Глаза серые. Большие, большие...

— Ага, — кивнули Сережка и Наташка. Повернувшись к делегации затылками, запрокинули головы и дружно закричали: — Валентина Григорьевна!

Валентина Григорьевна выглянула из окна.

— К вам вон сколько людей!

Валентина Григорьевна сошла вниз и с растерянным любопытством спросила:

— Вы действительно ко мне?

— Действительно, — ответила за всех девчонка с голубым платочком на голове.

Ребята, стоявшие в задних рядах, приподнимались на цыпочки, чтобы лучше видеть артистку. Руководитель застенчиво улыбался.

— Мы пришли пригласить вас на генеральную репетицию нашего драмкружка, — разумявшись от собственной смелости, частила Ворона Клара. — Вы, как прославленная артистка, окажете нам честь. Мы будем очень рады. Мы все вас просим.

Валентина Григорьевна как-то жалобно улыбнулась:

— Но кто вам сказал, что я артистка?

— Мы знаем. Не стесняйтесь! — радостно закричал весь игровой состав «Снежной королевы».

— Нет, я не могу... Это — недоразумение...

Видя, что дело принимает неожиданный оборот, старый артист поспешил к ребятам на помощь. Он с достоинством поклонился.

— Дорогой коллега, — сказал он. — Я двадцать лет назад покинул театр. Сейчас многое изменилось. У вас могут быть личные мотивы скрывать свое имя.

Но просьба детей всегда была святой для артиста. Даже Василий Иванович Качалов, с которым я имел удовольствие работать на одной сцене...

— Это — недоразумение, — перебила его Валентина Григорьевна. — Никакая я не артистка. Я с удовольствием пойду к вам на репетицию. Но, ей-богу, я не имею никакого отношения к театру... Я просто инженер. Специалист по набивным тканям. — Она споткнулась на слове «специалист», посмотрела на артиста серыми испуганными глазами и добавила: — Я... Я могу показать документы... Извините меня.

— Извините ее, — вмешались Сережка и Наташка. — Она больше не будет.

Стало тихо. Старшие школьники, казалось, перестали дышать. Но вот тишина сменилась насмешливым пофыркиванием мальчишек и возмущенным перешептыванием девочек.

Старый артист замигал от волнения и, театрально приложив руки к груди, воскликнул:

— Простите, сударыни!

Потом он деланно засмеялся, стараясь придать недоразумению веселый, непринужденный оттенок. Старшие школьники его не поддержали. Они были уязвлены в самых высоких своих чувствах.

Валентина Григорьевна сухо поклонилась и поспешно ушла к себе в комнату.

Снежная королева надменно вскинула брови.

— Я говорила: для актрисы она недостаточно интересна.

— По-моему, для актрисы она слишком интересна, — взорвался ей Ворон Карл. — Это даже лучше, что она не актриса.

Старый руководитель смотрел на ступеньки лестницы, по которым ушла в свою комнату Валентина Григорьевна.

— Нет границ для прекрасного, — тихо сказал он. Ворон Карл почесал затылок и вдруг засмеялся громко.

— Стоило унижаться! — фыркнул кто-то из разбойников.

— И все-таки она красивая, — топнула ногой Ворона Клара.

Старшие школьники сердито смотрели друг на друга. Наконец кто-то предложил пойти «искупнуться». Кто-то принял участие надувать волейбольный мяч. Кто-то принял участие собирать деньги на билеты в кино.

— Попадись мне эта Дубравка! — сказала Снежная королева.

— А я вот.

Дубравка сидела на подвесной лестнице. Ее заслоняли светлые листья алычи.

— Обманули дураков, — сказала она и добавила, посмотрев на старого артиста: — Это к вам не относится.

— Спасибо, — поклонился артист и зашагал от дома в сторону набережной.

— Ну ты и дрянь! — крикнула Снежная королева.

Один из мальчишек кинул в Дубравку щепкой. Ворон Карл опять засмеялся.

— Пойдемте, — сказал он. — Ну что она вам плохого сделала?

— Ничего, — согласились мальчишки. А девчонки еще долго оборачивались и смотрели на Дубравку, щуря глаза, одни от злости, другие от недоумения.

Дубравке было грустно. Она долго смотрела в оконное стекло. Отражение в стекле немножко двоилось. Оно было похоже на старую засвеченную фотографию. Дубравка навивала на палец короткие жесткие волосы и думала: «будь у меня такие же волосы, как у Валентины Григорьевны, ни один мальчишка не посмел бы бросить в меня щепкой».

Отражение колыхнулось. Это раму качнуло светом. Но Дубравка успела заметить, как за ее головой во дворе появилась Валентина Григорьевна.

Дубравка повернула голову.— Валентина Григорьевна села на скамейку возле кустов. В руках она держала книгу, но не читала ее, думала о чем-то.

Дубравка хотела подбежать к ней. Но тут из-за кустов вышел руководитель драмкружка.

«Извиниться хочет»,— подумала Дубравка.

Старый артист опустился перед Валентиной Григорьевной на колено и заговорил, то взмахивая рукой, то прижимая ее к груди.

Дубравка услышала слова:

— Я потрясен. Это — наваждение... Я словно воскрес, увидев сегодня чудо. Вы — чудо!..

Артист торопливо приподнялся, и Дубравке показалось, что он весь заскрипел, как старый, рассохшийся стул.

— Эх...— сказал кто-то совсем рядом. Дубравка посмотрела вниз. Под висячей лестницей, прислонившись к стволу алычи, стоял отец Сережки и Наташки.

— Красиво,— прошептал он.— Смотри, Дубравка, слушай. Сейчас вступит оркестр.

Валентина Григорьевна сидела растерянная и смущенная. Артист говорил что-то. Размахивая руками. Вскидывал резким движением легкие волосы.

Дубравка сунула в рот два пальца. Свистнула что есть мочи, резко, как кнутом.

— Браво! — сказал отец Сережки и Наташки.

Дубравка спрыгнула с лестницы. Независимо прошла по двору. Обернувшись у калитки, она увидела, как к Валентине Григорьевне и оторопевшему руководителю драмкружка подошел Петр Петрович.

Он сказал:

— Не нужно мыть уши душистым мылом...

— Да,— сказал старик.— Вы правы. Я смешон... Но я артист, этого вам не понять.

Дубравка шла по верхнему шоссе. Оно было очень прямым. Здесь собирались пустить троллейбус. Впереди на раскаленном бетоне блестели голубые радужные лужи. В них отражались облака и деревья. Когда Дубравка подходила ближе, они испарялись и вновь возникали вдали. Они словно текли по дороге сверкающей переливчатой радугой. Они возникали в нагретом воздухе. Обманывали глаза.

Дубравка ушла по шоссе в горы. Она ходила там долго. А вечером она сидела на парапете набережной, слушала море.

Кто-то тронул ее за плечо.

— Дубравка!

Рядом стоял старый артист.

— Дубравка,— сказал он,— я хочу тебе что-то сказать.

Дубравка независимо улыбнулась и заболтала ногами.

— Дубравка, извинись, пожалуйста, перед Валентиной Григорьевной за меня.

— А вы сами разве не можете этого сделать?

— Не могу,— сурово сказал артист.— Я сделаю это позже. И, пожалуйста, не воображай о себе невесть что...— Он помолчал и снова заговорил, но уже мягко, почти нежно:— Может быть, это хорошо, что ты не умеешь прощать. Но от этого черствеет сердце.

Я не знаю, что хуже: быть мягким или быть черствым. Я знаю, например, что ты обо мне думаешь. Я на тебя не в обиде. Если человек вдруг упал, а

потом высоко поднялся, то судить его будут по по-

следнему...— Он не положил на Дубравкину голову своей руки, как бывало. Он просто сказал:— До свидания, Дубравка,— и пошел на другую сторону набережной. Туда, где шумел народ, где витрины устилали асфальт тротуаров желтыми электрическими коврами. И снова Дубравке показалось, что у него под пиджаком звенят струны.

**Н**очью Дубравка залезла в санаторий учителей и нарвала там букетик гвоздики.

Она пробралась по скрипучим карнизам, по ржавой водосточной трубе. Она уселась на подоконник в комнате Валентины Григорьевны и испуганный вопрос: «Кто это?» — спокойно ответила:

— Это я, Дубравка. Я принесла вам гвоздику. Валентина Григорьевна поднялась с кровати, уселись рядом с Дубравкой. Сказала грустно:

— Почему, искусство такое... непримиримое? Почему так неприятно, когда тебя уличают в том, что ты не принадлежишь к нему?

— Это я наврала, что вы артистка,— сказала Дубравка.

— Зачем?

— Не знаю. Извините меня.

Валентина Григорьевна взяла у Дубравки гвоздику, поставила ее в стакан с водой.

— Почему ты мне приносишь цветы?

— Это я знаю,— сказала Дубравка.— Я вас люблю. Валентина Григорьевна прислонилась к стене.

— За что? — тихо спросила она.— Я ведь ничего не сделала такого... Я понимаю, девочки иногда влюбляются в артистов, даже не в самих людей, а просто в чужую славу. За что же любить меня?

— Вы красивая... Бабушка называла вас Радугой.

Валентина Григорьевна села на подоконник, свесила ноги и чуть-чуть скривила спину.

— У меня бабушка спросила, не влюбилась ли я в какого-нибудь мальчишку,— продолжала Дубравка, глядя, как переливаются огни вывесок и реклам на приморском бульваре.— Будто я дура. А вы знаете, иногда я чувствую: подкатывает ко мне что-то вот сюда. Даже дышать мешает, и я всех так люблю. Готова обнять каждого, поцеловать, даже больно сделять. Тогда мне кажется, что я бы весь земной шар подняла и понесла бы его поближе к солнцу, чтобы люди согрелись и стали красивыми. Мне даже страшно делается... Разве можно столько любви отдать одному человечку? Да он и не выдержит... А иногда я всех ненавижу. А мальчишек я ненавижу всегда!

Она замолчала. И ей показалось вдруг, что сейчас тишина разорвется и кто-то злорадный захочет над ней во все горло. Потом она успокоилась, и тишина показалась ей значительной, наполненной внимательными глазами, которые благодарно смотрят на нее.

— Расскажи мне об отце этих малышей, Сережки и Наташки,— сказала Валентина Григорьевна.

Какая-то смутная тревога подступила к Дубравкиному сердцу. Дубравка съежилась.

— Зачем? — спросила она.

— Просто так... Мне кажется, он славный человек.

— Он странный... Купается ночью. От него табаком пахнет... Зачем вам?

Валентина Григорьевна смотрела на верхушки кипарисов, за которыми на морской зяби перламутрово мерцала лунная тропка.

— Красиво,— сказал она.

— Красиво...— прошептала Дубравка, поймав себя на том, что море и горы стали для нее скучными и мертвыми, как пейзажи на глянцевитых сувенирных открытках. Она заторопилась домой. Прошла по карнизу и, расцарапав живото проволоку на водосточ-

ной трубе, соскользнула на другой карниз и с него — на подвесную лестницу.

Она кое-что знала об отце малышей Сережки и Наташки. Раньше она робела перед ним, как робеют ребята перед директором школы. Теперь она чувствовала к нему острую неприязнь.

Он работал в Ленинграде в научном институте. Делал какое-то важное дело. Жена его умерла, когда Сережке и Наташке было по году.

Говорят, после смерти жены он целую неделю катал близнецов в двухместной коляске и не мог пойти на работу. Потом он забросил коляску, подхватил ребят на руки — отнес в ясли. Когда малыши подросли, он отдал их в круглосуточный детский сад.

Нынче он приехал к морю на целых два месяца, потому что не отгулял положенный отпуск в прошлом году. Отдыхать он очень умел. Сам с собой играл в шахматы. Уходил на колхозных сейнерах ловить ставриду. Сережка и Наташка иногда по три дня жили на попечении соседей. Это он прозвал беспризорную собачонку Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий. Встречая курортных знакомых, он говорил:

— Одолжите тысячу рублей. Отдам в Ленинграде.

Соседи и знакомые конфузливо оправдывались, недвусмысленно пожимая плечами. Вскоре они перестали попадаться ему на улице, предпочитая при встрече перейти на другую сторону, или прятались в подъездах домов. А он ходил со своими ребятами или просто один, пропадал с рыбаками на море и, кажется, не жалел ни о чем. Его называли чудаком. Он мог смотреть, не мигая. Мог мигать без причины и смеяться в собственное удовольствие.

Звали его Петр Петрович.

У троих к Дубравке в комнату залезли Сережка и Наташка.

— Дубравка, что такое лихая пантера? — спросили они.

— Вроде тигра, — сонно ответила Дубравка.

Сережка и Наташка внимательно осмотрели ее, даже пощупали пальцы на ее руках и сказали:

— Почему тебя папа «Пантерой» назвал?

Дубравка вскочила:

— Он негодяй, ваш папа!

Близнецы наступились и молча полезли через окно на улицу.

— Он сам еще хуже! — крикнула Дубравка, высунувшись из окна.

Во дворе стояли Валентина Григорьевна и Петр Петрович. Сердце у Дубравки ехнуло. Она хотела крикнуть: «Неходите с ним на пляж!» Ей хотелось спросить: «Разве вам плохо со мной?» Но она с шумом захлопнула створки окна.

«Не пойду, — думала она. — Раз ей со мной неинтересно, то и не нужно. Не стану я ей навязываться. Выбрала себе этого... Я сейчас надену ботинки и пойду в горы».

Но вместо ботинок она натянула резиновые купальные туфли. Надела на голову белую абхазскую шляпу с бахромой, свой лучший сарафан и побежала на пляж. Она торопилась. Она боялась опоздать. На пляже, у самой воды, двое взрослых и двое малышей играли в волейбол.

Валентина Григорьевна увидела Дубравку, улыбнулась и кинула ей мяч.

— Бей, Дубравка!

Дубравка ударила изо всей силы ногой. Мяч упал в море и заскакал на мелкой зыби у самого берега. Сережка и Наташка побежали за ним, сердито поглядывая на Дубравку. А она отошла в сторону, скинула сарафан, вошла в воду и поплыла. Нырнет, вы-

нырнет. Нырнет, вынырнет. Она заплыла дальше всех.

С берега доносился едва слышный шум голосов, смех, похожий на хлопанье крыльев. Кто-то боязливый визжал. Дубравка поморщилась, перевернулась на спину. Она лежала в воде, раскинув руки. Вода прикрыла ей уши мягкими большими ладонями. Громадное небо сверкало, и глаза не выдерживали его блеска. Дубравка закрыла глаза, потом вдруг перевернулась на живот и резким кролем понеслась к берегу. Она отыскала среди купающихся человека с глазами темными, как у Сережки и Наташки.

— Ну, держись!

Она нырнула и дернула его за ноги в воду. Потом забралась ему на плечи.

— Вот тебе!

Петр Петрович сжал Дубравкины руки. Он погружался все глубже и глубже. Он смотрел Дубравке в глаза, и было похоже, что он смеется. Он словно хотел сказать: «Хорошо здесь под водой».

«Что тебе нужно? Пусти!» — кричала про себя Дубравка. Она не успела вздохнуть перед тем, как упала в воду лицом. Ей было очень трудно сейчас. А Петр Петрович подмигивал ей:

— Куда ты торопишься? Давай поплаваем... Ты ведь плаваешь, как акула.

— Пусти!!!

— Нет, ты посмотри, как здесь красиво... Солнце плавало под водой желтыми колеблющимися шарфами. Водоросли щекотали Дубравкины ноги. Упругая тяжесть сдавливала ей виски. Шея вздрогивала. Дубравка вспомнила лицо Утюга, когда он тонул возле своего круга. Она чуть не крикнула по-настоящему. Петр Петрович выпустил из рта большой пузырь. Пузырь побежал вверх, за ним побежали другие помельче. Дубравко тело рванулось к поверхности. Она почувствовала, что руки ее освободились. Быстрее!.. И когда Дубравка глотнула воздуха, она все еще бешено колотила руками по воде, словно желая выпрыгнуть из нее вся. Небо кружилось. Горы кружились. Совсем рядом плавал мужчина. Он смотрел на нее с сожалением и правил волосы.

— Привет! — сказал он.

Дубравка всхлипнула, отвернулась и быстро поплыла к своему камню. Она взбралась на камень и упала там, тяжело дыша. Ей не хотелось ни думать, ни шевелиться. Может быть, она и заснула бы даже. Но вдруг она услышала позади себя шорох. Вскочила и увидела злорадные лица мальчишек. Они подстерегали ее здесь, за камнем, в воде. Теперь они шли мстить за обиды.

Камень высок. Очень высок. Прыгать с него невозможno. Внизу торчат из воды острые выступы.

— Попалась, артистка! — кричали мальчишки.

Позади них, сжимая в руке свой резиновый круг, карабкался толстый, усталый Утюг. Он кричал, отдуваясь:

— Сейчас мы отлупим тебя беспощадно!

На Дубравку посыпались мальчишечьи кулаки. Утюг не был. Он только приговаривал:

— Я бы тебе дал. Только ты умрешь от моего удара.

Потом он растолкал мальчишку, помог Дубравке встать и сказал добродушно:

— Слушай, согласна, что ты попалась? Дай слово, что больше не будешь нарзаном поить, тогда мир.

А то, смотри, сейчас еще поддадим.

— Буду! — крикнула Дубравка. — Все время буду!. Мне на вас и смотреть-то смешно.

Она сделала несколько быстрых шагов и прыгнула с камня.

— Убьется! — закричал Утюг.

Мальчишки подбежали к краю утеса. Они видели, как Дубравка, перелетев острые выступы, почти без брызг ушла в воду. Они проглотили завистливую слюну и честно выразили свое восхищение словами:

— Ох!.. Вот это артистка!..

Потом они горестно уселись на край скалы.

Утюг схватил свой спасательный круг, разбежался и ахнул вниз солдатиком. Вода больно хлестнула его по согнутым коленям, ударила в подбородок, вырвала из пальцев надувной резиновый поплавок.

Когда Утюг вынырнул на поверхность, он увидел пляшущих на камне мальчишек. Они орали ему приветствия. Неподалеку колыхался спасательный круг. Он прощально булькал, выпуская из разорванного бока последний воздух. Почти рядом плавала Дубравка. Она удивленно и немного испуганно глядела на Утюга.

Утюг тоскливо отвернулся, приготовился тонуть и вдруг, сам того не заметив, поплыл к камню.

Обретенный таким внезапно умения хватило ему недолго. Он медленно погружался.

— Набери воздуха побольше и ныряй, — услышал он возле себя голос Дубравки. — Не бойся, я помогу, если что...

Плыть под водой было легче. Утюг нырял и вновь выныривал, набирал воздух. Камень становился все ближе и ближе.

Дубравка ныряла рядом. Она вытащила обессиленного Утюга на острые выступы под скалой.

Над их головами промелькнул коричневый мальчишечный живот. Один, другой, третий... Мальчишки прыгали в воду.

— Тут на дне красивая раковина лежит, — сказала Дубравка.

— Умел бы я хорошо плавать, я бы ее достал... тебе, — сказал Утюг.

— Она глубоко. До нее донырнуть трудно.

На выступы под скалой лезли мальчишки.

— Ай да Утюг! — кричали они. — Ай да мы!

— Нужно с камнем нырять, — сказал Утюг. — С камнем в руках.

После обеда Дубравка постучала в комнату Валентины Григорьевны.

— Вот, — сказала она, входя. И поставила на подоконник большую мокрую раковину. — Я ее достала для вас. Это та самая... Из глубины... Я ныряла за ней с камнем. С камнем хорошо... Возьмите ее с собой. Будете меня вспоминать.

Валентина Григорьевна хотела обнять Дубравку за плечи, но она выскользнула и побежала по лестнице.

**С**обака — друг. Собака все понимает, но ничего не может сказать. Собака сочувствует молча, в этом ее преимущество.

Дубравка сидела под лестницей, на соседских половиках, которые были вывешены на перила для сушки. Собачонка лежала у ее ног. Она не знала, что в человеческом мире ее называют Кайзер Вильгельм Фердинанд Третий, или попросту Вилька. Собака смотрела в заплаканные Дубравкины глаза и, конечно, не могла разобраться, почему плачет человек, если он не голоден, если его не побили палкой, не пнули ногой, не переехали хвост тяжелым тележным колесом.

Дубравка ходила на рынок за рыбой для ужина. Когда она пришла, то увидела Сережку и Наташку. Они сидели на кочетках под окном Валентины Григорьевны и подбирали с земли яркие радужные чепреки. Это была разбитая Дубравкина раковина. Из окна Валентины Григорьевны выглядывали сконфу-

женный руководитель драмкружка, Снежная королева, Ворон Карл, Ворона Клара и Петр Петрович.

— Дубравка, — сказал Сережка. — Они пригласили всех на спектакль.

У Дубравки дрожали губы.

— Дубравка, — сказала Наташка. — Они говорят: жаль, что ты не играешь. Ты хорошо играла...

Дубравка услышала стук каблуков. По лестнице спускалась Валентина Григорьевна.

Сережка и Наташка подобрали обломки раковины, стали друг к другу спиной, готовясь зареветь.

Дубравка поставила кошелку с рыбой на окно своей комнаты и побежала. Она слышала, как Валентина Григорьевна кричала ей вдогонку:

— Дубравка, Дубравка, вернись... Он ведь нечаянно...

«Он, — думала Дубравка. — Все он...»

Дубравка спрыгнула с каменного забора позади дома на другую улицу и пошла по ней вверх к маленьким огородам местных жителей.

Вечером Дубравка забилась под лестницу. Стены здесь сбросили плесень. На старой паутине копались высохшие муши. Мыши разгуливали под лестницей, не торопясь. Собака Вилька приходила сюда ночевать.

— Вот, Вилька, как получается, — бормотала Дубравка. — Ты ведь сама знаешь. Тебе объяснять не нужно.

Собачонка прикрывала глаза. У нее были лиловые веки и сморщеный старушечий нос.

— Она такая красивая, а он... — вздохнула Дубравка.

Собака тоже вздохнула. Если бы она могла думать человеческими категориями, может быть, она и поняла бы смысл этого слова — «красивая»...

— Что она в нем нашла?! — крикнула Дубравка. — Он урод. Насмешник. Бесчувственный крокодил. Он обманет ее и будет смеяться. Вилька, ты ничего не понимаешь в людях!

Собака положила морду на передние лапы. Она давно уже научилась разбираться в людях. Она различала их характеры даже по запаху. Если бы люди могли научиться этому искусству у бродячих собак! Но они не желают. Они предпочитают делать глупости. Вилька давно уже догадалась, что Дубравка встанет сейчас и побежит делать странные, ненужные вещи. Она даже прикусила зубами Дубравкин сарафан, словно хотела сказать: «Не уходи, пожалуйста, это тебе совсем ни к чему. Лучше давай выспись». Но Дубравка пощекотала ей за ухом, взъерошила шерсть на собачьей спине и выбралась во двор.

— Спи, — сказала она Вильке.

Потом Дубравка поднялась по висячей лестнице, перелезла с нее на карниз. Водосточная труба. Еще карниз. Дубравка уселась на окне и тихо позвала:

— Валентина Григорьевна, вы спите?

— Иди сюда, — сказала Валентина Григорьевна.

Дубравка не шелохнулась. Спросила:

— Вы его любите?

— Дубравка...

— Он негодяй. У него пять жен. Шестую он отравил керосином. Он обворовал сберкассу. Он хочет убежать в Турцию.

— Дубравка, как ты смеешь!

— А вот смею. Он прохвост!

Валентина Григорьевна села на кровати.

— Уходи, — сказала она тихо и решительно. — Я тебя не хочу видеть.

Дубравка посопела немножко и вдруг выкрикнула:

— А вы... Я тоже знаю про вас. Вы такая же, как и все!

— Де-то у турецких берегов прошел шторм. Он раскачал море так, что даже у этого берега волны налезали друг на друга, склестывались белыми гравами. Падали на берег, как поверженные быки, и с ревом уползали обратно.

Ветер прогнал всех людей с пляжа. Большие пароходы поднимались над молом, словно хотели присесть на бетон, отдохнуть, отоспаться. Прогулочные катера и рыбачьи сейнеры плывали возле причалов. Было похоже, что они вот-вот начнут прыгать друг через друга.

Люди не подходили к каменному парапету на бережной. Он уныло тянулся вдоль бухты, весь мокрый, весь в пене. Брызги долетали до витрин магазинов и кафе. Чайки, вытеснив жирных голубей, садились на крыши домов.

Дубравка лежала на пляже одна. Она знала секрет: если поднырнуть под первую, самую бешеную волну и подождать под водой, изо всех сил работая руками, пока над головой пройдет вторая волна, то обратным течением тебя унесет в море. И можно будет плыть, взлетая на гребнях. Небо закачается над головой, и берег будет то пропадать, то появляться. Люди на берегу станут размахивать руками. Говорить всякие слова о безумстве, но в этих словах будут восхищение и зависть.

Дубравка думала об этом просто так. Ей никого не хотелось удивлять. Ей казалось, что море специально разбушевалось сегодня, чтобы успокоить ее и утешить. Море было красиво. Оно было красиво так, что все Дубравкины горести потеряли свой смысл. Она вдруг словно освободилась от всего тесного, неприятного, сковывавшего ее последнее время. Потом Дубравка услышала голоса. Она обернулась, чтобы сказать людям: «Смотрите, какое море».

По пляжушли Валентина Григорьевна, Петр Петрович, Сережка, Наташка, старый артист и Дубравкина бабушка.

— Что вам от меня нужно? — прошептала Дубравка. Ей стало страшно и одиноко. Она отступила к волнам.

— Дубравка! — крикнула Валентина Григорьевна.

Дубравка повернулась и, побежав вслед за уходящей волной, нырнула под другую, громадную, с опадающим белым буруном. Волна перевернула ее, подмыла под себя и протащила по самому дну, по скользким камням. Потом ее подхватило обратным потоком и унесло в море.

Дубравка не слышала, как закричали на берегу люди. Она медленно плыла, то поднимаясь вверх, то соскальзывая вниз с пологого загривка волны.

Неожиданно она увидела возле себя человека. Он улыбнулся ей темными глазами и крикнул:

— Погода что надо. Привет!

Он подплыл к Дубравке, и она услышала другие его слова:



— Наверное, катер придет за нами...

— Обратно на берег нельзя. Не получится без ве-ревок.

Дубравка поняла, что он хотел сказать. При больших волнах вылезти на берег им не удастся. Море еще раз прокатит по скользкому дну и унесет. Это только кажется людям, будто любое волнение — прибой, что все волны бегут к берегу.

Дубравка плыла к своему камню. Мужчина плыл рядом с ней, поглядывал на нее, то задумчиво, то вдруг с затейной нежностью. У камня он выдвинулся вперед.

Волна прижала его к утесу, потом потянула за собой. Одной рукой он крепко вцепился в трещину, другой подхватил Дубравку.

Волна опала, обнажив обленившие камень водоросли. Но за этой волной шла другая.

Мужчина подсадил Дубравку на выступ, а сам снова вцепился в трещину. Волна накрыла его.

Они лезли наверх. Впереди Дубравка, позади нее Петр Петрович. С камня был виден берег. Он был недалеко. Метрах в трехстах. На берегу бегали люди. Петр Петрович помахал им рукой. Они замахали в ответ. Они кричали что-то.

— Благодарят за спасение, — усмехнулась Дубравка и подумала: «А может быть, он действительно меня спас?..»

Дубравка села на край камня. Ветер плеснул ей на грудь холодные брызги.

Волны у горизонта казались большими, гораздо больше, чем здесь, под камнем. Они возникали внезапно. Дубравке казалось, что камень движется им наперерез. У нее слегка кружилась голова.

Петр Петрович сел рядом с ней.

— Наверное, катер придет за нами. Белый катер... Ты не замерзла? Надень мой пиджак.

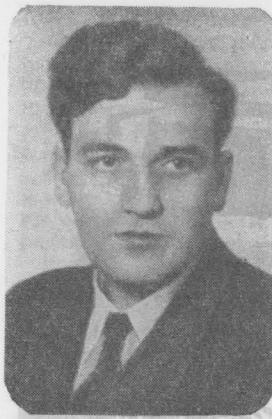
— У вас ведь нет пиджака, — сказала Дубравка.

— Ну и пусть, — сказал мужчина. — Ты представь, как будто я тебе дал пиджак. Тогда будет теплее. Ладно?

Кожа у него на руках покрылась пупырышками.

— Хорошо, — сказала Дубравка... — Спасибо... Только он у вас немножко мокрый...

Сергей АНТОНОВ



# ПОРОЖНИЙ

## РЕЙС

(Из блокнота начинающего журналиста)

**В**Усть-Курте мне не повезло. Начальника строительного района, к которому я летел на самолете из Москвы, ехал на поезд из Иркутска и тащился на розвальнях, на месте не оказалось. За день до моего приезда он отправился в управление на совещание, и по такой погоде раньше чем через неделю его не ждали. Я сидел за алюминиевым столом на алюминиевом складном стуле в стационарном буфете и думал, что теперь делать.

Народу было много, мест мало. Крупный, мрачного вида бородач сел за мой стол. Весь он, с головы до ног, был в мехах, как Робинзон Крузо, и косолапо двигался в грузной своей одежде.

Он достал из кармана кусок мороженого мяса, самодельный — из шинного железа — неровно сточенный нож со следами звериной крови на черенке и вел принести графин пива. Потом положил меховую ушанку на пол, взглянул на мои сардельки и сказал пристуженным голосом:

— Не то ешь. Заехал в Сибирь — отведай вот строганины.

Я принял себе за правило возможно реже выдавать свою профессию: журналисту следует больше наблюдать и меньше расспрашивать. И даже не расспрашивать, а разговаривать, а еще лучше — беседовать или болтать на разные посторонние темы. При этом желательно не вытаскивать из кармана блокнот и ручку и не «фиксировать» ничего на листах. А вечером, перед сном, нужно вспомнить самое интересное, что произошло за день, и записать. Это не так трудно, как кажется. Я знаю журналистов, которые с первого чтения запоминают текст короткого документа — слово в слово.

Впрочем, на этот раз таиться от случайного собеседника не было смысла. Тем более, он уже определил, что я «из России». Пришло объяснить, что

приехал собирать материал о строителях железной дороги и писать очерк.

— Про них писать где хочешь можно, — сказал бородач. Он присыпал на край стакана соль, отхлебнул пиво и продолжал: — Здешний путец ничем от российского не отличается. И «однако» не говорит и кедровый орешек не грызет. Вот ты бы к нам в тайгу завернул — другое дело. Продерну бы наших хозяев, как полагается. Не дают рабочему-лесорубу ни нормального жилья, ни культуры, хоть ты с ними что хочешь делай.

Звали его Терентий Васильевич. Он работал в приречье Лены, в леспромхозе, кем-то вроде вербовщика. По правде сказать, таежная наружность Терентия Васильевича повлияла на мое решение больше, чем что-нибудь другое, и вскоре мы с ним мотались над сопками в холодном самолетике.

На место мы прибыли днем. К нижнему складу пришлось шагать пешком по берегу, а потом через реку; на нижнем складе с трудом поймали попутную. На попутной приехали к верхнему складу, а оттуда стали спускаться в деревню.

Спустились мы в деревню только к вечеру. Заколдованная стужей тайга была прекрасна. На пнях высились пышные боярские шапки снега. Черноствольная северная березка, прогнувшись дугой до самой земли, застыла под снежной тяжестью. Радужные на морозе солнечные лучи, пробиваясь сквозь кроны кедрачей, зажигали розовыми огнями сугробы. Все было разукрашено пушистым, сверкающим куржаком: телеграфные провода, ресницы людей, ворс рукавиц, — каждая веточка кедрача и елки сверкала и искрилась.

На делянках неподвижно стояли матовые от мороза газогенераторные тракторы с заведенными моторами. Глушить их было запрещено. При здешних морозах остывший двигатель завести невозможно. День был актирован. Рабочие сидели по домам.

Подбадриваемые стужей, мы с Терентием Васильевичем быстро шли по визиру, и свежий, недавно выпавший снег под нашими ногами крахмально хрустел. Случайно я наступил на что-то твердое. Это был замерзший воробей, твердый, как камушек.

— Ну, мороз! — пробормотал я.

— Это еще не мороз, — ответил Терентий Васильевич. После того, как я очутился в леспромхозе, он считал свою задачу выполненной и перестал меня баловать разговорами.

## 2

Такой уж у меня, очевидно, органический недостаток: пока не вижу человека, олицетворяющего тему, не могу написать ничего путного. По-моему, заметка о холодных общежитиях лесорубов требует героя так же, как очерк, идущий под рубрикой «Герои семилетки». Можно, конечно, описать щели между половицами и проехаться на счет коменданта, не нашедшего в дремучей тайге дров, но насколько сильней прозвучит материал, если написать о парне, который по милости бездушного головотряса схватил в холодном общежитии воспаление легких.

Впрочем, найти героя будущего очерка совсем не так просто. Но уж если посчастливится — благодаря судьбе! Все вокруг оживает, сами собой появляются композиция и сюжет, определяются границы отбора материала, фантазия смело соединяет факты, слова складываются в строки, и вы, еще не начиняя писать, видите, какого размера будет очерк и как он встанет на газетной полосе...

Ночевать меня взял к себе Терентий Васильевич. Он жил в маленькой деревеньке у верхнего склада. Отсюда на берег реки к нижнему складу возили длинномер, фанерные и спичечные краяки, кедр, идущий на карандаши, спецсортименты. Весной, когда вскроется река, лес поплынет на юг.

Как сейчас вижу темные бревенчатые стены горницы Терентия Васильевича, украшенной веерами из хвостов глухарей и рябчиков. Спал я на широком топчане, на подушке, от которой пахло кислыми щами (Терентий Васильевич иногда накрывал подушкой еду, чтобы не оставала). Надо мнай висели зимние, мохнатые рога козла, а по полу была расстелена сохатина половина.

После утомительного дня я заснул быстро, и мне снились пересеченная электрическими проводами, обжигая тайга, ледяные дороги, тракторные пути, окутанные теплым паром тракторы, костры, порубочные остатки и сучкорезные секиры, похожие на топорики древнеримских ликторов.

И когда я проснулся, мне стало ясно, что ограничиться короткой заметкой о холодном общежитии непростительно. Заметка, конечно, нужна, никто не спорит. Но разве не интересно попытаться рассказать о самом значительном, что здесь происходит, — о людях, меняющих лицо Сибири? И крепкий, спокойный, не боящийся ни стужи, ни работы лесоруб — покоритель тайги — уже мерещился в моем воображении. Пока что он вырисовывался смутно, неопределенно, и только одна подробность казалась почтенно-обязательной: покоритель тайги носил заячий малахай, и наушники не были опущены, а завязаны наверху и сдвинуты назад на затылок.

Мой хозяин принес из сеней замороженное, как эскимо на щепке, молоко и, глотая заправленный молоком кары姆,сыпал соль на край кружки.

— Вкусно с солью? — спросил я.

Терентий Васильевич промолчал. Он оказался удивительно неразговорчивым человеком.

Позавтракав, я отправился к нижнему складу, где, как говорили, легче всего было найти директора или технорука.

Без меня шофер по имени Виктор. Он перевозил уголь и был чумазый, как трубочист.

— А вы меня случайно не запачкаете? — сострил он, лукаво блеснув белыми глазами, когда я садился к нему в кабину.

Он выглядел совсем мальчиком и кусал заусенцы на пальцах.

Перелистывая свой блокнот, я нахожу так много записей о Викторе, что они могут составить целый рассказ. Его называли «Витька-премиальный», потому что Терентий Васильевич чуть не силком затащил его в леспромхоз, чтобы дотянуть до премии, которую получал за количество завербованных. Оформившись на работе, восемнадцатилетний Виктор, всем на удивление, сразу женился, даже не оглянувшись, — взял разметчицу, специалистку по раскрыжевке, девушку на пять лет старше его, сибирячку, за которой ухаживали несколько парней.

Как-то я спросил его, сколько он получает.

— Манька, — крикнул он, — сколько я получаю?

— Тысяча пятьсот — тысяча шестьсот, вот так вот, — откликнулась супруга.

— А не много она приврала? — спросил я.

— Не много, — озорно ухмыльнулся Виктор. — За прошлый месяц тыщу семьсот вывели.

Приехали мы на склад нежным холодным утром. Тут и там, у штабелей, горели красные, цвета киновари, костры. Противоположный берег едва виднелся в полупрозрачной, как студень, морозной дали. Вдоль берега тянулись вмерзшие в лед бояны. За ночь холод уменьшился, и машины возили хлысты к разделочной эстакаде. Было, по-видимому, около сорока градусов.

Пока я любовался их работой, подъехала машина, и из кабинки вышел водитель лет двадцати трех — двадцати пяти, с худощавым, словно выплеснутым из тугого пластилина лицом и странными серо-зелеными глазами. Среди закутанных мужчин и женщин он казался легко и даже несколько щегольски одетым. Синий комбинезон с прошитыми двойной строчкой накладными карманами и телогрейка были в самый раз на его ладную фигуру. Ослепительно белое шелковое кашне, небрежно заправленное за расстегнутый ворот, открывало угол красной, кирличного цвета, шеи. На нем был заячий малахай. Пушистые наушники были завязаны наверху и сдвинуты назад, на затылок.

Почему я решил, что именно этот человек будет героем очерка, сказать трудно. Может, какую-то роль сыграл малахай, — кто знает. Во всяком случае, когда из украшенной красными звездами кабинки с кокетливой лентой сошел ладный, презирающий мороз водитель, я обрадовался сразу.

Потом в дирекции и парткоме мне сказали, что я не ошибся и этот парень действительно достоин быть отмеченным в печати. О нем уже писали два раза в областной газете.

Пока я соображал, как с ним познакомиться, водитель неторопливо наладил костер, но греться не остался. Девчата распутывали пачку хлыстов, и он пошел помочь.

Закутанная в три платка учительница остановила его и развернула ведомость. Множество одежек делали ее похожей на старуху, но быстрые смолисто-черные глаза молодо и весело сверкали из-под платков. Положив ведомость на ее плечо, водитель расписался, сунул листок глубоко за пазуху ее полу-шубка и, пожалуй, дальше, чем необходимо, задержал там руку. Потом он направился дальше и даже

не обернулся, когда учетчица изо всей своей девичьей силы стукнула его по спине.

Взрыкивая комлями, длинные бревна покатились с машины. Ничего не подозревающий персонаж моего будущего очерка копался в моторе.

Я спросил, куда пойдет лес.

— На стройку, — ответил он и назвал строительство, о котором много писали.

Начало было положено. Водителя, по-видимому, совершенно не интересовало, кто я такой.

— Что тут у вас с жильем? Неужели вы самите не можете навести порядок?

— Нам, друг, некогда. План гнать надо.

— А как, кстати, с планом?

— Кстати или некстати, а перевыполняем. Меньше 140 процентов не признаем.

— Все?

— Все как один.

— Вон у вас какие орлы!

— Одни смотрят, какие орлы, — медленно проговорил он. — Другие — какой план.

Тут он впервые взглянул на меня, и темная усмешка мелькнула в его грустноватых глазах.

— Ты что, Колька! — закричала, подходя, учетчица. — Дядя Леша едет. Освобождай место!

— Обожди, — сказал водитель. — Видишь, с человечком беседую.

— А кто этот очкарик? — спросила она.

— Не видишь, кто? Из газеты.

— От изумления я остулся.

— Вам интервью надо? Что ж, давайте, — сказал между тем шофер, утирая руки. — Фамилия моя — Хромов, звать Николай. Для оживления материала можете записать хому: ребята зовут Николай первый. У нас два Николая. Вернулся я юда, в родные края, из армии с правами шофера и с большой мечтой — работать в леспромхозе... Чего же вы не фиксируете? — спросил он недоуменно. — Что мне, на воздух говорить?

— Ничего, продолжайте. Я запомню. Видите, мороз. Долго не попишишь. Дома вечером запишу слово в слово.

Николай посмотрел на меня с некоторым интересом.

— А не врешь? — спросил он. — Ну, тогда давай слушай. На чем мы остановились? На большой мечте? Так вот, решил после армии поработать, как говорится, на переднем крае. Где нужней.

— Молодец, — сказал я.

— Все хочешь, как лучше... — усмехнулся он. — Таков уж, как говорится, характер советского человека. Ты заводную ручку можешь вращать? — спросил он внезапно. — Давай-ка потихоньку... Так вот... Мой характер складывался в годы послевоенных пятилеток, когда наши люди одерживали великие трудовые победы и яркие звезды спутников устремлялись в далекие небеса...

— Вы женаты? — перебил я его.

— Что? А зачем это?

— Так.

— Ты давно в газете работаешь? — спросил Николай, подумав.

Я признался, что недавно.

— Оно и видно. Вот что. У меня вырезка есть — я тебе завтра ее доставлю. Там про меня складно написано. Переписывай своими словами — и порядок. А то напишешь про жену да про тещу — и материал получится безыдейный. Карточку надо? — спросил он по-деловому.

— Желательно.

— Возьмем у Аришки, — кивнул он на учетчицу и закричал сразу: — Аришка! Карточку, где я у маши-

ны в полный рост, отдашь вот ему... А ну, крутаника помаленьку, на пол оборота...

Минуту через пять он подрегулировал зажигание, завел мотор и уехал.

Прошло три дня.

Поздно вечером Терентий Васильевич точил нож и чинил ремни на охотничьей доске — по ноге.

— Куда собираетесь? — спросил я.

Он ничего не ответил и ушел в баню.

Когда я проснулся, за окном было еще черно. Терентий Васильевич натягивал на ноги суконные вярмужи. Я вскочил и стал одеваться.

— А тебе что не спится? — проворчал он.

Стараясь придать голосу возможно больше решительности, я напомнил, что он обещал взять меня на охоту.

— Куда тебе! Я далеко пойду, за вышку. На двое суток иду зверовать... А ты гляди хозяевай как следует. Дверь запирай на нутряной замок.

Я продолжал одеваться. Терентий Васильевич молча наблюдал за мной.

— На лыжах стоять можешь? — спросил он на хонец.

Я промолчал.

— Ну, дело твое. Только гляди, ночевать ляжем в лесу. У нас тут так: где дым, там и дом.

Еще теплый со сна я вышел на крыльце. Острый, ледяной мороз охватил меня. Была еще ночь. Деревня спала, только окна пекарни светились. Услышав запах ружья, две тунгусские лайки Терентия Васильевича,бросив еду, заметались и зафыркали.

Терентий Васильевич встал на широкие лыжи, подал мне палку — сбивать с веток снег, чтобы не сыпался за ворот, — и мы стали подниматься.

Луна светила. Большая Медведица непривычно висела ковшом книзу. Оконченная от стужи тайга была загадочно неподвижна. На пышных сугробах безмолвно вспыхивали лунные звездочки. Терентий Васильевич ходко шлепал на лыжах, изредка постукивая палкой по ветвям, и за ним, утопая по брюхо в снегу, прыгали умные лайки. Вот он остановился, послушал скакавшую верхним следом белку и сказал, не оборачиваясь:

— Сытая. Ускоки короткие.

И снова ружье, висящее книзу дулом на его спine, и поняжка маячили впереди, между сосновами.

Не прошло и получаса, а мне стало ясно, что я не дойду не только до вышки, но вряд ли дотяну и до соседней сопки. Однако упрямство и стыд гнали меня вперед. «Подумаешь — журналист! — урезонивал я себя. — Вон Михаил Кольцов в Испании был, в республиканских войсках, Евгений Рябчиков — в экспедиции в Антарктиде... А ты не можешь сопку перейти... И правда, очкарик».

Уже развиднлось, когда мы достигли вершины сопки. Поверх узкой гривкой росли красавцы кедрачи. С голца стало видно окутанное морозным туманом восходящее солнце. А в распадке, откуда мы вышли, и у берега было еще по-ночному темно; поблескивали огоньки деревни, двигались фары машин у верхнего склада. Кедрачи кончились, пошла лиственница, потом сосняк, елка. Вбок, в чащобу, прямой струной уходил свежий лисий след. Лиса прошла тихонько, угадывая задними лапками точно в следы передних — ноготок в ноготок.

На мою беду, идти вниз оказалось труднее, чем подниматься. Лыжи проваливались, цепляясь за ва-

лежины, корни, гнилые прутья, цеплялись внезапно и крепко, словно попадали в капкан. Тяжело без привычки ходить по тайге. Тяжело, даже если бывалый охотник ведет тебя обхоженной, хотя и невидимой тропкой.

Я едва передвигал ноги, а ничего не подозревающий Терентий Васильевич, как нарочно, разговорился. — Талант у него был на зверя, — не оборачиваясь и словно разговаривая с елками, говорил он. — Молодой был парень, а зверей знал, как кумовьев, кто где и кто что, — ровно они ему анкеты писали... Псмю, повадился шатун. Одного мужика насмерть задрал: шкуру с черепа снял, на глаза повесил. Медведь чего-то глаза человеческие не переносит... Ну, так и вот, приходит ко мне Хромов.

— Кто?! — воскликнул я. — Николай?

— Какой там Николай! Николая тогда еще и в замумке не было. Это я отца его вспомнил — Федью. Приходит, значит, Федька и говорит: «Давай», — говорит, — Терентий, возьмем того шатуна, пока мужики не схватились. Он тут рядом бродит». Ну ладно, — снарядились, пошли. А лет нам тогда едва по пятнадцать сравнялось. Дошли аккурат до этого места, глядим — следы. Ну и лапа! Я обеими ногами в след встал, и еще место осталось. «Давай-ка», — говорю, — Федька, домой от греха. У нас с тобою ружьишко-централка, а медведь, сказывают, коли отведал человечины, страшен. Людоед». «Как», — говорит, — хочешь? Воротился я домой, а вскорости и пожалел. Все ж таки взял Федью того шатуна. Зверь был — с места не стащишь. Во какая головизна! Федька говорил, четыре заряда пришло стратить. Стрельнул раз — а он идет. И ревет так, что тайга раздается. Стрельнул второй — он все идет, как заговоренный. Только с четвертого раза лег. Теперь встанет — ничего. Только маленка поправить. Подошел, глядит — нет, заснул. Стали шкуру сдирать — в лобатине пулью нашли давнишнюю, плющенную... Слабы были прежде ружья, однако...

У меня такое правило: собирая материал, нужно не гнушаться самыми, казалось бы, незначительными подробностями. Чтобы понять человека и хорошо выписать его, нужно внимательно прослушать, что говорят о нем родные и знакомые, подруги и товарищи, подчиненные и начальники, друзья и недруги. И где-то на пересечении всех этих мнений находится истина характера...

В течение трех дней я часто беседовал с Николаем Хромовым. Мы вместе ездили по «клеткам» на нижний склад, и Николай не пропускал случая, чтобы не похвастаться тайгой. Шелковое кашне, оказывается, подарила ему Арина. Любили они друг друга или нет, понять я не мог. Как только разговор касался этого предмета, в голосе Николая слышалась темная усмешка, и невозможно было понять, шутит он или говорит серьезно. Что-то было в его душе непонятное, закрытое от меня и от всех.

И вот теперь Терентий Васильевич рассказывает о его отце. Я уже знал, что выговаривается он только на ходу, чтобы скоротить время, а дома от него не добьешься ни слова. Так разве можно отстать от него? Разве можно потерять такой случай? Несколько раз я хотел попросить его передохнуть, но всякий раз не решался: было совестно.

— Атлет был мужик... — говорил Терентий Васильевич. — Неусидчивый, беспокойный. Девки за него косы друг у дружки выдирали. Хоть и недолго мы его видели, а много он тут делов наделал. У меня невесту отбил, сам женился. Женился — поехал учиться. Выучился на военного — ромбу повесили. По-теперьшнему — генерал. Загордился, стал много о себе писать: «Куда, мол, мне, этакому кавалеру, чал-

донка». И обидел бабу, кинул ее с Колькой. Уехал куда-то в Приморье, нашел, видно, там себе по чину. А эта осталась одна — ни ему, ни людям... Но деньги он на Кольку слал, как следует, это надо правду сказать. Потом и деньги кончились. Слухи пошли, будто взяли его. За что — неизвестно. Взяли — и вся сказка. Прежде была у меня к нему претензия, а тут стали мы потихоньку его забывать, как забывают покойников...

Мы добрались до вершины следующей сопки, стали спускаться снова. Колени мои ныли, и с каждым шагом становилось труднее выволакивать ноги из снега. Но я все-таки шел, шел, стиснув зубы, чтобы не застонать, шел, согнувшись, упираясь ладонями в колени.

— Ночью, слышу, что-то в окошко поклевывает, — продолжал Терентий Васильевич. — Впустил — он. Словчился — убег из зоны. Худущий — по всем статьям каторжный. Голова рубцом стрижена, ножницами кое-как. На шее чирьян. Налил ему граненый стаканчик, — пить не стал, даже не поглядел. «Сбегай», — говорит, — Терентий, до моей бабы, попроси, чтобы Кольку мимо окон провели... А я через задергушечку погляжу. Дали, — говорит, — мне двадцать пять, и мне, — говорит, — показаться возле них невозможно. Кабы не было им неприятностей...» А она, дура, как услыхала, что он тут, так и прыснула через всю деревню, зимой, без шубеки, так и летит, так и наливает. Вот это была любовь так любовь — прямо завидно. Обхватила его руками, и не отцепить ее было никаким путем... Ну, чего нюхтишь? — спросил вдруг Терентий Васильевич собаку.

Остановившись, он вскинул ружье и выстрелил с поворота. Считая сучья, в сугроб полетела белка. С веток печально полились снежные струйки.

Радуясь передышке, я опустился на выворот кедра.

— И на что я ее стрелял? — проворчал Терентий Васильевич, оглядывая оскаленную тушку. — И целил кое-как, только шкурку испортил...

Он нанизал белку через глаза на сырьемятый ремешок, перекинул на понягу и тут увидел меня.

— Сейчас, — сказал я и попробовал подняться. Но с ногами случилось что-то странное. Они отказывались разогнаться. Малейшее движение вызывало режущую боль в суставах.

— Вот так, парень, и стал жить беглый Федька со своей женой во второй раз, — сказал Терентий Васильевич, словно ничего не заметил. — А что это была за жизнь, сам, небось, понимаешь. Хоть и сыйый, устиранный, — все не то. Сидел тайком в избе и дрожал, как мышь в мышеловке. Все ждал — постучатся. Колька к тому времени вырос — лет семь было, — мог проболтаться. Но все ж таки жил. Началась война, немец к Москве шел, — не до него, видно, было...

Продолжая говорить, он пошел в чащу и зашел, видимо, далеко. Голос его я еще слышал, но слов уже не мог разобрать. Вскоре он появился с охапкой валежника и стал раскладывать костер.

— Стучит, значит, милиционер, — говорил он, подкладывая в огонь березовую губку, — а Федька с заднего двора — на двор, да к сиверу, да куда-то в пади и в мари. Как был босой, так и убег по снегу навеки. Скорей всего, в тайге успокоился. А милиционер попросил напиться и поехал по своим делам... Случайно зашел, значит... Что-то заморочало, парень. Долго-то не сиди. Пороша будет. Побоку немножко возле костра да ступай помаленьку. Спички есть? Ну, тогда до свиданья. Гляди, дома на нутряной замок запирайся. И сними там рубахи на дворе — я позабыл.

До дому было не так далеко: перевалить сопку, пройти падью, перевалить другую сопку, а там и берег, зимник и ходят машины.

Отдохнув, я поднялся на ближайший голец. Во все стороны, одна за другой, однообразные и одинаковые, как облака под самолетом, белели сопки. На склонах виднелись бурые шеренги хвойного леса, а кое-где на обрывах, где все сбиваются снежными обвалами, белели проплешины. На вершинах темнели гривы кедрача. В разложинах стоял туман.

Довольно долго казалось, что я возвращаюсь тем же путем, каким шел с Терентием Васильевичем. Однако в ту минуту, когда в распадке надо было показаться деревне, внезапно открылись совершенно незнакомые места. По отлогому склону тянулась широкая полоса давнего пала. Ни звуков лесопилки, ни шума машин — ничего не было слышно. Я заблудился.

Черными столбами торчали из-под снега жалкие остатки когда-то роскошного хвойного леса. Снег лежал печальным, нетронутым покрывалом; одного взгляда было достаточно, чтобы понять, как давно сюда не забегал зверь и не залетала птица. Даже кустарник не рос на опаленной огнем земле. Вокруг было тихо, безнадежно; черные застывшие пальки напоминали о безмолвном, заброшенном кладбище. Где-то поблизости лесосклад, люди, машины, скованная морозом река, но где, неизвестно. «Не торчать же тут целый день!» — подумал я и повернулся обратно. Вскоре я залез в такую чащобу, что потерял всякое представление, как выбраться и куда идти.

Ветер становился жестче. Таежная глухомань обступала со всех сторон. Колени заболели снова. Я остановился и закричал. Надеясь, что услышит Терентий Васильевич, было глупо, но я все-таки закричал. Впрочем, довольно скоро мне стало совестно; я сел на поваленную бурей сосну и, может быть, читатель не поверит, засмеялся над собой, как над совершенно очужим человеком.

В небе послышался шум. Царапая лицо, я стал выбираться на лесную поляну. Неужели самолет? Самолеты в этих местах летают необыкновенно и всегда вдоль реки. Река, как и все северные реки, течет с юга на север, в Ледовитый океан, и служит летчикам отличным ориентиром.

Я выбрался на маленький солнцепек и увидел серебристый биллан сразу. Удивительно медленно, словно сознательно указывая направление реки, он пролетел слева направо и распавился в солнечных лучах.

Я пошел направлению к солнцу. Но недаром говорил Терентий Васильевич: по тайге напролом не ходят. На склоне сопки, пересекая путь, тянулся отвесный, скалистый обрыв — по-местному «прижим». Высота его была метров тридцать, а может быть, и все пятьдесят. На дне застыл ручей. Если знать наверняка, что он впадает в ту реку, на которой стоит лесосклад, можно было бы пойти вдоль ручья, поверху до устья. А может, двинуться вверх — поискать безопасный переход? Как бы снова не заблудить!

Я стоял и думал. Мысли все медленней ворочались в голове, и, казалось, давным-давно, где-то далеко, на другой планете, видел я быстрого на ходу Терентия Васильевича, его старую деревянную поняту и его резвых лаек. Внезапно неподалеку послышался рокот автомобильного двигателя. Я вообще люблю шум мотора и готов часами слушать слитные взрывы горючей смеси, представлять, как порхает в цилиндрах искра, подчиненная человеческому разуму. Можете представить, какую песню пел мотор на этот раз — в глухой, безлюдной тайге!

Между деревьями мелькнула машина. Она лихо подпрыгнула к обрыву и остановилась у самого края,

как вкопанная, громыхнув цепями. Я не видел водителя, но по мертвым, отлично отрегулированным тормозам сразу догадался, кто он. Так и было: медлительный Николай Хромов в шелковом кашне, в малахе со сдвинутыми на затылок ушами, с кокетливой ленцой вышел из кабины, встал у машины на колено, как рыцарь перед королевой, что-то там подвинул внизу и стал сбивать варежкой снег с комбинезона.

— Коля! — воскликнул я. Он резко обернулся. Мне показалось, что он растерялся. Он стал оглядываться по сторонам, будто пытаясь увериться, нет ли здесь еще кого-нибудь, кроме меня.

Чего он испугался? Зачем заехал к пустынному обрыву? Почему сильно запахло бензином? Эти вопросы возникли позже. В ту минуту не было никаких вопросов — от радости хотелось созорничать, забросать Николая снежками.

— Думал, так далеко зашел, что живой души не встречу! — закричала я, подбегая к нему. — А ты что, не знал разве? — сказал Николай, все еще машинально постукивая по ноге варежкой. — У нас тут сто рублей не деньги, сто лет не старуха, сто верст не расстояние.

Пока я сбивчиво и весело рассказывал, что произошло, Николай даже не делал вида, что слушал. Глаза его то и дело стреляли вбок, словно промеряли расстояние от меня до обрыва.

— Как только раздался шум мотора, — говорил я, — мне почему-то сразу подумалось о тебе. У меня было такое предчувствие.

— А больше у тебя никакого предчувствия не было? — спросил Николай, медленно продвигаясь. Я стоял на голыше у самого обрыва. Он подошел вплотную — я услышал запах табака из его рта — и наступил ногой на тот же самый голыш. Гладкий красивый лоб его покрылся потом.

Глубоко внизу виднелся закованный льдом ручей и маленькая, вмерзшая в лед лодка, похожая с высоты на скорлупу подсолнуха. У самого берега — то ли из проруби, то ли выше родника, отсюда было не видно — клубился густой белый пар, и вокруг плохо уложенной стопкой блинов поднималась наледь.

— Что это? — спросил я. — Дым?

— Не дым, а пар. Целебный источник.

— Горячий?

— Горячий! Окунешься — все болячки заживут, — проговорил Николай, все так же напряженно смотря на меня. — Доктора приезжали. Грозятся курорт открыть. Видишь, у нас чудес сколько? Как сейчас, слышу я его голос, как сейчас, вижу странно серьезное лицо, на котором словно затвердела темная ухмылка, вижу мокрый от пота лоб с налипшими волосами, хищный, ставший совсем зелеными глаза, свижающийся, прищуривающийся, словно глаза радиоприемника. Но в тот момент, захмелев от радости, я болтал без передышки.

— Знаешь, Николай, очерк, который я напишу про тебя, будет моей первой настоящей работой. Первый раз у меня такое ощущение, что я вижу своего героя насквозь, до самого донышка... Я могу написать не только то, что ты думаешь сейчас, но и то, что будешь думать завтра, послезавтра...

Загадочная ухмылка отчетливо заиграла на лице Николая. Он взглянул на меня с откровенной насмешкой и спросил:

— Ты вот что, друг. Когда домой?

Я стал объяснять, что мне осталось решить одну последнюю задачу: толково и вместе с тем художественно объяснить, каким образом добивается Хромов успехов. Каким образом удалось Николаю гонять

сто тысяч километров без ремонта и сохранить машину новенькой, с иголочки, — это пока что не совсем ясно. Надо посидеть в леспромхозе еще день-три-четыре, поговорить, пополнить записи.

— Езжай завтра, — бесцеремонно прервал Николай. — Факты собрали и порхай отсюда. А то гляди, волк укусит. Или под обрыв загремишь. А потом скажут, Хромов спихнул. Хлопот не оберешься.

Он встал на подножку, вдвинулся в кабинку и закричал раздраженно:

— Давай скидай лыжи! Еще ждать тебя!

Мы проехали минут двадцать, свернули налево, и внизу открылась наша заснеженная деревенка, изба Терентия Васильевича, задубевшие, ломкие рубахи во дворе, которые он забыл снять после стирки.

Рубахи под ветром стучали друг о друга, как фанера.

— Ты вот что, — сказал Николай. — Прято, что возле дома запутался, помалкивай. У нас тут народ колючий. Первая Аришка засмеет. Не говори, что у Горячего ручья встретились. Давай слазь. Топай ножками. Будто не видал меня.

— Спасибо, — сказал я. — Молодец ты.

— Да ведь все хочешь, как лучше! — усмехнулся Николай и захлопнул дверцу.

Я все-таки прожил еще двое суток и только на третий день, когда вернулся Терентий Васильевич, отправился на аэродром. Крутила пурга. В деревнях гудел ветер, снег сильно хлестал по лицу. Во избежание несчастных случаев инспектор по технике безопасности приостановил валку леса.

Хотя и не хотелось признаваться себе, но я знал: Николай в моем описании получится примитивней, чем он есть на самом деле. До сутки его характера так и не удалось докопаться. И не потому, что он такой уж необъяснимый. Просто надо было твердо следовать первой заповеди журналиста: прежде чем понять героя, пойми работу, которой он занимается. И правда: в нашей стране не узнаешь человека, если не поймешь дела, которому он отдает время и душу. Недаром у нас трудовой человек носит красивое имя — трудящийся.

А на лесопункт я заехал случайно и даже не знал, что такое «чокер». Заготовка леса, автодело, эксплуатация автотранспорта, тонна-километры, недожог, пережог — все то, что заполняло мысли Николая Хромова, для меня было книгой за семью печатями. Узкая, расчищенная бульдозерами полоса вдоль берега между рекой и цепочкой лысых сопок, носившая громкое название аэродрома, тянулась километрах в десяти от нижнего склада. Редкие, разбросанные по откосам строения и службы тонули в снежном тумане. По такой погоде здесь можно было пропутать сутки, но мне повезло, и я довольно быстро наткнулся на бревенчатое помещение.

Просторную комнату разделяла беленая перегородка с фанерной дверью. В перегородке были вырезаны два окошка с табличками «Касса» и «Дежурный». Оба окошка были заперты. На фанерной, запертой на замок двери был наклеен плакат: «ТУ-104», взмывающий в голубое крымское небо. Рядом висел телефон с ручкой.

— Есть кто-нибудь? — спросил я громко.

Никто не отозвался. Раскаленная до малиновой прозрачности печурка гудела в углу. Вокруг печурки в толстых плахах пола падающими угольками были выжжены черные лунки.

Когда я перелистывал старые, без обложек, журналы «Китай», «Спутник агитатора», наружная дверь

распахнулась, и на пороге появился маленький кривоногий старичок с охапкой поленьев. В коротком, осыпанном снегом пиджаке, с лицом, заросшим мягким желтоватым пухом, старичок выглядел древним, несмотря на то, что на маленькой голове его парадно блестела золотыми разводами фуражка летника. Лягнув кривой ногой дверь, холодный и быстрый, он прошел в угол и вывалил у печурки промерзшие, звонкие, как сталь, поленья.

— Где тут дежурный, дедушка? — спросил я.

— А ты кто, слепой? — отозвался он тонким, бабьим голосом. — Форму не понимаешь?

И он поправил на голове фуражку.

Я спросил, когда будут продавать билеты до Усть-Курта.

— Билеты, билеты! — проворчал старичок, присаживаясь у печурки на корточки. — Погода, вишь, пурливая... На билете не улетишь... Он достал кисет и стал сворачивать цигарку. — И чего их берет охота летать? Ну, летчик, падно. Ему деньги дают, шоколадом кормят. А вольных, не пойму, чего в небеса тянет. Ровно на земле тесно.

Он приложил к раскаленному боку печурки бумажку. Бумажка вспыхнула. Он прикурил и вдруг спросил неожиданно:

— Написал заметку-то?

— Нет еще. Не написал.

— А про них и писать нечего. Хавос у них там библейский, и больше нету ничего. Начальство приезжает — запускают циркульную пилу, чтобы шуметьшибче. Чтобы слышимость была. А начальство улетят — опять тихо. Что я, не знаю, что ли? И чего у них дело не идет? Какие могут быть причины? И машины им выделяют, и продукты дают, и денег каждому платят — хоть каменный дом вставь.. И власть у них та же самая, советская, а дело не идет... Обождика, я погоду узнаю.

Дедушка подошел к телефону, поправил на голове фуражку и стал звонить. Звонил он долго, с ожесточением крутил ручку, кричал, ругался, дул в трубку, но промежуточных коммутаторов было так много, что дозвониться у него не хватило терпения.

— Вот меня бы ты описал, это да, — сказал дедушка, усаживаясь на прежнее место. — Я бывалый мужик. Я и в Братском бывал, и в Заярске бывал, и до Тайшета чуть не дошел. Вот я какой! С меня цельный роман списать можно. Что я, не знаю, что ли? Терентий-то хоть принес чего из тайги?

Я перечислил богатую добычу Терентия Васильевича и сказал, что, по-моему, он очень хороший охотник.

— Ничего! — согласился дедушка. — Терентий ничего бывает. А вот я был охотник так охотник. Он одну белку сшибет, я две. Он две сшибет, я пять. А тогда, до перевороту, за белку полтинник давали. Водка — сорок копеек, а за белку — полтинник. Вишь как оно было, — добавил дедушка озадаченно и после долгого раздумья спросил: — Куда ходил-то Терентий, не сказывал?

— Далеко. Куда-то за вышку.

— Вон куда! Это, значит, на делянку Ерофеева купца ходил. Вон они куда ходят! Теперь все глаза выстегаешь, пока след отыщешь. Тут стоят, там стоят, там машина шумит, там бензин льют... Загудела тайга. Распугали зверя... А было время — ко мне медведь сам в окошко стучал. Выйдешь на приступочку и стреляй на все стороны... Кругом богатство... Вон у меня в революцию ничего не было — ни чего поесть, ни денег. Валенок, и тех не было на зиму припасено. А была винтовка-трехлинейка. Их в переворот много накидали, я и взял одну. А патронов нету, и взять негде. И пошел я тогда на хит-

рость. Ходили в ту пору возле нас партизаны. Одним словом, красные. Атаман у них был Михей Хромов, с нашей деревни. Я к нему. Присягнул, кому было велено, и выдали мне четыре обоймы. Запрятал я свои четыре обоймы куда подальше, дождался вечера — да в тайгу. Пришел в тайгу, гляжу, белка. Стрельнул — свалил. А осень была, стрелять белку грех. А мне что? Молодой был, глупый... Слыши, по ту сторону ручья идет кто-то. Идет — палкой по веткам постукивает. У меня душа в пятки. Понял я, что это идет, хорониться не стал. Все равно отыщет.

— Кто же это, дедушка?

— Тайги хозяин, вот кто,— произнес дедушка шепотом и поглядел на окно.— Конечно, наружность он принял хромовскую, думает, видать, что я дурак. А я — нет. Чего я, не знаю, что ли? Вышел на бережок, погрозил на меня вот этак пальцем и пошел себе. Знак дал, чтобы, значит, я белку не трогал в неурочное время. Знак дал и ушел. Идет и стучит палкой, ровно в тридцать второй калибер похлопывает, и кричит жалостно: «Эй-эй!»

«Ладно,— думаю,— все одно темно, стрелять некуда. Обночую — там видно будет». На заре проснулся — белка сидит. Вот так вот, как ты, близко сидит, на нижних сухах — ноздрей дергает. Только ее увидел, она и говорит: «Убей меня, пожалуйста».

— Что?

— «Убей», — говорит.

— Кто?

— Да белка. Кто же еще? — сказал дедушка с досадой и поправил свою форменную фуражку.— Я цоп винтовку, да, слава богу, вспомнил тайги-то хозяина, перепугался. Махнул рукой: «Не нужна, мол, ты. Ступай с богом». Белка мелкими ускоками выше, выше, а все кричит хрипым голосом: «Убей» да «убей». И так раз двадцать. «Как же тебя убить, если тебя не видать?» — подумал я, и только подумал — она опять тут на нижних сухах. И так она меня вконец раздразнила, стерва, так я на ее осерчал, что вскинул винтовку и прищуруился. Только тронул крючок — она на вершок сдвинулась, а сидит. Ну ладно, — как я трахну! А она сидит. Я в другой раз ударил — она сидит. Тут я давай папить Палил, палил и тогда только опомнился, когда все патроны истратил. А белка посидела, посидела и пошла на верх по лесине. Вот как он меня проучил, тайги-то хозяин!.. Так ничего не принес и без ничего остался. Иду домой по тайге и тоскую. А кругом белки бегают, дразнятся. На каждой ветке по десятку. Хоть палкой ее бей, хоть руками лови. А у меня уж и силы нету. Иду — плачу. А белки в ту осень было страсть сколько! Урожайный был год на кедровую шишку — вот и белки много. Шишка у нас тоже народ кормит. Наши молодухи-то кедровые орешки грызут не хуже белок. До перевороту надо было кедровую шишку добыть — вон какую лесину валили. Серый был народ, дикий. По осени, бывало, выходят добытчики с колотами. Колотуха такая тяжелая, из лиственницы, навроде кувалды — называется колот. Стукнешь этаким колотом по кедрачу — шишка дождем сыплется, только послевай собирать... Николая Хромова, небось, знаешь? Так вот его родного деда — партизана Михея — беляки таким же вот колотом уничтожили. Поставили на карачки и тукнули колотом по черепу. А нас, деревенских, согнали глядеть на это кино. Они, беляки, над ним долго измывались, нагайками по глазам били. А он молчал, как каменный. Только как Федьку увидел в толпе, сказал: «Надень, сынок, шапку. Простынешь». После этого его колотом и прикончили... Партийный был человек. Красный, однем словом. И рыбак был хороший. У нас в деревне два рыбака славились — он да

я. Он, конечно, тоже хорош был рыбак, но против меня куда ему... Вот я был рыбак так рыбак. Он одного хариуса вынет, я двух. А хариус, я тебе скажу, — рыба деликатная. Мясо у него нежно, как масло, — хошь на хлеб махь, хошь так ешь. Теперь у нас тут ничего нету, кроме мышей, а тогда и хариус был. Лес рубят... Моторы шумят... Бензин льют... Ребята с леспромхоза тоже моду взяли — бензин в реку спущать...

— Какой бензин? — насторожился я.

— Из машин. Обыкновенный...

— Зачем?

— Видать, так положено...

Дедушка бормотал еще что-то, но я уже не слушал его: мне все настойчивей вспоминались запах бензина у крутого откоса, потный лоб Николая Хромова, его требование не говорить, где мы с ним встретились.

5

**Н**еужели действительно так? Неужели вместо того, чтобы честно выполнять производственные задания, комсомолец Николай Хромов нагоняет фиктивный километраж, подкручивая спидометр, а бензин, который должен быть израсходован на этот километраж, сливают в ручей?

Я вспоминал лицо Николая, его умный, проницательный взгляд, его загадочную улыбку — и не мог поверить в это чудовищное предположение. Нет, тут что-то не так...

А через минуту вспоминались высокие проценты, шуточки Николая по поводу перевыполнения норм, вспомнилась его новенькая машина, вид которой никак не соответствовал длинному пробегу, дружба Николая с учительницей Ариной и... я знал, что не уеду, пока не выясню все до конца.

До сих пор я имел дело только с так называемыми положительными материалами. Непривычная роль следователя пугала меня.

Поразмыслив, я решил поговорить с Ариной. Ведь ей приходится вести учет количества перевезенных грузов. Как она сводит концы с концами? Конечно, расспрашивать ее впрямую было бессмысленно: она ничего не скажет, особенно о Николае. Но, может быть, удастся что-нибудь выведать во время обычной посторонней беседы?

За все время я ни разу не разговаривал с ней, если не считать нескольких слов, которыми мы перебросились, когда я брал у нее фотографию Николая. Я не умею знакомиться с женщинами. А тут ведь надо разговаривать долго, терпеливо, на деликатную тему — о человеке, которого Арина, кажется, любит. Я просто не представлял, как незнакомец ввалился в комнату девушки и начнет расспрашивать ее о человеке, чувства к которому она скрывает даже от себя самой.

Но на этот раз я твердо решил побороть застенчивость и, дождавшись вечера, пошел, надеясь по пути придумать повод своего посещения.

Я еще и не постучался, сбивая на крыльце снег с валенок, а она уже открыла и встала на пороге, зябко затахиваясь в цветной халатик.

До сих пор я видел ее только на работе, закутанную платком, в ватных шароварах, заправленных в валенки, в полушибке, затянутом широким ремнем с бляхой ремесленного училища, толстую и неповоротливую, как кубышка. Сейчас передо мной стояла освещенная со спины тонкая, статная сибирячка в цветастом полиновом халатике, со смуглым цыганским румянцем и с голыми, пушистыми, как персики, ногами.

— Вы куда? — спросила она.

— К вам, — сказал я. — Можно?

— Вздите.

Арина провела меня в небольшую, жарко, до одури, натопленную комнату, увшанную разноцветными аппликациями. Здесь были тирольские охотники с усиками, голая дама в чулках и с бокалом, цветы, лоси на водопое, витающие в небесах ангелы. Вышивалось, видимо, все, что попадалось под руку, — лишь бы занять пустое время. Это была выставка тщательно и со вкусом исполненных пошловатых сюжетов.

Николай сегодня не был: пепельница стояла на столе пустая и чистая. Еще я успел заметить, что зима в этих местах наступает рано: окно было заклеено газетами, датированными концом сентября.

За окном гудела пурга. На печке писал чайник.

— У меня к вам, собственно, нет никакого дела, — начал я, спохватившись, что не придумал никакого повода. — Я скоро уезжаю, и вряд ли мы снова когда-нибудь встретимся.

Арина стояла у стены, исподлобья поглядывала на меня и дожидалась, когда я перестану молоть чепуху и заговорю о том, зачем пришел.

— Как только выйдет очерк о Николае, я пришлю вам номер газеты...

Она насмешливо смотрела на меня.

— У меня это первая крупная работа. О нашем человеке, о герое нашего времени, — сказал я и тут же понял, что Арина чувствует не хуже меня фальшь этой фразы. — Может быть, прочитаете и напишете, как понравилось...

— Вы пришли-то зачем? — спросила она и взглянула на меня с презрением. Чайник кипел, но она не снимала его, чтобы не приглашать меня к столу.

Я рассердился. И спросил в упор:

— Как вы думаете, каким образом Николай добивается рекордных показателей?

Арина долго смотрела на меня, прищурившись.

— А вы сами как думаете? — спросила она наконец.

— Видите ли, мне не цифры нужны, — заговорил я. — Не техника... Я хочу подойти к этому вопросу, как бы вам сказать, изнутри... Понять, что он любит, какие читает книжки, о чем мечтает... В общем, хочу выяснить его душевные данные.

— Душевные, — усмехнулась Арина. — Вот вы бы мне про него объяснили, я бы вас отблагодарила.

— Я тут пять дней. А вы, я слышал, дружите с ним.

— Кто это вам сказал?

— Во всяком случае, вы его больше, чем я, знаете.

— Не больше, а больше, — проговорила Арина. — Если он со мной время проводит, это еще ничего не обозначает. Скучно у нас. Вот и играемся друг с дружкой. Как он говорит, в жмурки.

— Это, значит, не всерьез?

— Кто его знает, что у него всерьез, что не всерьез. Больше всех парень той врет, с которой гуляет. Это — тоже его изречение. — Она вздохнула и, словно спохватившись, закончила решительно: — Ничего я не знаю.

Во время разговора она так и не села. Ей явно хотелось избавиться от меня.

Так мы неподвижно стояли в разных углах, как на дуэли.

И вдруг мне почудилось, что в комнате поскрипывают половицы.

Я насторожился.

Действительно, половицы явственно скрипели, будто между нами ходило привидение.

— Что это? — спросил я.

— Технорук ходит... — односложно ответила Арина.

Оказывается, длинные доски пола были пропущены через две квартиры, а за стеной жил Аким Севастьянович — технорук леспромхоза. Он и вышагивал сейчас по своей комнате.

— Ходит и ходит целыми ночами, — сказала Арина. — Думает все. Шут его знает, чего он думает... Вот к нему вам и надо. Он вам все разъяснит. А я что. Я учительца. У меня образование не хватает, — сказала она уже с откровенной издевкой.

Я достал из кармана фотографию Николая и бросил на стол.

— Не надо? — спросила Арина.

— Не надо.

— Не надо, так не надо. — Она взяла фотографию, сунула под скатерть и посмотрела на меня.

— А я не уходил.

Чайник гремел крышкой, клокотал, и делать вид, что она не замечает этого, было уже невозможно.

— Чай хотите? — предложила она сердито.

Я сказал, что хочу.

Мы сели к столу. Потом пили чай долго и молча. Она из красивой чашки, я из стакана. Пили и со злостью поглядывали друг на друга. Стакан был горячий. Я обжигал пальцы, а Арина со злорадством поглядывала на меня. Когда я допил, она усмехнулась и предложила еще. Я согласился, но попросил налить в чашку. Она достала из буфета чашечку тонкого, прозрачного фарфора, легкую, как бабочка, такую же, как у нее.

— У вас целый сервис? — спросил я.

— Он подарил, — кивнула Арина.

— На 8 Марта.

— Дорогой подарок.

— А ему что? Дорого ли, дешево... Что ему деньги!

— Где же он достал такой сервис?

— В Усть-Курт летал. На самолете... — Она позабылась, и снова глаза ее стали грустными. — Чайник, молочник, полоскательница, сахарница, шесть блюдец, шесть чашек было... одна разбилась...

— На счастье.

— Нет. В пути разбилась. Когда обратно летел, вынужденная посадка была.

— Далеко?

— Километров семьдесят отсюда сели. Лоб рассек, чашку кокнула. Пешком шел, принес...

— Ну вот, видите...

— А чего видите? — проговорила Арина, раздражаясь. Она достала большой чайник от сервиса и поставила его передо мной. На боку чайника было выведено:

Любимой Арине от любимого Коли.

Любовь — это бурное море,

любовь — это злой океан,

любовь — это шутка и горе,

любовь — это только обман.

— Это как понимать? — спросила Арина. — Всерьез или в насмешку? Что это обозначает? Бывают же люди... Не угадаешь за улыбкой, что сотворят... Может, ракету выдумают, а может, человека убьют.

Она открыла створку буфета и стала аккуратно ставить сервис на полку, чайник посередине — к стене надпись, а чашечки полукругом возле него, ручками в одну сторону — так ей казалось красивей. Она долго стояла ко мне спиной, и фарфор щебетал под ее руками...

Внезапно мне стало пронзительно жалко эту девушку. И желание выведать у нее что-то плохое о человеке, которого она любит, показалось до того подлым, что я вскочил со стула, торопливо попрощался и вышел.

Пурга не утихала. Ветер свистел в ушах и забивал

ся за воротник. Мимо неслись машины с зажженными фарами.

За спиной послышались торопливые шаги. Я обернулся. Простоволосая, в полушибке, из-под которого виднелся цветастый халатик, осыпанная снегом, бежала Арина.

— Послушайте, вы! — закричала она издали. — Вы чего приходили? Зачем?

— Как зачем? Я не только к вам... и к другим ходил... Собираю материал о Хромове...

Она смотрела на меня подозрительно.

— Вы что хотите выведать? — спросила она требовательно. — Чего в пряталки играете?

Я собрался возражать, но она перебила:

— Так вы учите! Ничего про него не знаю! Понятно вам? Ничего не знаю. Не знаю — и все...

Глупая девушка! Если бы она не погналась за мной, может быть, я и уехал бы ни с чем и не стал бы писать о Хромове. Но теперь все было ясно.

6

**Н**е стану подробно рассказывать, как в течение всей следующей недели распутывалось это грязное дело.

Вот страница блокнота, на которой технорук Аким Севастьянович собственноручно изобразил схему леспромхоза. Пересекая многочисленные подъездные пути, уверенно прочерчена красным карандашом дуга. Это зимник, зимняя трасса, разведенная и проложенная в прошлом году Николаем Хромовым на прямик через распадки и застывшие болота.

Расстояние от «клеток» лесного массива до нижнего склада по зимнику Хромова сокращалось почти в два раза. Рассказывая о заслугах Николая, технорук не забывал и эту дорогу. По беглым подсчетам, получалось, что экономия на перевозках зимой ежемесячно достигала нескольких десятков тысяч рублей.

Празда, в плохую погоду, которая здесь не редкость, рискованным путем Николая отваживались ездить далеко не все. Снежные обвалы, заносы, затяжные подъемы и спуски требовали от водителей опыта, недюжинной выносливости и физической силы. Большинство шоферов боялись зимника и предпочитало спокойную, проверенную длинную трассу.

В моем блокноте сохранился список «патриотов зимника», которые пробились к нижнему складу в любую погоду. Это был сам Хромов, два дружка, недавно выпущенные по амнистии, странный, стиляжеских повадок парень по имени Эрик, окончивший десятилетку и зарабатывающий право поступления в институт, и тихий, безучастный ко всему дядя Леша.

В первом варианте очерка про дорогу Хромова и ее патриотов я писал много доброго и хорошего.

А позже вся схема была перечеркнута одним только словом: «туфта».

Слово это означало вот что: несмотря на то, что расстояние по зимней дороге было вдвое короче, дальность возки в путевках «патриотов» показывалась по летнему километражу, то есть в два раза больше действительной.

Как только я внимательно просмотрел и сверил путевки, дело выяснилось окончательно. Шофер ехал короткой дорогой, накручивал на спидометре фиктивные километры, сливал лишний бензин у Горячего ручья и отправлялся получать премию за перевыполнение плана.

Трудности зимника, служили шоферами некоторой лазейкой для совести; однако, как ни верти, в леспромхозе происходило преступление. Это для меня было ясно. Однако удовлетворения я не испытывал.

Иногда данные, достаточные для следователя, недостаточны для журналиста. Мне было непонятно главное: по какой причине умный, сильный, по-своему честный парень втянулся в грязную авантюру, длившуюся вот уже около двух месяцев.

Может быть, когда-нибудь я разобрался бы и в этом, но срок поездки давно истек; нужно было возвращаться домой.

И когда я в последний раз толкнул знакомую, обитую, как матрац, дверь кабинета Акима Севастьяновича, настроение у меня было неважное.

За письменным столом в неизменной кожаной тужурке сидел технорук Аким Севастьянович и чистил перочинным ножом свои красивые ногти. Ему не было еще и тридцати лет, но поседевшие, аккуратно зачесанные виски на приятном, покрытом гладким зимним загаром лице несколько старили его.

— Скоро едешь? — спросил он и улыбнулся.

У него была такая привычка — невпопад улыбаться.

И когда он улыбался, во рту у него блестел зуб из нержавеющей стали.

Садись, — он кивнул на стул и некоторое время, сглатывая слону, продолжал чистить ногти. — Садись, садись, — повторил он, хотя я уже давно сидел против него. — А то один сидит, другой стоит. Неловко получается. Чего ты там у завтара скандалил?

— Мне нужны были путевки, а он не давал.

— Небось, матерком пустил?

— Нет, не пускал.

— Некрасиво получается. Солидный товарищ, прибыл из Москвы, а пускает матерком в присутствии подчиненных.

О своих подозрениях я рассказывал Акиму Севастьяновичу и раньше. Сначала он не верил, изумлялся, потом похвалил меня и посоветовал действовать «аккуратней» и «никому ни о чем не говорить, чтобы раньше времени не спугнуть преступников». И последние подробности, о которых я рассказал, не были для него неожиданностью.

Он спокойно дочистил ногти, защелкнул ножик, аккуратно сдул обрезки ногтей со стола и спросил:

— У тебя все?

Потом вышел из-за стола и стал молча шагать по скрипучим половицам.

— Писать будешь? — спросил он и улыбнулся.

— Собираюсь.

— Не рекомендую.

— Чего не рекомендуете?

— Замкни-ка дверь, чтобы рабочий класс не мешал... Тебе известно, какие задачи поставлены перед лесной промышленностью? Громадные задачи поставлены.

Молодых нужно в лес загонять, холостяк в основном. Такая установка. Теперь лагерь нет — часовых ликвидировали, проволоку поснимали.

Теперь, если что не так, рабочий класс и трюсом в лесу не удержишь. Так и сверкают отсюда — и вербованные и коренные. Две тыщи ему не выведешь — никакие воспоминания детства его тут не удержат.

А ты, вместо того чтобы отобразить нашу работу, собираешься перемазать всех подряд дегтем. К нам и так народ не загонишь, а после твоей заметки сюда и собака добровольно не забежит. Ты что, мне план сорвать хочешь?

— Какой? Бумажный?

— Конечно, в газете сидят проверенные люди. Они хорошие решето прошли, пока их на газету поставили. Они тебе не позволят леспромхоз марать. Ко- му от этого польза? Никому, кроме врага. При нынешнем международном положении.

— А как вы думаете, бензин можно выливать в овраг при нынешнем положении?

— Эх ты! Правильно про вас на каждом повороте

указывают, что вы отсталые от жизни. Верно указывают. Ну, допустим, есть отдельные уроды — уничают бензин. А почему ты передовиков не увидел? У нас, к твоему сведению, передовая механизация погрузки. Вот, пожалуйста, сводка: Попов — 181, Седых — 152, Морозов — 176... Тут такое творится, а вы видите только черный ход. Бородавки видите. Можете всю действительность черной краской... Ты к этой ходил, как ее... К Аришке? — спросил он внезапно.

— Ходил. А что?

— А у меня есть сведения, что ходил. И она за тобой бежала по улице и кричала в голос... Как там у тебя, по моральной линии? Все в порядке?

— Я у нее о Хромове спрашивал.

— Ты хоть женатый? — спросил он и улыбнулся.

— Нет.

— С какого сам года? Небось, двадцать пять есть?

— Двадцать три.

— Ну вот. Двадцать пять лет, а неженатый. А пора бы тебе упорядочить свою жизнь... Некрасиво получается. Заметный человек, из Москвы, а санкует. Ты как ехать собирался?

— На самолете.

— Какой в такую погоду самолет! Ты давай-ка вот что. Пережди денька два-три. Хочешь — за наш счет. Обсудим эту историю. Докопаемся до корней. Напишем вместе куда следует.

— Нет, не могу, Аким Севастьянович. Надо ехать. На самолете нельзя, буду у вас машину просить...

— Машина не вопрос. А вот куда я горючее спишу? А? Порожний рейс. Меня за дальний порожняк по головке не погладят. Знаешь, сюда нам горючку доставляют с какими трудностями... Особенно в зимний период. А тут порожний рейс. — Аким Севастьянович встал и начал шагать по скрипучим половицам. — Ну, да ладно. Организуем машину. А ты учти на будущее: человек должен помогать ближнему. А если беспрестанно кусать друг друга, так лучше и не жить вовсе.

## 7

**В** день отъезда я поднялся рано и стал приводить в порядок свои заметки. К концу работы всегда открывается множество мелких прорех: там перепутал название речки, тут забыл записать фамилию бригадира.

Минуло семь часов утра, а за окном чернела густая ночь. По утрам в здешней сети почему-то слабое напряжение — даже радио не работает. А у лампочки едва заметный накал, и приходится зажигать свечку.

Терентий Васильевич только что затопил и пошел в сени. Сырые дрова стреляли и шипели в печи, в трубе свистел ветер, дым загоняло обратно в избу. За окном стонала пурга. В горнице было зябко, неуютно.

Перед отездом откуда бы ни было мне всегда становится не по себе. А на этот раз в черном северном утре и в все пурги стало совсем грустно.

Ветер был такой силы, что весь дом поскрипывал и вздыхал, будто его двигали то туда, то сюда, и запертая на тонкий крючок форточка беспрестанно дергалась. Собак Терентий Васильевич по случаю на погоды пустил в избу. Они лежали, присмирев, посреди горницы, свернувшись бубликами, и по-человечески тоскливо вздыхали.

— О-о-о! — стонала пурга. — О-о-о!

Снега намело во все дыры, и когда в сенях ходил Терентий Васильевич, там хрюстело, будто он не ходил, а грыз сахар-рафинад.

Я занимался записями, когда мне показалось, будто снаружи стучат по стеклу. Сначала я не придал этому значения: форточка дергалась, ветер шумел — мало ли что может почудиться в такую пору! Но то-ропливый стук повторился, явственно и настойчиво.

Сквозь стекла, плотно запаянны морозом, ничего видно не было. Я забрался на скамейку, сбросил крючок с форточки. Створка мгновенно вырвалась из рук и чуть не сорвалась с петель. В глаза ударила пригоршня острого снега.

— Кто там? — крикнул я, зажмутившись.

— Это я! — послышался голос Арины.

Она была в своем дубленом полушубке, накинутом прямо на цветастый плюшевый халат. Она оглянулась, попыталась сказать что-то, но ветер взвизгнул, и воротник полушубка хлопнул ее по губам. Арина раздраженно мотнула головой и крикнула:

— Вы когда едете?

— Сейчас.

— Если за баранку посадят Николая, не соглашайтесь! Пускай другого дают! Требуйте другого.

— Почему?

— Ничего не знаю! Если Николай, не садитесь!

— Подожди, Ариша...

Я выбежал на крыльце, но она была уже далеко. Мне показалось, будто она еще раз крикнула: «Ничего не знаю!» — и исчезла, словно пурга унесла ее на своих белых крыльях.

Я вернулся, закрыл форточку и сел думать. Предположение, что Аким Севастьянович назначит в «порожний» рейс того самого Николая Хромова, который совершил уголовное преступление, казалось мне невероятным. Да и Николай вряд ли согласится везти человека, который, по существу, написал на него обвинительное заключение. Конечно, он может попытаться откупиться от меня в пути, но в таком случае ему достанется втройне, — он не может не понимать этого.

Обдумав обстоятельства со всех сторон, я простился с Терентием Васильевичем и вышел.

Окна в канторе были освещены. Работа уже шла.

В сплошной снежной каше появилось светлое пятно. Оно становилось ярче и светлей, и наконец явственно проступили зажженные фары, плывущие, словно сами по себе, вдоль белых сугробов.

Когда машина стала видней, у меня и вовсе отлегло от сердца. Это был видавший виды бортовой грузовик, с деревянным обшарпанным кузовом и с фанерной вместо стекла на боковой дверце. А у Хромова — щеголеватый «ЗИЛ» со звездами на новых створках. Нет, это не машина Хромова.

Я вышел на дорогу и встал под свет фар.

Дверца кабинки открылась. Водитель встал одной ногой на ступеньку и, не выпуская баранки, крикнул:

— А ну, садись... Еще ждать тебя!

Это был голос Николая. Ошеломленный, я полез в кабинку и, видно, так неловко ворочался, что задел кнопку сигнала.

Машина рявкнула.

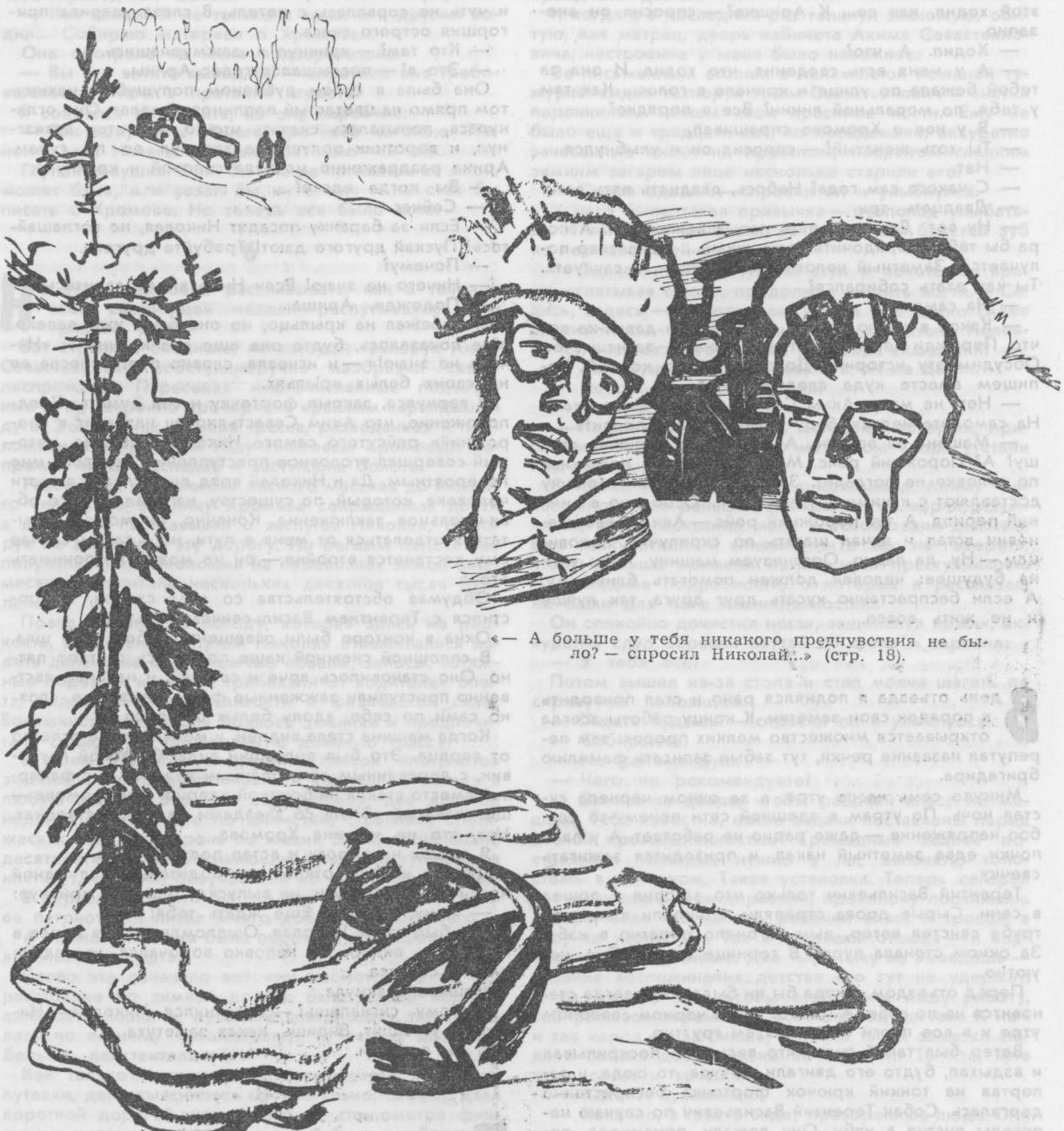
— Кому сигналишь? — усмехнулся Николай. — Никто не услышит. Видишь, какая заметуха.

И мы поехали.

## 8

**П**риключения этой удивительной поездки отпечатались в моей памяти так глубоко, что, кажется, через много-много лет, стоит только закрыть глаза, я увижу и тесную кабинку, и сиденье, оббитое холодной, как лед, kleenкой, и фанерный листок, установленный в дверцу взамен разбитого стекла, и едва притянутую щелку, сквозь которую нестерпимо

# РИСУНКИ К РАССКАЗУ СЕРГЕЯ



«Глубоко внизу виднелся закованный льдом ручей и маленькая, вмерзшая в лед лодка...» (стр. 18).

АНТОНОВА «ПОРОЖНИЙ РЕЙС»

— Большой морж вышел из Нанайской бухты.  
— Полосатин пять, подсолнечник, зебра, тигр  
— Китиша! — Энгелевский. **Художник Н. Гришин.**

— Что, гадюк наезд-пороедом, санки тут, скажи, —  
— Так и есть, — проговорил он глухим голосом.

Сказалось, бакинский базарный и  
Ромео однажды выступил из города

— Если за баранку посадят  
Николая, не соглашайтесь!»

николая, не оглашается»  
такой видимо из-за (стр. 23). Рогачев - виноват  
заборов, искажен скотчом в кипе, боялся сопротивления  
— от фанатов, вынужден он это было. Нет необходимости

Однозначного определения не имеет. Наиболее распространено определение, в соответствии с которым обработка информации — это процесс преобразования информации в соответствии с определенными правилами.

—Издательство «Молодая гвардия» —

— Быстро — голову — вон —  
— след — вон — сюда —

THE BOSTON HERALD-TRIBUNE  
A NEWSPAPER OF THE BOSTON HERALD TRIBUNE CO., INC.

ЧАСТО ГУДНЫЙ щерок  
всегда пятот яблочин си-  
лого, сплошнА мор, вон  
жана. Застыла брызги

—Ладно, — сказал он и, вытирая пот со лба, сел на скамейку.

«Вот он, червь, который

«Вот он, герой, выигрывает душу Николая Хромова!» (стр.

Министерство по делам культуры Чешской Республики

и соответствующим образом поддается обработке, то есть  
и синтезируется в организме гомологичные соединения.  
Но это, пожалуй, единственный и трижды проверенный

«Мы сидели в кабине,

«мы сидели в касюсе, плотно прижавшись друг к другу...» (стр. 28).

Лонгвуд, Канада. Участники: Д. В. Григорьевский, Ю. С. Марков.

так я поговорил селе всплынуло на чесы, оказывается, что виноваты в этом морюк жив пасец, вотя края якотэо сироты мниней-тэсненгтуянике даунтв в альянсования-ом оттенок тауданникома маджиминома дауса са маляхтастя альянса. Марс манджидиейт азападной индии исламу илл талбадан дауда гэсэннома даунтв альянсования-тогилын манихоной спод катумчанын азак-тэйнеконхи-пактобеэр дэдтиг мийндаа чанел наполитанской югаа-и-чечни азапакханындаа французсов потоо сирии хот-тэйнеконхи-тэдэгээр хөмжжээ борго цагийнжээ



острый луч ветра резал, как ножом, щеку. Машина принадлежала Битьке, и внутренность кабину точно стражала беззаботный нрав восемнадцатилетнего младожена: показатель температуры врал, стрелка наполнения бака неизменно стояла на нуле, для включения света почему-то был привинчен коммутаторный выключатель. Между прочим, Битька позаболтался о красоте: возле щитка была наклеена цветная открытка, изображающая парк в Гурзуфе, кипарисы, море и синее небо.

— По трассе поедем или вёршай дорогой? — спросил Николай. — Как желаешь?

«Вёршай» дорогой он называл свой зимник.

— Пуржит. Опасно, пожалуй.

— Ничего. Скоро притихнет. Последки выдувает.

И вот мы поехали вдоль «прижима». Я с детства боюсь высоты и долгое время не подозревал, в какой опасной близости от края обрыва двигался наш грузовик. Фанерка сослужила хорошую службу: я ничего не видел. Пурга густо залепляла ветровое стекло, «дворники» останавливались, теряли силу; Николай сгребал снег рукавицей, но через минуты мы снова ехали почти вслепую. Машина пробуксовывала в глубоких сугробах, сползала вбок, лихорадочно тряслась, и белый цилиндр спидометра метался в разные стороны.

Чем дальше мы ехали, тем больше казалось, что Николай ничего не подозревает о моих намерениях. Держался он ровно, часмешливо-спокойно, — в общем, был таким, каким я знал его в первые дни знакомства.

А вскоре я еще больше убедился, что Николай не таит против меня ничего дурного. На одном из крутых подъемов он резко посадил машину на тормоза и велел мне выйти.

— Только осторожно, — сказал он. — Гляди под ноги!

Я открыл дверцу и ахнул.

Наш грузовик стоял наискосок к дороге, и крайний задний скат висел над обрывом. Стоило только подать машину чуть назад — и она полетит вниз. Понимав опасность, Николай не пожелал рисковать моей жизнью и решил выпутываться из беды один. Каким-то чудом он выровнял машину, и мы поехали дальше.

На одном из поворотов я узнал место, где Николай сливал бензин.

И именно здесь он спросил:

— К тебе Аришка бегала утром?

— А тебе что? — сказал я, насторожившись.

— Зачем?

Я промолчал.

— Может, она тебе карточку принесла? — не отставал Николай.

Он ухмыльнулся своей темной, загадочной ухмылкой и продолжал:

— Тебе же для статьи моя карточка требуется.

Теперь было ясно. Он знал все и издевался. И странно. Как только я удостоверился в этом, мне стало спокойней.

Я взглянул на него и сказал:

— Нет, Хромов. Твоей карточки мне не надо. Потребуется — снимут и в фас и в профиль.

Он оглянулся на меня с любопытством. А я, чтобы поставить, как говорят, точку над «и», спросил:

— Почему это ты такую даль ездил бензин сливать? Можно было бы и поближе.

— Ближе нельзя, — сказал Николай. — Там сохатый воду пьет... — И, усмехнувшись, добавил: — Ведь все хочешь, как лучше.

Некоторое время мы снова ехали молча.

— Мы тут столько бензину вылили, что уж и не

растет ничего, — сказал Николай и спросил, подумав: — Значит, материал на меня везешь?

— Не только на тебя.

— На всех нас? На пятерых?

— На всех.

— Та-ак, — протянул он беззлобно. — Ишь ты, какой молодец. Прямо сквозь землю видишь. А если я тебя, например, скину сейчас, домой дорогу найдешь?

Я промолчал.

— Навряд ли, — продолжал Николай. — А мне скинуть — хоть бы что... Тут что хочешь делай — тайга не скажет. Тут у нас медведь прокурор.

Я взглянул на него.

— А ты не бойся, — сказал он.

— Я и не боюсь.

— Не бойся. Ничего не сотворю. Довезу до самой станции. Кончать надо с нами так или эдак. А то сажому тошно.

Метель утихала. Видно становилось дальше. Мы выехали на реку, и машина, как конь, с которого сняли путы, весело помчалась по гладкой поверхности, и «дворники» быстро заскользили по стеклу. Река была большая — шириной с километр; один берег виднелся в морозной дали, а другой, низкий, вообще не был бы заметен, если бы не зубастые ледяные торосы и тесные пятна кустов, протянувшиеся по далекой береговой полосе. Однообразная белая пустыня тянулась перед нами. Редко торчали вешки, отмечавшие ледяную трассу. По льду курилась поземка.

— Про Аришку тоже будешь писать? — спросил Николай.

— Это мое дело.

— А я не советую. Она в этом вопросе — крайняя. Ясно? Про меня давай пиши — хоть заглавными буквами. А про Аришку забудь. Учи, я тебя где хочешь найду. Стукну, и глаз на столе. Ясно?

Николай хотел продолжать, но что-то более важное, чем Аришка, отвлекло его внимание.

## 9

Мы не проехали и полпути, а продрог я основательно. Один раз я попросил Николая высадить меня и бежал километра полтора, чтобы согреться. И вскоре после этого случилась беда.

Помню, я еще ничего не подозревал, а Николай тревожно вслушивался в работу мотора. Он был сверхъестественно чуток к работе механизмов и смутно предчувствовал катастрофу, но не мог еще сообразить, откуда она идет. Напряжение его нервов незаметно передалось мне, и когда мотор забарахлил, я нисколько не удивился.

Машина пошла медленней. Прикусив губу, Николай потянул подсос. Машина послушно набрала скорость, но через минуту, словно выбившись из сил, снова замедлила ход и пошла, дергаясь, толчками. Николай со злостью забржал педалью акселератора и снова рванул подсос. Выхлопная труба стрельнула, и мотор заглох.

В наступившей тишине стал явственно слышен шелковый свист поземки.

Я вопросительно взглянул на Николая. Он думал, машинально включая ключиком зажигание. Потом пробормотал что-то сквозь зубы и вышел на мороз, с размаху захлопнув дверцу. Он попытался поднять капот голыми пальцами, но, едва коснувшись промороженных металлических защелок, отдергал руки, словно его было током.

Пока он продувал трубы, я тоскливо смотрел на ленившую, как папиросный дым, февральскую позем-

ку. Над гольцами стыло негреющее, в морозном пару, круглое солнце.

Николай обтер руки снегом и мрачно уселся в кабину.

— Большой мороз, как думаешь? — спросил я.

— Половин пять, полсотни шесть. Вот так вот, — ответил он. — Пальцы кусает... В чем дело, не пойму.

Некоторое время он сидел молча, уставившись на беспечного работающий «дворник».

— А ну, слезай! — приказал он внезапно.

Потом поднял сиденье, и гладкий лоб его покрылся мелкими каплями пота, совсем так же, как тогда, у прижима.

— Что такое? — спросил я, испугавшись.

— Так и есть, — проговорил Николай, не обращая на меня внимания.

Оказалось, бензиновый бак, который должен лежать на кронштейнах, по вине беспечного Витьки был положен неправильно, небрежно. Одним краем он свешивался вниз и с самого начала пути касался кардана. Вращаясь, вал протор в баке дыру, и весь бензин вытек.

Мы оказались в тяжелом положении. В радиусе пятидесяти километров не было ни жилья, ни зимовья. Идти по снегу без лыж, пешком в страшный шуршащий мороз, когда съышно, как пар шелестит возле уха, особенно в моей, не очень-то теплой одежде, было бы глупо. Надежды на проходящую машину не было почти никакой — разъезжать в такую стужу здесь некому и некуда.

— У Витьки, как женился, вовсе ума не стало, — сказал Николай.

— А вроде деловой. Суетится, бегает.

— Ну и что? Курице вон голову отруби — она тоже бегает.

К чести Николая надо сказать, что он только один раз помянул безалаберного Витьку. Потом начисто забыл про него, и я увидел прежнего Николая — делового, энергичного и насмешливого.

— Пожевать чего-нибудь захватил? — спросил он.

— Нет.

— Это ничего. Не в еде дело. Застынем раньше, чем проголодаемся. До ужина застынем, — успокоительно заметил он.

— А может, будет машина?

— Навряд ли. В такую погоду умные дома сидят. А дуракам до нас не доехать.

Он открыл краник и слил из радиатора воду. Вода застыла быстро, как расплавленное олово, толстыми блинами. Я подошел было к мотору, от которого заманчиво тянуло теплом, но Николай сунул мне в руки пешню и велел пробивать лунку.

— Если на наше счастье появится машина и дадут бензин, надо сразу заливать воду, — объяснил он. — Будем долбить по очереди.

Потом я понял: Николай заботился только о том, чтобы я возможно дольше не замерз. Ему было известно, что толщина льда здесь не меньше моего роста, и добраться до воды мы вряд ли сможем.

Я работал изо всех сил. Ветер был небольшой, но каждое дуновение его пронизывало насквозь мое пальто, пиджак, свитер и три нижних рубашки, надетых одна на другую, будто вся одежда была сшита из марли.

Николай попросил бумагу и, пока я выбивал пешней скользкие льдинки, написал, как потом оказалось, два письма: одно техноруку, другое Аришке. Он аккуратно испытывал страници и засовывал листок за листком под крышу кабинки.

А я все бил и бил неподатливый лед. Работа была трудная, неспорая. Казалось, что я стучу пешней давным-давно, а лунка остается совсем мелкой. Ко-

гда я позволил себе взглянуть на часы, оказалось, что прошло всего семнадцать минут.

— Устал? — спросил Николай.

Я смущенно оглянулся. Его наконец тоже пронял мороз. Уши малая были спущены и завязаны у подбородка, ватник застегнут на все пуговицы, так что не стало видно ни кашне, ни кирпичной шеи.

— Э-э, да ты застыл весь! — воскликнул он и, зачерпнув широкой ладонью снег, стал натирать мое лицо, напихивая сухой, режущий, как рашиль, снег в ноздри, в рот, в уши.

— Не лезь! — крикнул он, увидев, что я направляюсь к кабине. — Ходи, а то уснешь!

Мы менялись несколько раз: то Николай был пешней лед, а я ходил вокруг машины, то я брался за пешню, а он мелко трусил по кольцевой, умятой нашими ногами тропинке. Наконец Николай выругался длинно и витиевато: так же, как и меня, его раздражала бесцельная работа и надоедливая ходьба.

— Пойду на берег, — сказал он. — Может, добуду валежины. Если не вернусь, пусти письма по адресу.

Он взял топор и пошел, отпечатывая на нетронутом насте глубокие следы. Пройдя метров сто, он остановился и прислушался. Я тоже насторожился.

— Слышишь? — крикнул Николай.

Издали донесся явственный шум мотора.

— Слыши! Машина! — закричал я что есть силы.

Спотыкаясь в собственных следах и падая, Николай бросился обратно и одним махом взлетел в кузов. Я подбежал тоже, скрипя валиками.

— Тише! — крикнул он раздраженно.

Я затаил дыхание. Мы смотрели долго, до рези в глазах, но ничего не было видно. Только мертвая снежная равнина блестела под морозным солнцем.

— Слышишь? — спросил Николай упавшим голосом.

— Не пойму. То будто слышу, то нет.

— Худо дело, — сказал он. — Так и психануть недолго.

Звуковой мираж расслабил меня. И сколько ни кричал Николай, сколько ни ругался, сколько ни совал в руки пешню, я, как ошалевший, тащился в кабинку. Ему надоело со мной возиться, он стащил с радиатора толстый ватный фартук, воняющий бензином, плотно укутал мне ноги и оставил меня в покое.

Помню, как тупо и бессмысленно смотрел я на цветную открытку, изображающую море и кипарисы, слушал мерные удары гешни, чувствовал, что замерзаю. И почему-то думал, что человек на девяносто процентов состоит из воды. Медленно и сонно ползли мысли, и я дремал, и мне привиделась Москва, кабинет редактора, толпа народу в кабинете. Я говорю про Николая, про махинацию со спидометром, про выпитый бензин, а сотрудники смотрят на меня и хохочут, и никто не верит, что Николай способен на такие вещи, а я стараюсь доказать что-то, выхожу из себя, а мысли все труднее и медленней ворочаются в голове.

— Эй, слушай! — громко раздается возле моего уха. — Эй!

Николай приваливается ко мне. Я боюсь шевельнуться, чтобы не открыть где-нибудь щелочки морозу.

— В Крыму был? — спрашивает Николай.

— Нет, — произношу я с таким трудом, будто все лицо мое перетянуто бинтами.

— И я нет... Обидно, — сказал Николай.

— Да, обидно.

— Чудаки мы, к берегу не пошли. Может, на охотника бы наткнулись. Сейчас самое лисовье... А может, и нет... В тайге уснуть худо. Песец нос отьест. Некрасиво будет... Давай-ка вот что... — затормо-

шил он меня.— Говори чего-нибудь... Сказку какую-нибудь... Не спи... Говори.

— А чего?

— А то давай я буду говорить. Я буду говорить, а ты слушай.

И он стал говорить. Я не помню, что он такое говорил. Помню только, что слова его были вязкие, тягучие, как холодное, загустевшее масло. Под мерный голос я задремал снова, и мне пригрезилась изба Терентия Васильевича, и я лежу в постели, на подушке, пахнущей кислыми щами, а Терентий Васильевич точит нож, а я дремлю и вижу во сне, будто сижу в холодной кабине, прижавшись к Николаю, а за ветровым стеклом белеет мертвая снежная пустыня, и мне смешно и весело оттого, что все это не больше, чем сон.

— Нет, так нельзя! — услышал я злющий голос Николая.— Безропотно оклевать не годится. Люди мы или не люди!

Он велел подняться искать топор. Когда топор был найден, Николай залез в кузов и стал рубить деревянные борты. Вскоре мы грелись у пылающего костра.

Не могу описать, какое это было счастье — ощущать лицом, пальцами, коленями, одеждой живое тепло огня, следить, как осторожно занимаются сухие доски, как шипит, пузырится и чернеет зеленая масляная краска, как, горя и обугливаясь, доска становится похожей на черепаший панцирь и постепенно, звена, распадается на раскаленные части, как тлеющие угли покрываются серой бесплотной пленкой, как отодвигается все дальше по кругу неровно обгрязенный жаром снег.

Костер мы жгли экономно и ухитрились согреть кипяток. А когда я напился, показалось, что вокруг стало теплей, хотя я совсем не чувствовал ног и ступал, как на ходулях.

Незаметно пришла ночь. На безоблачное морозное небо вышла луна и неподвижно уставилась на неподвижную реку.

К полуночи все четыре борта были сожжены. Мы привчались за днище. Что будет, когда сгорит днище, неохота было думать.

Пригревшись, я задремал, и у меня загорелась пала пальто.

Мы ее быстро затушили, но это обстоятельство почему-то обеспокоило Николая.

— Как станет светать, — сказал он решительно, — пойдем к берегу. В тайге хоть теплей.

— А если машина?..

— Не дождаться нам никаких машин.

Наступило утро. Все, что могло гореть, мы сожгли. На месте костра лежала холодная куча пепла. Вместо машины стоял непривычный, уродливый скелет, тонко окантованный снегом.

Не признаваясь друг другу, мы упрямо надеялись, что на дороге появится какая-нибудь машина, и на берег не пошли.

Мы сидели в кабине, плотно прижавшись друг к другу, и смотрели, как над гольцами загорались медные зори. Блеклая луна все еще висела на студеном светлеющем небе.

Ветер совсем утих, и снежные заструги лежали вдоль дороги.

— А все же таки обидно, — сказал Николай.

— Обидно...

— Обидно, обидно... — передразнил он. — А чего обидно, не знаешь. Люди подумают: с целью я тебя заморозил, — вот что обидно. А больно ты мне нужен! Если я тебя с прижима не спихнул, на хрен ты мне сдался, чтобы тебя морозить. А ведь подумают... И Аришка подумает.

— Не подумает. Она любит тебя.

— Конечно. Ты все сквозь землю видишь! У нас тут в лесу девкам сумерничать скучно, вот она и ищет, кто бы ее пощупал. Ты слюни на нее разпустишь со своей любовью, а в итоге останешься в дураках. Сегодня ей по душе конфетка, завтра — соленый огурец.

— И тебе не совестно так говорить о женщинах?

— Почему о женщинах. И мужики, конечно, не лучше. Вообще человек — склизкое существо. Каждый только об себе думает, а до других ему нет никакого дела. Так было, так и будет... Сами шумят — коммунизм строим, а сами норовят хапнуть побольше, поскорей натаскать по потребности, в счет будущего коммунизма.

— Что ты городишь?..

— А чего. Я, по правде сказать, козу-ямануху глубже уважаю, чем человека. Против яманухи у него только и есть один плюс, что разума больше. А разум тоже еще неизвестно — плюс или минус. Главное не то, что разума много. Главное — куда его расходовать. Умные люди атомную энергию выдумали, а чтобы сахарный песок в леспромхоз забросить, на это у них разума не осталось. Вот тебе и разум. В душе глянешь — жадность, трусость и лжа. И уходит разум на потребу жадности, трусости и лжи. Чего косишься?..

Я был до того огорчен, что мне казалось, будто я брежу.

— Черный ты человек, Николай... — проговорил я.— Тебя послушаешь, скорей помереть охота.

— Все ведь стараешься, как лучше, — усмехнулся он.— При прежнем техноруке я вкалывал от души и без фальши — хочешь верь, хочешь не верь. Ничего мне не надо было. Что нужно рабочему человеку? Работа, хлеб да правда. А поставили этого Акима. Прибыл он к нам с ружьишком. Охотиться. Думал, ему тут на каждом шагу чернобурки станут дорогу перебегать. Потом видят: охота — дело не простое, голову надо иметь. Забросил свое ружьишко, стал руководить. Гляжу, мои дружки на зимнике стали больше моего выгонять. Тот же Эрик, к примеру, не слышит, где двоит, а больше моего получает. Конечно, я знал, как они туфят, но сам в эту заваруху не лез. И совесть была, и избаловался от прежнего почета. Хотел себе доказать, что и на честности можно полторы нормы наездить. Хоть тяжело было и не поспевал я за ними, а бывали дни — наезживал. А надломился с мелочи. Рубили у нас новый дом, и давно еще, при прежнем техноруке, мне была обещана комната. У нас с Аришкой канитель началась, и я на эту комнату надеялся. Надо где-то встречаться, а в общежитии неловко. Один приходит, другой уходит, третий на койке лежит — на гитаре играет. Ну вот, кончили дом, а мне не дали комнаты. Другим всем дали, а мне не дали. Я к Акиму. Он вежливый. Сядись, мол, к твоим услугам. Выслушал мою претензию и начал вопросы задавать: «Кому, по-твоему, комнаты в первую очередь? Тебе или передовым людям?» Он у нас говорун. Разозлился я. А унижаться перед ним не умею. Не то что не хочу, а не умею. Попробовал раз — обоим противно стало. И мне и ему... Начал кричать, как Эрик план выполняет, но притормозил вовремя. Разве можно ребят выдавать... И еще: чуял я сердцем, что Аким и без меня все знает, только виду не подает и меня старается в эту мельницу втравить. Ничего не поделаешь, обидно. Раз прихожу к Аришке — плачет. Переставили ее на дальнюю клетку. На дальние клетки новеньких ставят, а она три года работает... Это почему? Опять Аким на меня жмет. Чую, что так, а доказать не могу. Вот тут и сломался я.

совсем. Помни, первый раз загнал машину в сторону, накрутил на спидометре километры, лью наземь бензин, а у самого — хочешь верь, хочешь не верь — слезы из глаз до колен капают. Мне все одно, поскольку, видать, у нас с тобой последнее интервью...

— Врешь ты все!.. Врешь... Зачем это Акиму Севастьяновичу?

— А ты, я вижу, и правда, с луны свалился. Как это зачем? По-честному-то, попробуй, выгони план. Это тебе не статейки писать. Лес у нас длинномер, кубатурный. Надо шарики в черепке иметь, чтобы руководить заготовками. А у него шариков нету. Он ничего не понимает. Когда дерево валят, не знает, где встать. Встал против комля, ему зуб вышибло, теперь железный зуб носит. Вот какой наш Аким лесоруб. По-честному станет работать, сразу будет видно, какая ему цена. Сразу скинут. Вот он и извивается. И все кругом довольны. И почет ему идет. И премиальные, и прогрессивка... Толстую деньги скопит и свержнет в Россию. А про нас чего ему беспокоиться? Жареным запахнет — он первый поможет нас на свет вывести, да сам еще и заявление в суд напишет... Ты как думаешь, по какой причине он посадил меня на Витькину машину? Чтобы тебя до места доставить? Как бы не так! Он меня за баранку посадил, чтобы я тебя в пути каким-нибудь подходящим способом на нет свел. «Посажу, мол, Хромова. Он знает, что этот очкарик на него везет. Авось, он его там где-нибудь сковырнет или заморозит». Конечно, такой инструкции он мне не давал. Он про себя так думал и создавал обстановку. А мне велел: вези, мол, осторожно. Помни, кого везешь. Как следует вези... Три раза повторил да при людях, чтобы свидетели были. Если что случится, так он ни при чем. А я еще тогда, в кабинете, подумал: «Вот назло тебе, сука, довезу его до места. Пусть все, как есть, опишет! Что будет, то будет...» Обидно, что не довез. Ох, как обидно! Теперь этот туполом об себе еще больше понимать будет.

— Постой, постой... А как же директор?..

— Что директор! Директор старенький. Только печати ставит. А направляет Аким... Так что вот, друг, думай об себе сам. Другие об тебе не подумают. До сих пор я не представлял, что в наши дни, в нашей стране существуют люди, которые ни во что не верят, люди, проповедующие древние теории несовершенства человеческой природы и бессилия человеческого ума.

Теперь, когда мощью человеческого разума зри-мо преобразуется жизнь, когда наша Родина стала первой державой мира, когда мы уже не только верим, но и ощущаем коммунизм, как ощущают тепло утреннего солнца, откуда берутся такие люди? Неверующие. Ни во что не верующие: ни в любовь, ни в будущее, ни в самого себя.

И передо мной возникло лицо технорука, его холодные глаза, отодвинутые при улыбке уши, блестящий нержавеющий зуб во рту. Вот он, червь, который выгрызает душу Николая Хромова!

Вот о ком надо писать, писать обязательно, чтобы его можно было распознать и немедленно обезвредить. Какая досада: теперь, когда я это наконец понял, приходится сидеть и ждать превращения в со-сульку.

— А он-то сам в коммунизм верит? — спросил я. — Как думаешь?

— Пока выгодно, верит, — отвечал Николай.

Вдали послышался шум. Он становился слышней, отчетливей. Николай открыл кабинку. Высоко в небе на север летел самолет.

Шум стал замирать, а Николай все смотрел и смотрел в небо. Потом, когда совсем стихло, сел рядом и сказал:

— Все... Затворить дверцу у него не было сил.

Еще студентом я вывел для себя такое правило: журналист должен быть неутомимым и самостоятельный в сборе фактов и исследовании материала. Он обязан не только отобразить то, что увидит, но и верно, партийно определить свое отношение к увиденному, а затем силой пера навязать свое отношение читателю.

Пусть ты устал, пусть кончен срок командировки, пусть материалакажется вполне достаточно для очерка, — не удовлетворяйся верхним слоем познания действительности, копай глубже! «Изучай жизнь» — так было написано в моем дневничке. И еще было написано: «Спрашивай все, что можешь, говори со всеми, кого увидишь, езди всюду, куда можешь, смотри все, ни одну фразу не пиши приблизительно, об одном и том же спроси у десятерых, не гнушайся съездить за двести километров для проверки одного, самого мелкого факта...»

И теперь, замерзая в кабине грузовика, я мог только жалеть о том, что плохо следовал хорошим правилам. Вначале у меня был задуман очерк, в котором Николай выглядел героем, во втором варианте герой превратился в преступника, а сейчас нужно решить для себя: кто же этот оборотень по преимуществу — преступник или жертва? Видимо, не хватает у меня чего-то: житейской мудрости или высоты мышления... Читать надо было больше в свое время, больше заниматься марксизмом-ленинизмом.

Меня одолевали видения. То казалось, я дома, то в тайге, на охоте, то странно ярко в сознании вспыхивали пустые мелочи: Терентий Васильевич режет сточенным ножом строганину, окно, залепленное на зиму сентябрьскими газетами. Но чаще всего представлялась мне толпа в редакции московской газеты... Тут были мои друзья, начальники, главный редактор, секретарша Люда. Все они обступили меня и расспрашивали о чем-то, а я ничего не могу ответить. Хочу и не могу. Меня тормошат, настойчиво, с раздражением, кричат на меня, и мне приходится открывать глаза, хотя делать этого не хочется. Я знаю: если открою глаза, снова увижу белую, мертвую гладь реки, и больше ничего.

Но я все же разлепляю ресницы. Словно в тумане, движутся черные, расплывчатые фигуры людей на фоне бесцветного неба, стоит грузовая машина с работающим двигателем, рядом с машиной — запряженная в сани лошадь. Лошадь курчавая и вся в куржаке, как фарфоровая, а из саней почему-то идет дым. Расплывчатые люди ходят, толкаются, торопливо переговариваются, а один, высокий, сутулый, похожий на Максима Горького, повязанный по-ребячий шарфом поверх поднятого воротника, то и дело кашляет.

Он чаще других появляется в поле зрения и не-прерывно ругается.

Я равнодушно смотрю на него и не слушаю, потому что еще не могу сообразить, что ему нужно в московской редакции...

Потом я начинаю чувствовать ноги, чувствовать, что их с силой разминают и растирают. Я подымаю голову и вижу сидящего на корточках незнакомого расплывчатого парня. Парень подмигивает мне и подбадривает широкой улыбкой.

Мне трудно разглядеть его, и я каким-то не своим, тусклым голосом прошу очки.

— Очки! — кричит парень.

Я слышу, как кругом захлопотали, зашумели, закричали люди.

— Куда подевали очки?

— Надо глядеть, куда кладешь!

Очки нацепляют мне на нос. Я не вижу, кто, но знаю по кашлю — дяденька, похожий на Горького. Все это слишком реально для сна и бреда. И я уже отчетливо ощущаю, что лежу на подстилке, босой, и незнакомый парень с остервенением растирает снегом мои лодыжки.

— Проснулся? Ну, и ладно, раздается над моей головой хриплый голос. — На-ка вот, хлебни.

И сутулый мужчина протягивает алюминьевую флягу в брезентовом мешочке.

— Обожди, не так! — останавливает он меня и выхватывает флягу. — Губу припаяешь. Никакого соображения нет. Фляга-то железная! Вот как надо.

Открыв рот, он вливает в горло порядочную порцию спирта, не касаясь губами фляги, и, видно, не уверенными, что я достаточно усвоил урок, делает еще два глотка.

— Вот так, — говорит он. — Ну, чего же ты?! Снежком закуси! Вот люди! И выпить путем не могут!

Я повернул голову и увидел лежащего неподалеку Николая. Он был раздет до пояса, и грудь его растягивали снегом.

Возле Никслая стояла девушка и смотрела на него, как на покойника. Ни огромный, с чужого плеча, полушубок, ни громадные валенки, ни прожженные рукавицы не могли скрыть ее свежей, юной красоты.

— Верите, столько снегу намело, — говорила девушка, волнуясь и чуть не плача. — Никак лошадь не идет! На одном кнуте ехали!

— Я бы знал, что у них тут, вовсе бы не ехали... — хрипло говорит сутулый мужчина. — Таких дураков не спасать, а специально в холодильниках замораживать. Каким они местом думали...

— Ну да! — возмущенно возражала девушка. — Вас бы так... Тогда бы узнали...

— У меня и без того грипп, — сказал сутулый. — С температурой приехал... Пьюшь? — спросил он девушку с насмешкой.

— Нет, в валенки лью, — сказала она и с отвращением, чтобы только досадить сердитому дяденьке, выпила глоток.

— Эва на тебе какие громадные валенки, — сказал он примирительно.

И девушка сразу откликнулась на ласку и сказала, улыбнувшись:

— Отцовы в спешке надела. Сама поворачиваюсь, а они стоят...

Впоследствии я узнал, что произошло. Летчик заметил с самолета стоящую посреди реки машину без кузова и пятно костра возле нее. Как на грех, у него забарахлила рация, и с риском поломать шею он сел на дедовском аэродроме, чтобы дать знать о нас в населенный пункт. Мне известно, что у деда за телефон, но летчик все-таки дозвонился, дал примерные ориентиры нашей машины и полетел.

— Ох, — сказал я, — я же не знал, что это за машина.

— Ох, — сказал я, — я же не знал, что это за машина.

— Ох, — сказал я, — я же не знал, что это за машина.

— Ох, — сказал я, — я же не знал, что это за машина.

далше. Что это был за летчик, выяснить так и не удалось, а сам он не напоминал о себе.

Добраться до нас после пурги было сложно. Каким-то чудом пробилась к нам машина из дальней фабрики. Долговязый человек, похожий на Горького, был шофер этой машины. Он привез антифриз, горючее и кучу запасных частей. С ним приехало человек пять-шесть. Из колхоза, расположенного километрах в тридцати, на санях вместе с курносой девушки прибыли четыре человека. Они привезли горячий чай в термосе, жир для смазывания отмороженных конечностей и сторожевые тулузы... Трагательней всего было то, что всю дорогу девушка грела в бачке воды для заливки в радиатор. Работала она так старательно, что прожгла рукавицы.

Вскоре подъехала еще одна машина, с фанерным домиком в кузове и с печуркой. Из кабинки появилсяся Аким Севастьянович. Он решил прибыть на место происшествия лично. Он сразу начал руководить, внес порядок и успокоение в бестолковую деятельность множества людей. Все, даже сварливый гриппозный шофер, подчинились ему.

— Откуда машина? — спросил он деловито. — Из фабрики? Кто водитель? Ты водитель? Давай-ка нас лишних в машину — и к нам. Там вас накормят, на-пойт и спать уложат. Давайте в кузов — ты, ты и ты... А то вас самих оттирать придется. А ты останься, поедешь с нами.

Увидев технорука, Николай помрачнел, но Аким Севастьянович не дал ему вымолвить ни слова.

— Бывает, бывает... — заговорил си торопливо. — В наших местах чего не случается. Из кузова костер сложил? Молодец, не растерялся. Благодарность получиши. Руки-ноги целы — все в порядке. Дома от-лежишься.

— А я не поеду домой, — сказал Николай.

— Как не поедешь? — удивился Аким Севастьянович.

— А так и не поеду, — повторил он упрямо.

— Куда же ты поедешь?

— Его повезу. На станцию.

— Да ведь бак-то с дырой.

— Он возьмет бак на колени. На-попа поставит и будет держать. Зальем наполовину — доедем...

И тут я заметил, что Николай пьян.

А потом мы сидели в жарко наполненной фанерной клетушке и грели ноги в теплой воде. Машина готовилась ехать. Было слышно, как снаружи бегают люди, как усаживаются, как Аким Севастьянович выговаривает девушке:

— Вам когда был дан сигнал? Люди погибают, а вы что? Вы когда выехали? Чикаетесь?

— Да я сразу побегла запрягать... — чуть не плакала девушка. — Честное слово, сразу... У меня и ребенок остался некормленый, честное ленинское...

Наконец дверца кабинки хлопнула, и мы поехали.

— Ну, как теперь, — спросил меня Николай задумчиво, — будешь про наши дела писать?

— Если писать, так все. Всю правду. Все, что ты городил тут.

— А как думаешь, Аришка не засмеет?

— Если любит, то нет.

— Тогда пиши все как есть. Так мне, дураку, и надо.

— Ну, как теперь, — спросил меня Николай задумчиво, — будешь про наши дела писать?

— Если писать, так все. Всю правду. Все, что ты городил тут.

— А как думаешь, Аришка не засмеет?

— Если любит, то нет.

— Тогда пиши все как есть. Так мне, дураку, и надо.

# НИКОГДА БЕЗ ЛЮБВИ

У лица подымается в гору. Вдоль нее, будто в трубу, дует ветер. И когда я стараюсь взглянуть в мглистую даль, мое лицо больно сечет сухой снег. На той стороне, у почтового отделения, тускло светится желтый диск часов, похожий на луну. Стрелок не вижу. Наверное, они приближаются к восьми. В восемь я должен стоять у своего станка. Вместо этого я все еще торчу тут, на остановке, и жду двести третий автобус.

Впереди меня мужчина в высокой каракулевой шапке и с поднятым воротником. Он спрашивает:

— Не идет?

— Нет.

Через минуту снова:

— Не идет?

Мне надоедают его вопросы: боится нос высунуть, а я крутись, как флюгер! Я перестаю отвечать. Могу же не рассыпать за ветром его вопросов!

Есть в Москве, я знаю, человеческие маршруты: ни расстройств тебе, ни волнений. А тут, на двести третьем, какие-то развалихи. Если бы не они, зачем бы мне каждое утро унижаться, тайком пробираться к своему станку. Проходил бы хозяином на виду у мастера. А сегодня этот очкастый сом, как всегда, опять станет за спиной, едва успею взять в руки резец, уставится в затылок своими пронзительными глазами — хочешь не хочешь, а показывай ему лицо и давай объяснения. И все это из-за нашего проклятого маршрута. Не маршрут, а сплошное несчастье!

Ну вот, наконец-то!

Работая локтями, я всаживаю себя в автобус. Кто-

Сестренка недовольна

вает мое увлечение цирком

— Это, конечно, бессознательно

— Но вы же не можете

— Катастрофически забываю

— Папа отложил на

— Тогда я буду

— А я буду

— И я буду

**Е**ще издали я вижу фигуру мастера Семена Иосифовича. Он оглядывает участок поверх очков, прижав культи левой руки какую-то папку. Пустой рукав синего сатинового халата сунут в карман. Кепочка надвинута на лоб. Он явно рассержен. В такое время лучше не попадаться ему на глаза, и я направляюсь к своему рабочему месту по узкому проходу между стеной и станками. При моем небольшом росте вполне возможно, что он меня не заметит.

Сменщик оставил заготовки, работа была вчерашняя, нехитрая, и я скоро включаю станок. Успокаиваюсь: пронесло! Что ни говори, мало приятного слушать, как ругается мастер и машет перед носом культи. Я жду, когда мой сосед Костя Мармеладов взглянет в мою сторону. Вот он смотрит на меня. Я подмигиваю: мол, все в порядке, мастер, кажется, не заметил. Но Костя не отвечает, даже не грозит кулаком, не ругается. Он смотрит своими выпуклыми глазами так, будто за моим станком никого нет. Меня это страшно обижает, и я думаю про себя: «Ну погоди, я еще дерзко брошу тебе в лицо...» Как это там у Лермонтова написано? Но я не могу вспомнить ни слова.

Да, в Костино лицо можно не промахнуться: вон оно какое широкое! И цвет его какой-то странный — желтовато-коричневый. Ростом Костя намного выше меня, рукастый. При сладкой его фамилии характер у него препротивный. От Кости можно всего ожидать.

Я стою у станка, вижу, как резец снимает тонкую стружку, и она, извиваясь, падает на пол, вижу, как обычно льется мутная эмульсия, и думаю о том, что отвечу мастеру, если он подойдет. Мне не раз кажется, что он стоит за моей спиной, и я чувствую его взгляд на своем затылке. Медленно оборачиваюсь... Мастера нет. Потом я оборачиваюсь уже быстрее, но его все нет. Он мотается в дальнем конце участка и не подходит ко мне. Меня это озадачивает: что такое? Почему он не хочет прорабатывать меня? Может, ему некогда? Нет, я вижу, что мастер без дела сидит за своей стойкой, как мы зовем его высокий стол, но не подходит ко мне. Это совсем расстраивает меня: уж лучше бы поругаться, как всегда, чем следить за ним всю смену.

В обед я пытаюсь заговорить с ребятами, но они отвечают нехотя, что-то скрывают от меня. Садимся «забить козла». Как-то получается так, что меня, главного «забойщика», оттесняют. Я раньше срока ухожу к станку и начинаю работать. Порчу деталь и еще больше злюсь.

В конце смены Костя Мармеладов подходит ко мне. Говорит:

— Останься. Собрание сегодня...

— Какое еще собрание? Меня прорабатывать? У меня сегодня кружок кройки и шитья...

— Ладно, не паясничай. Здесь не цирк...

— Что ты имел в виду? — распаляюсь я. Он заставляет мое большое место. Цирк — моя мечта. В цирке особенно мне нравятсядрессированные лошади. Они до удивления умные, не то что у тетки Анны в колхозе, куда я каждый год ездил на школьные каникулы. В цирке мне позволяют стоять у выхода на арену, свертывать ковры. А однажды я подал шляпу знаменитой наезднице. Ребята смеются над этим моим увлечением. Ну и пусть.

Я говорю Косте строго:

— Оставь цирк в покое и не упоминай о нем! Понял?

— А дальше?

— Все! Ты разве можешь понять, что такое цирк? Ты даже танцевать не умеешь...

— Ну и что? Я принципиально не хочу.

— Не хочу! Да ты не можешь научиться. А в цирке даже лошади танцуют...

— Вот и танцуй разные лошадиные рок-н-роллы.

— И буду. Тебе-то что, сибирская язва?

— И танцуй, трахома.

Между прочим, он уже не раз ругал меня этим словом. Оно не казалось обидным. Но сегодня это самое неприятное из всех слов, какими меня когда-либо обзывают. Почему никому другому Костя не приклеивает это слово?

Ничто не радует меня сегодня. Даже окончания работы я жду без обычного чувства облегчения. Собрание, проработка... Все будут сидеть такие умные, все понимающие. Я для них — сплошной пережиток. Но никто не подумает, почему я опаздываю. Этот проклятый двести третий маршрут!

— Ты только не вздумай ударять! — предупреждает меня Мармеладов. — Разговор будет на полном серьезе.

— Подумаешь, испугали!..

Хотя я и храбрюсь, но сердце мое все-таки дрожит от предчувствия неприятного. Неужто уволят? Нет, не должны уволить.

...С собрания бригады я иду озадаченный. Меня вовсе не прорабатывали. Иван Чарушин, который вот уже три года в профгруппах ходит, зачитал письмо от соседней бригады токарей. Читает он, точно пулемет строчит. Семен Иосифович, мастер, осстанавливает его:

— Погоди, не части, читай членораздельно...

Иван читает медленнее.

Нас вызывают на соревнование... Чтобы мы назывались бригадой коммунистического труда. Иван долго объясняет, что это такое. Он говорит так старательно, что пот выступает на его лбу. Заканчивает, вытирает лоб рукавом и вопросительноглядит на нас. Все молчат. Я жду, что вот встанет мастер и начнет говорить обо мне. Но мастер говорит убежденно:

— Не созрели. Рано... — И культи его взлетают и прижимаются к боку, как бы ставя точку.

Иван ему возражает:

— Не все же у нас плохие.

— Кто говорит, что все? — сердится мастер. — Но есть такие, которые тянут назад. Попробуй с ними!

— Исправляться. В людей надо верить. Конечно, если человеку все время говорить, что он свинья, он захрюкает.

Чарушин снова старательно начинает говорить, лоб его опять делается потным. Однако Иван не обращает на это внимания. И вот уже ручейки пот текут по его смуглым щекам и падают на синюю спецовку с распухшими от бумаг нагрудными карманами. Он все-таки убеждает мастера, и его поддерживают все. Молчу только я.

— Ну, теперь понял? — спрашивает меня Костя. — Теперь мы соревнуемся. Имей в виду.

Я пожимаю плечами. Не очень-то понимаю, в чем мы соревнуемся. Я думаю о том, почему меня не прорабатывают... Для меня это загадка. Думаю о ней даже на остановке, в ожидании своего двести третьего. Усаживаюсь, как всегда, на заднее место, после выхода, чтобы потом выскользнуть незаметно. В автобусе малолюдно. Кондукторша идет ко мне. Я гляжу на нее и вспоминаю девушку в малиновом берете, вспоминаю озабоченно-внимательный взгляд ее больших серых глаз. Я уже не сердусь на нее за то, что она назвала меня мальчиком.

— Надя, не трогай цирк! — сердусь я.

Никакой трахомы, конечно, у меня нет. Просто я не знаю, что это такое и почему Костя обзывают меня так.

— Не знаешь таких простых вещей? — удивляет-ся Надя.— Возьми почитай, мне некогда тебе объяснять.— И она сует мне в руки учебник.

Сестренка на год старше меня. Она работает в больнице санитаркой и учится на медицинскую сестру. С тех пор, как она поступила на учебу, дома мне нельзя ни чихнуть, ни пожаловаться на какую-нибудь боль. Сразу же пускаются в ход учебники, и на мою голову сыплются устрашающие названия болезней. Каких только болезней у меня не было за один этот год! Сестренку я люблю и прощаю ей все это. Мы без отца (он погиб в самом конце войны) привыкли жить дружно, и ничто нас не ссорит. С тех пор, как год назад умерла мама и из родных у нас осталась одна тётушка Анна, живущая на Тамбовщине, мы с сестренкой еще больше держимся друг друга.

— Нет, постой,— озабоченно говорит Надя.— Я сейчас посмотрю твои глаза.

— Оставь, пожалуйста! Никакой трахомы у меня нет.

Но на этот раз даже магическое слово «пожалуйста» не имеет действия. Сестренка начинает выворачивать мне веки, и я должен сидеть спокойно, обливаясь слезами.

Трахома у меня, конечно, не обнаружена, хотя веки «подозрительно воспалены», как заявляет мой домашний мучитель.

— Понимаешь ли ты, если появятся фолликулы...

— Фолликулы?

— Да. То у тебя вывернутся веки, может пострадать роговица, и появится бельмо. Ослепнуть же можно! В больницу завтра пойдем,— твердо гово-рит Надя.

Я раскаиваюсь, что полез к ней с расспросами.

— Да понимаешь ли ты,— не унимается она,— что трахома раздражает глаз и человеку все вокруг становится немилым? Понимаешь? Солнечный день и тот для него сплошная серость.

— Ну, ладно. Я все понял.

— Вот и хорошо.

Сестренка успокаивается.

Да, теперь у меня есть представление о трахоме. Но почему Костя только меня ругает этим противным словом?

Мне скучно дома. Сестренка до полуночи будет сидеть над своими учебниками. Она ужасная копуха. Я никогда не учил так уроки, как она: зажмурит глаза и щелчком что-то насыт каких-то позвонков. Очень нужны ей эти позвонки! Но раз завтра будут о них спрашивать, то она убьется, но вызубрит каждый позвонок.

Я готовлю себе ужин. Колбаса с картошкой, залитые яйцом,— в кулинарных делах моя фантазия не поднималась выше этого блюда. Получается все очень вкусно. Я зачищаю сковородку, мою кипятком и вешаю на гвоздь.

— Ну, пошел,— говорю я, надевая свою пеструю кофту, которой так горжусь.

— В цирк?

— Да...

Сестренка недовольно хмыкает. Она недолюбливает мое увлечение цирком. Я знаю, что делает она это, конечно, бессознательно. Просто усвоила такую манеру от мамы, и все. Маме тоже не нравилось, что я подолгу пропадал в цирке.

— Только не буди меня, когда вернешься,— напутствует Надя.— У меня завтра экзамен...

— Ладно, можешь не беспокоиться.

Мне еще хочется пожалеть сестренку, уж очень она боится экзаменов, но чувства мои сегодня в расстроенном состоянии, и я ничего больше не говорю.

Я и сам не знаю, почему меня тянет в цирк, особенно на конюшню. Может, потому, что лошади приветливо трутся головой о мою грудь, когда я трогаю рукой их влажные ноздри. Я горжусь, когда мне разрешают выводить их на арену. Да, меня тянет в цирк. Тянет, может быть, еще и потому, что там я скрываюсь от проработок. А прорабатывают меня всю жизнь. В школе чуть ли не каждый день прорабатывали... За что? Да мало ли за что! В автобусе кондукторши прорабатывают. Дома — сестренка... На «аводзе»... От меня, кажется, уже отстали: неисправимый, думают... А в цирке никто и никогда меня не ругает. Там всегда встречают приветливо. «Здорово, Витья!» — обычно кричат мне знакомые ребята, когда я прихожу на конюшню. «А, Витольд!» — басом говорит старый дрессировщик лошадей и лезет в карман, очевидно, за сахаром. Но потом смущенно улыбается и протягивает мне руку. «Виктор, адъё!» — кричит маленькая веселая наездница, и, уносясь на арену, машет мне рукой. Даже лошади довольно кивают головами, заслушав мой голос.

Да, я готов остаться в цирке на всю жизнь. Мне там приятно все, даже резкий запах конюшни. Но умерла мама. Пенсии за отца нам с сестренкой не хватает. Надо зарабатывать. Я ухожу из восьмого класса школы, и меня устраивают на завод, где раньше работал отец. Прости-прощай, цирк!..

...Итак, я еду в цирк. В автобусе я проталкиваюсь вперед, прислоняясь спиной к стенке. Стою, и мне ничего не остается делать, как разглядывать лица пассажиров. Это всегда интересно: не заметишь, как доедешь до своей остановки, да и мысль о том, что надо платить за проезд, тревожит не так, как если бы ты думал только об этом.

Вот старушка с большим носом сердито поджала запавшие губы. Рядом женщина в сером пальто с серебристым воротником. Лоб у женщины бледный, виски даже желтоваты, но щеки алеют. Подкрашены. Девушка в зеленой шляпке читает книжку и улыбается. У мужчины, что позади, лицо вялое, сонно глядят в чью-то спину бессмыслицкие глаза. Пьян... Два парня-китаицы, оба в синем, о чем-то тихо переговариваются. Я встретился глазами с кондукторшей. Взгляд у нее усталый, видно, за день ей все надоели, и она даже не хочет ссориться со мной из-за билета. «Та, в малиновом берете, не так глядела,— вспоминаю я.— Та сочувственно глядела».

Я подаю кондукторше деньги — на всякий случай в моем кармане всегда есть несколько монет по пятнадцать копеек.

...В цирке все знакомо, все свое. Лошади трутся головами о мою грудь, выпрашивая лакомства. Маленькая наездница, как всегда, машет мне рукой: «Виктор, адъё!» — и, возбужденная, скрывается за тяжелыми портьерами. Мне долго слышится грохот копыт ее упитанного коня.

— О, рабочий класс! — басит дрессировщик лошадей вместо приветствия.— Как дела?

— Хорошо. Точим детали для нового спутника...

Я, конечно, вру. Я точу обыкновенные болты для станков. Но кто-то изготавливает детали для спутников на станках, которые мы делаем. Почему я не могу сказать, что и мы изготавливаем спутники?

— Да? — И густые брови дрессировщика удивленно вскидываются.— А у нас тут все по-прежнему: пошадьми развлекаем людей.

В его голосе я улавливаю странные нотки. Он, кажется, завидует мне.

## IV

**— А** авно бы так! — обрадованно говорит тетя Зина и глядит на часы. Они показывают без пятнадцати восемь.— А то без опоздания ты еще, кажется, ни разу не приходил.

— Ладно, тетя Зина, не будем ссориться...

Мне неловко, что я так рано пришел в цех, тетя Зина не закончила еще уборку. В цехе лишь кое-где виднеются одинокие фигуры людей. Визжит наездак. Звук чужд, неприятен. Потом и он замолкает. Цех, как бы насторожившись, ждет кого-то. Он ждет людей. Я включаю станок и не слышу больше тишины. Скоро ко мне подходит мастер. Здороваются. Говорит:

— Новую деталь будешь точить.  
— Ладно...

Иван Чарушин хлопает меня ладонью по спине. Он, видно, хочет этим показать свое расположение. Костя Мармеладов, как всегда, кричит, будто в упор стреляет:

— Что, автобус перестал опаздывать?  
Язва!

Не выскажу, как тяжел для меня этот день. Мне стыдно. Я обманываю ребят. Они думают, что это после вчерашнего собрания я вдруг исправился и не опоздал на работу. Я просто убежал от сестренки, которая хотела закатать меня в больницу с моей трахомой. Ушел из дома, когда она еще спала. Вечером, я знаю, она будет плакать и причитать, что я не даю ей выполнять последний наказ мамы. А мама наказывала заботиться обо мне. Она ведь до последнего дня думала, что я маленький.

В обеденный перерыв в цехе выступают артисты. Больше всего мне нравится выступление певички, исполняющей знакомые песенки из кинофильмов. Певичка так проходит на девушки-кондуктора, что у меня даже сердце падает от неожиданной встречи. У нее такие же пышные волосы, такие же внимательные, большие глаза. И мне кажется, что, исполнив песенки, она смотрит только на меня. Она мне поет свои песенки! С гордым сознанием этого я ухожу к своему станку. Но каково мое разочарование, когда Мармеладов мне говорит:

— Вить, а чего эта певичка все на меня смотрела?

— У тебя болезнь, — говорю я тоном моей сестренки.— Она называется манией величия. Никто не удивится, если ты напишешь директору заявление, чтобы при жизни тебе памятник поставили.

Мармеладов сопит, хватает длинными ручищами заготовку, и я готов броситься под станок, уверенный, что он пустит ее в ход. Костя, однако, закрепляет заготовку в станке и только тогда грозит мне громадным кулаком.

В этот день мы с ним скоро миримся. Иван Чарушин приглашает нас на свой день рождения. И как только Костя заканчивает свою смену—а работает он больше меня, потому что считается взрослым,—мы отправляемся покупать подарки. Долго торним в магазине «Подарки» на улице Горького. Многие вещи нам нравятся. Не раз мы отходим к окну и под-

считываем свои ресурсы. И всякий раз Костя говорит:

— Вещь, конечно, красивая, но непрактичная. Я соглашаюсь, потому что у нас просто-напросто не хватает денег. Потом Костя сердито говорит:

— Музей!

И мы уходим из магазина «Подарки». В универсмаге выбираем голубую рубашку и галстук. Рубашка нам очень нравится. Мне особенно нравится то, как аккуратно она упакована в целлофановом мешке. Просто жалко, когда продавец вынимает рубашку из мешка, показывая ее нам. У кассы снова происходит заминка. Но выручает мелочь, оказавшаяся у меня в кармане.

Мы не ожидали, что наш подарок так растрогает Ивана. Наоборот, мы думали, что он обидит его. Основания для таких сомнений были. Чарушин — первоклассный токарь, зарабатывает хорошо, всего у него вдоволь, зачем ему эта рубашка? Нашему удивлению нет конца, когда мы видим, как Иван несет рубаху на кухню показывать жене, повторяя:

— Экие молодцы, обрадовали-то как!

Жена, взглянув на рубашку и галстук, говорит:

— И вкус у ребят есть. Ты всегда неудачно покупаешь галстуки.

Мы сидим, гордые своим подарком. Немножко выпиваем. У Ивана больная печень, и пьет он мало. Мастер Семен Иосифович всякий раз, как мы подносим рюмки ко рту, такглядит на нас, словно мы собираемся глотать огонь, и охота выпить у нас проходит. Все-таки мы, укрывшись на кухне, вытягиваем бутылку «Российского» и здорово веселеем. Танцуем под радиолу. Я дурашливо разыгрываю цирковых артистов и смешу всех. Меня смущает лишь моя пестрая кофта, на которую хозяйка смотрит с явным подозрением. Да и мне самому она кажется здесь неуместной. Другое дело, когда я в цирке... Мастер тоже не любит мою кофту, это я давно знаю. Когда я подхожу к нему, его кулья протестующе вздрагивает, точно чувствительный прибор.

Мы уходим поздно. Над городом висит луна, зеленоватая, как газонаполненные лампы, которые недавно укрепили на высоких мачтах Ленинского проспекта. Мы идем по улице необытной ширины, мимо новых розовых домов и говорим о том, что Иван Чарушин, в сущности, человек очень хороший и зря мы зовем его Проработкиным. Мы сегодня такие мягкие, что все люди кажутся нам хорошими, и хочется прощать обиды, которые когда-либо нам были нанесены.

Ребята разбредаются поодиночке, мы остаемся вдвоем с Костей Мармеладовым. В своем коротком полуупальто он кажется еще выше и шире в плечах, чем всегда.

— Слушай, Виктор, — говорит он, — давай будем дружить. На кой черт нам вечно ссориться?

— А верно, — соглашаюсь я. — На кой черт нам ссориться!

— Вот и хорошо. Мы будем вместе на каток ходить.

— Будем. И в цирк я тебя свожу. И танцевать научу.

Я думаю, Костя, как всегда, фыркнет при упоминании цирка и танцев, но он лишь дергает плечом и говорит:

— Пожалуй, и танцевать научиться не худо. Ты прав.

— Верно, не худо научиться танцевать...

Я думаю, Костя, разыгрывает меня и теперь начнет смеяться. Но он серьезен.

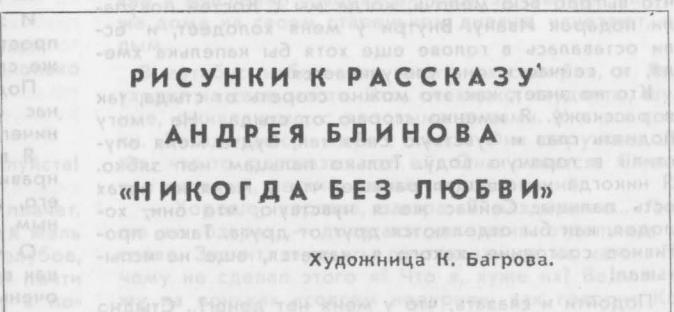
— Вот твой двести третий, — говорит он, еще издали увидев автобус. — Садись!



«В восемь я должен стоять у своего станка. Вместо этого я все еще торчу у остановки» (стр. 31).



«...Вижу на месте кондуктора копну светлых с рыжинкой волос, на которых чудом держится... берет...» (стр. 31).



«Иван Чарушин учит меня, дает разные приспособления...» (стр. 37).

— Пока! — кричу я и машу ему рукой.

Едва успевая убрать руку, как дверь автобуса с треском захлопывается. Костя остается стоять на снегу с поднятой рукой. Я, пошатываясь на колеблющемся полу автобуса, иду вперед. Наверно, люди думают, что я пьян. Вовсе я не пьяный. В голове ясно, даже яснее, чем всегда. Просто меня охватывает непонятная грусть. Я сижу и вспоминаю Костю. Он стоит перед глазами с поднятой рукой, и две большие тени лежат позади него. Хороший он парень, Костя... И далекими-далекими кажутся мне дни, когда мы скорились с ним и он обзвал меня трахомой.

— Товарищи, кто не имеет билетов? — откуда-то издалека доходит до меня голос.

Я сразу узнаю его. Так говорит кондукторша с пышными, с рыжинкой волосами. Только она. Кажется, что слова, которые она произносит, немножко задерживаются на кончике ее языка, а потом слетают, такие кругленькие, аккуратненькие. Я оглядываюсь: да, это она. Сегодня она не в малиновом берете, а в шерстяном сером платке. Волосы блестят из-под него, а лицо кажется еще нежнее. Я не свожу с нее глаз. Она быстро и весело делает свое дело. Маленькие озябшие руки ловко, одним движением отрывают билеты. Пассажиры охотно с ней заговаривают. Она отвечает быстро и весело, сама о чем-то спрашивает, улыбается. Кажется, все эти люди давно ей знакомы. Она здорово отличается от многих кондукторов нашего двести третьего маршрута, раздражительных и грубых. Я-то их уж знаю!

Девушка глядит на меня, и я вспоминаю, что не платил за проезд. Я шарю по карманам, но там не находится даже завалывшегося пятака. Я вспоминаю, что выгреб всю мелочь, когда мы с Костей покупали подарок Ивану. Внутри у меня холодаеет, и если оставалась в голове еще хотя бы капелька хмеля, то сейчас и она улетучивается.

Кто не знает, как это можно скрять от стыда, так я расскажу. Я именно сгораю от стыда. Не могу поднять глаз и чувствую себя так, будто меня опустили в горячую воду. Только пальцам ног зябко. Я никогда не ощущал раньше, что у меня на ногах есть пальцы. Сейчас же я чувствую, что они, холодае, как бы отделяются друг от друга. Такое противное состояние, какого я, кажется, еще не испытывал!

Подойти и сказать, что у меня нет денег?.. Стыдно признаться в этом. Выйти из автобуса и отправиться домой пешком? Пройду часа два, сестренка умрет от страха за меня. И я сижу, где в силах сдвинуться с места. Сижу на самом виду, как на скамье подсудимых.

Хорошо, что в кинотеатре «Ударник» только что окончился сеанс и в автобус набивается много народа.

**E**е зовут Лилией.

Я узнаю об этом у кондуктора автобуса, в котором еду на работу.

— Зачем она тебе? — спрашивает кондуктор, по-жилая женщина, добрая характером и еще не раздраженная работой. Иначе вряд ли она ответила бы на мой вопрос.

— Да так... Я должен ей.

И краснею.

— Постой... Ее машина, кажется, сорок девять восемнадцать. Ее зовут...

Фамилию ее я и раньше знал — Буданова.

Я повторяю ее имя, точно боюсь забыть. Но я уже знаю, что никогда его не забуду.

Каждый день ищу автобус сорок девять восемнадцать. Мерзну на остановках, встречая и провожая глазами автобусы, все как один яйцеобразные, окрашенные в красное и желтое, с побелевшими от густого инея стеклами. Стекла кое-где темнеют пятнами: это пассажиры растапливают своим дыханием иней и лед, чтобы увидеть нужную остановку. Я, когда был маленьким, тоже увлекался этим.

Однажды утром я раньше обычного ухожу из дома. Сажусь в автобус, но через остановку выхожу. Мне почему-то кажется, что следующий будет Лилин. Но в следующем еду тоже только одну остановку, потому что Лили нет. Третьего нет так долго, что я начинаю волноваться: опоздаю! Наконец автобус подходит. На месте кондуктора сидит та женщина, у которой я спрашивал о Лиле. Она узнает меня, кивает, будто давнишнему знакомому.

— Не нашел?

— Не нашел.

— Ищи. Долг полагается отдавать.

— Ясно, полагается. Да где ее найдешь? Автобусы у вас все одинаковые.

— Лили новый получает. Такой красивый!

На работу я опаздываю. Правда, Костя Мармеладов только что закрепил заготовку и еще не включил мотор. Но глядит он на меня волком.

— Опять автобус?

— Автобус.

— Непонятный ты человек, Витя. Вроде парень ничего, а серьезности никакой.

— Это верно, серьезности никакой.

— Иди ты к черту! — ревет он.

И зачем обижается? Я вовсе не дразню его. Мне просто нечего сказать, разве только повторить его же слова.

Подходит мастер Семен Иосифович, стоит возле нас с плотно прижатой к боку кулькой. Исчезает, ничего не сказав.

Я включаю станок. Он гудит ровно и мягко. Мне нравится, когда гудит мой станок. Если я выключу его, то шум цеха сделается куда менее наполненным. Про себя я горжусь этим.

О многом я думаю в эту смену. Я думаю о том, как встречусь с Лилей, что скажу ей. Все получается очень просто. Она сразу узнает меня, и я говорю, что знаю, как ее звать, и покупаю два билета. «Почему два?» — спрашивает она. «Я в прошлый раз без билета прокатился. Помнишь?» «Нет, не помню», — светит она, а я по глазам увижу, что она помнит. «Пойдем сегодня в цирк?» «Да что ты, я ведь работаю!» «А завтра?» «Завтра пойдем...» И я жду завтрашнего дня. Мы встречаемся. Идем не в цирк, а на танцы в наш заводской клуб. Меня спрашивают, кто это. Я отвечаю гордо: «Знакомая». Ребята мне завидуют.

«Ах, черт, нужно купить костюм! Лилия засмеет меня за пеструю кофту и голубые брюки-макаронины», — думаю я. — Займу деньги у Ивана Чарушина. Заработаю — отдам.

Через несколько дней Иван дает мне денег, и мы втроем — он, я и Костя Мармеладов — идем в магазин, чтобы выбрать костюм. Долго спорим, какой цвет лучше. Мне нравится цвет какао, Косте — синий. Иван Чарушин молча глядит на нас, роняет скучо:

— Непрактично...

Я молчу, поникший: на приемы, что ли, мне в черном-то ходить?

— А ну его! Пусть носит, что ему нравится, — говорит Костя, видя, как я скис от одного вида черно-

го, скучного костюма.—Только твои лошади так его обслиняют, что не узнаешь в первый же день.

Чудак этот Костя: да разве я пойду в цирк в таком костюме? Меня там и в кофте хорошо встречают.

Сестренка приходит в ужас, увидев мою покупку.

— Где ты взял деньги? — спрашивает она строго.

— Заянл.

— Смотри! Ты начнешь еще воровать...

— Ну, Надя, зачем ты так говоришь? Неужели не веришь своему единственному, горячо любимому брату?

Она смотрит на меня, и в глазах ее я не вижу больше ужаса.

— Ты всегда такой,— говорит она, все еще немножко сердясь.— Не посоветуешься.

— Это так неожиданно случилось. Зашли — купили.

— Столько, наверно, стоит!..

— И вовсе недорого. До весны рассчитаюсь. И тебе платье куплю.

— И не выдумывай!

— Куплю! Все равно куплю!

— Ладно. Только имей в виду — нужно на размер больше. Я к тому времени вырасту.

— Учту.

С этого дня сестренка относится ко мне с еще большей заботливостью. Каждый день она докучает вопросами: не болен ли я, почему скучен, почему подолгу не сплю?

— Нет, ты, Витька, не спорь. Я давно вижу, что ты нездоров. Ты стал какой-то не такой, как раньше.

— Надя, я здоров. Ну, право же! Я на коньках каждый день бегаю в ЦПКиО имени Алексея Максимовича Горького.

— Значит, тебя долги мучают.

— Не мучают. За костюм я почти рассчитался.

— Но ты приносишь домой столько же, сколько раньше!

— Я же больше теперь зарабатываю.

— А трахома?

— Надя! — кричу я.— Оставь меня, пожалуйста! Ну, почему ты такая нудная?

Надя обижается. Уходит на кухню и там плачет. Я вижу ее покрасневшие глаза. Мне становится жаль ее. На другой день я покупаю ей платье — голубое, с такими красивыми волнами. Ничего, что почти вся премия, которую мне выдали за работу в по-следнем месяце, уходит на платье. Я даже рад этому. Куда мне девать сразу столько денег?

Сестренка ужасно рада платью. Такого дорогого у нее еще не было. Но как ни радуется Надя, она все-таки не забывает, что в доме она старшая. Поэтому мне приходится объяснять, откуда у меня появилась такая сумма денег.

Да, на работе дела у меня идут неплохо. Мне нравится, что меня никто теперь не прорабатывает. Мастер Семен Иосифович поручает точить такие детали, которые раньше доверял только Ивану Чарушину. А Иван Чарушин учит меня, дает разные приспособления, с которыми работать — одна прелесть.

Однажды я слушаю заводские известия и не верю своим ушам: рассказывают обо мне, о том, что я когда-то был отстающим, а теперь перевоспитался и стал передовиком. Диктор перечислил проценты, какие стояли против моей фамилии на большой доске в цехе. Мне приятно. Недоволен я только словом «перевоспитался». Никто меня не перевоспитывал, и сам я не перевоспитывался. Перевоспитались Костя, Иван Чарушин, мастер и все другие, кто по-иному стал относиться ко мне. Как ко мне, так и я к ним.

Но Костя замечает, когда я высказываю ему свое неудовольствие:

— Цирк, видно, в самом деле попортил тебя. Вниз головой ходишь.

— Выражайся яснее.

— Куда еще яснее-то? По-твоему, все были плохи, ты один хороший? Так выходит?

Да, что-то у меня тут не получается. Но я не пытаюсь выяснить, что именно. Голова забита другим. Я думаю о том, как встречу Лилю. Сегодня ее смена. Я буду ждать ее новый автобус, пусть для этого потребуется вся ночь. Ее новый автобус мне нравится. Окрашенный в голубое с серым, он красив. Формы его радуют глаз, и я готов без конца любоваться им.

...Наконец он подходит. Мягко открывается дверь, и я прыгаю на ступеньку. Мягкий вечерний свет падает через верхние окна, чуть припорошенные снегом. Лили нет на своем месте. Она стоит впереди, опираясь спиной о металлическую стойку.

— Здравствуйте,— говорю я, подходя, и чувствую, что краснею.

— Здравствуйте, если не шутите,— отвечает она, улыбаясь.

— Два билета.

— Пожалуйста.

Она отрывает мне два билета и сдает с рубля. Ее рука касается моей руки. Пальцы теплые. Она только что грела их в рукавах своей куртки. Я сажусь. Думаю, огорченный: откуда узнает Лиля, что второй билет я купил за прошлый раз? Она, наверно, думает, что нас двое. Я хочу заговорить с ней, но в голове нет ни одного слова. Пустота! Все слова, какие я мысленно говорил ей, стоя за стакном или лежа дома на своем стареньком диване, исчезают, как дым.

В автобус набивается много пассажиров, и Лиля уходит на свое место. Это, очевидно, студенты, шумные, оживленные, с розовыми лицами. У иных коньки. Догадываюсь: едут с катка. Они окружают Лилю, что-то рассказывают ей. Она смеется. Смех у нее веселый, легкий, какой-то порхающий.

— Хорошо, хорошо, завтра. В раздевалке... Люблю на озерах... — долетают до меня отдельные ее слова. Значит, студенты пригласили ее на каток. Почему не сделал этого я? Что я, хуже их? Ведь я хожу на коньках «совсем недурно», как говорит Костя Мармеладов.

С этой минуты я ненавижу этих веселых, нахальных парней. Да, нахальных. Иначе они не лезли бы к девушке с разными предложениями, увидев ее в первый раз.

Студенты выходят у Манежа. Они, будто по команде, выстраиваются на тротуаре, закинув за спину коньки, и что-то поют. Лиля смеется и машет им рукой. Мне кажется, что автобус стоит тут слишком долго.

## VI

— **K**остя, ты идешь на каток? Мармеладов смотрит на меня отсутствующим взглядом, лохматит и без того лохматые черные волосы.

— Не могу. У меня зарез.

— Деталь запорол?

— Хуже. Тут запорешь — из заработка вычтут, и все. Экзамены в техникуме. Там запорешь — ничем не откупишься. Черт знает, какая трудная штука! Голова — чугун!

— Может, я тебе помогу? Я ведь недавно все это проходил.

— А верно! Ты, Витя, настоящий друг. Будем сидеть над алгеброй.

— Сегодня?

— Сегодня, и завтра, и послезавтра.

— Хорошо,— уныло говорю я.

— Ничего, Витя, лед еще не растает. Вот сдам экзамены — и привет! Тогда-то мы ринемся на каток и покажем, почем сотня гребешков. Я научу тебяходить на настоящих норвегах. Это тебе не какие-то сопливые гаги. Усвоил?

— Усвоил.

— Ну и не кисни.

— Ладно.

А Лиля будет кататься с теми студентами... Будет смеяться своим порхающим смехом.

Гудят станки. Вьется стружка. Льется струйкой эмульсия. В окно глядит по-весеннему яркое солнце и дробится на моем станке.

Лиля, наверно, катается со студентами...

Вечером мы сидим у Кости, и я объясняю ему алгебру. Он позабыл ее начисто, и мне приятно объяснять ему и немножко позадаваться. Костя, наверно, видит, что я задаюсь, но молчит. Потом, правда, я увлекаюсь и забываю задаваться. Мы сидим с ним долго. Его мама угождает нас чаем и домашними ватрушками. Я пью чай, уплетаю творожные ватрушки и думаю о Лиле.

Проходит неделя. Костя наконец отправляется на свой последний экзамен. Я жду его, пока он сдает. Выходит красный, озабоченный.

— Завалил? — пугаюсь я.

— Да нет. Сдал. Но было время, когда чувствовал: тону!

— А что там было?

— Да эти уравнения с тремя неизвестными. Они мне даже во сне снились, проклятые! Идут будто по улице три человека в масках. Неизвестные!

— Чудак! Это же просто.

Он глядит на меня так, будто сделал какое-то открытие.

— Вот тебе было бы легко учиться, — говорит он. — А у меня подготовка, знаешь, липовая.

Помолчав, спрашивает:

— И чего ты не учишься? У тебя запросто бы пошло.

— И чего, в самом деле, я не учусь?

— Смеешься! Я тоже когда-то смеялся.

— Ну, ладно. Пойдем на каток?

— Ох, и давно не были!.. — вздыхает Костя и расправляет плечи. — А хорошо, Витя, чувствовать себя человеком!

— Так пойдем или нет, человек?

Мне хочется скорее на каток. Сегодня я не видел Лилю на линии; возможно, она придет в парк, на озера.

Костя минуту колеблется. Я знаю, почему. Ему после трудного испытания хочется пропустить рюмочку. Но я знаю также, что мастер строго наказывал не пить «с молодым поколением», то есть со мной. И вот Костя борется с самим собой. Я это вижу. Мне жалко его. Конечно, один он не захочет пойти и выпить. Скажет — так не по-товарищески. И меня привлечет ему неловко.

Я говорю ему с полной серьезностью:

— Эх, стопочку бы за твои успехи, Константин!..

Он сразу приходит в себя. Сердится:

— Ну, ты не заговаривай. Мал еще!

— Сходи один.

— Не твое дело. Понял?

— Понял.

— Тогда молчи!

Я сержусь. Молчу.

— Пойшли, что ли? Ну, ты, Витя, брось сердиться. В самом деле, зачем каждый экзамен отмечать стопкой?

— В самом деле, зачем?

И вот мы идем по дорожке парка. Под ногами крохится снег, подтаявший днем и схваченный морозом к вечеру. Над парком в сумеречном воздухе черными тенями летают молчаливые галки и вороньи. За Москвой-рекой, над разливом городских крыш, догорает закат. В воздухе чувствуется весенняя, влажная пресность. А что, если Лиля катается со студентами? Уйду тотчас обратно. Уйду! У Кости тоже невеселое настроение. Он о чем-то тяжело думает, наморщив лоб. Сунул руки в карманы полу-пальто, шагает, будто в темноте, не видя ничего перед собой.

Вот и аллеи, превращенные в каток. Навстречу нам все чаще попадаются конькобежцы. Одни летят вихрем, радостные, озорство так и сияет на их раскрасневшихся, возбужденных лицах. Другие идут медленно, как бы наслаждаясь каждым движением. Больше все молодежь. Больше все парами. Лили на аллеях нет. Ее я за сто верст узнал бы. Разве у кого-нибудь есть еще такие пышные волосы и такой чудесный малиновый берет?

Я гляжу на Костю и не узнаю его: как он преображается! Уже не хмурится. Глаза его горят. Тяжеловатость, которая была в его фигуре, исчезает. Еще больше он оживляется в раздевалке, где толпятся десятки людей, раздается стук коньков об пол, точно беспокойно переступают кони в стойлах, Костя грубо острит, на его большом коричневом лице то и дело вспыхивают крупные белые зубы. Я затягиваю шнурки, гляжу на него и думаю о том, почему это раньше мы ссорились с ним. Неужели это он ругал меня трахом?

Лиля нет и на озерах...

— Костя, — говорю я. — Мне хочется немножко посидеть.

— Устал?

— Да нет. Просто лед слишком изрезанный.

— Да, лед слабоват.

Он садится со мной рядом. Черные непокрытые Костины волосы серебрятся от инея. Иней покрывает и свитер на его плечах и спине.

— А может, поучить тебя на норвегах?

— Нет, я сегодня похожу на сопливых гагах...

Костя смеется.

— Ну, я пошел.

— Иди.

— Не сиди долго. Ты же потный.

— Усвоил.

— Смотри!

Он идет легко и быстро, кажется, немножко излишне подавшись корпусом вперед. На ходу подхватывает какую-то девушку, и они, смеясь, мчатся по озеру. Я слежу за ними, пока они не исчезают за поворотом.

Как просто у него все это получается!

Я иду в раздевалку. Снимаю и сдаю коньки. Одеваюсь. В дверях сталкиваюсь с Костей. Он один.

— Ты куда?

— Домой.

— Друг называется!

— Но ты же...

Костя глядит на меня во все глаза.

— Ах, ты о девушке! — Он весело смеется. — Здорово ходит, чертюка! Легко с ней. Да у них компания. Подожди меня.

Он скоро выходит, сдержанно-оживленный. Обнимает меня за плечи.

— Ну, что скис? Тренироваться надо, тогда не будешь уставать.

— Да, надо тренироваться. Это ты верно говоришь.

— Куда пойдем?

— По домам.

— Я, между прочим, здорово проголодался. Может, зайдем в «Поплавок»?

— Зайдем...

...Костя заказывает мне «Российского», сам берет стопку водки. Мы съедаем страшно вкусную рыбу с гарниром из хрустящей, мелко-мелко нарезанной картошки. Потом еще выпиваем по два стакана чаю.

— Черт возьми, сейчас бы я осилил и четырех неизвестных, — говорит Костя, вставая. — А то с твоими науками прямо-таки в уныние ударился.

Дома сестренки нет. Я вспоминаю, что сегодня 8 Марта, и ругаю себя: как я забыл! Заглядываю в гардероб. Нового Надиного платья там нет. Значит, Надя ушла на вечер. Я не знаю, чем заняться. На столе лежит «Туманность Андромеды», но мне не хочется углубляться в космос. И тут я впервые думаю, что неплохо бы поступить в Костин техникум. Вместе бы могли учиться.

Во сне я всю ночь катаясь на автобусе, в который впряжены цирковые лошади. Автобус гремит по мостовой, как трамвай. Грохот будит меня.

Это по водосточным трубам, обвально грохоча, падает подтаявший лед.

Случайно я вижу в окне зеркального зала в музее Моне фотографию, на которой изображены кипарисы в парке перед музеем.

## VII

Уже давно стекла Лилиного автобуса не белеют густым инеем. Мне кажется, что в верхние окна, на потолке, вставлены куски голубого весеннего неба. По утрам асфальт, смоченный талыми водами, жарко блестит, и из-под колес автобуса разлетается мелкими искрами солнце.

В автобусе мне все привычно, все знакомо до мелочей. Я знаю, например, что сиденье, первое справа, над которым висит табличка: «Для пассажиров с детьми и инвалидами», — скрипит, что обшивку другого сиденья кто-то поцарапал. (По рукам бы дать за это!) Я знаю и другие мелочи. Мне нравится, как окрашен автобус изнутри. Белая с едва приметной голубизной краска как бы светится.

Я еду с работы. Давно еду. Сначала я сел, когда автобус шел в Новые Черемушки. Остановки за две до конца выходжу, перехожу на другую сторону проспекта и жду Лилин автобус. Его долго нет. Я думаю, что его, наверно, отправили в парк, как вдруг он вылетает на перекресток, весь такой сверкающий, такой нетерпеливый.

Лили отрывает мне билет. Я хочу коснуться ее руки, но в последний миг меня покидает смелость.

Лили смотрит на меня. Ее серые большие глаза равнодушны. Я прохожу вперед и сажусь на скрипучее сиденье. Повернувшись, наблюдаю за ней. Мне знакомо каждое ее движение. Вот она ловко, одной рукой отрывает билеты, другой получает деньги исыпает их в свою сумку. Когда она сует руку в сумку за сдачей, деньги весело перезвиваются. Пальцы у Лили, видать, очень чуткие, иначе она не могла бы не глядя безошибочно находить нужную для сдачи монету.

Автобус скоро переполняется, я больше не вижу Лили, только слышу ее голос. Я и раньше наблюдал: чем сильнее набит автобус, тем оживленнее Лили, тем звонче ее голос.

— Товарищи, пройдите вперед! Надо же людям поместиться! Все с работы спешат!

И люди подвигаются.

— Товарищи, в автобус вошла старушка. Уступите ей место!

Я жалею, что не успеваю встать, кто-то уже усадил старушку.

Мужской голос спрашивает:

— Девушка, далеко до Кремля?

— Три остановки. Я скажу.

— Спасибо.

— А что идет в «Ударнике»? Не знаете?

— «Колдунья».

— Это, говорят, по Куприну?

Кто-то приходит ей на помощь:

— От Куприна остались рожки да ножки.

И завязывается спор о «Колдунье». Он продолжается до тех пор, пока спорщики не выходят из автобуса. Оказавшись на тротуаре, они все еще яростно размахивают руками, что-то доказывая друг другу.

Новые пассажиры заходят в автобус. Голос Лили звучит успокаивающе и настойчиво:

— Товарищи, пройдите вперед!

На Москве-реке лежат вялые, грязные льдины. Между ними черная вода. Река кажется пегой. Сверкают купола Ивана Великого и стекла в кремлевских дворцах.

Вдруг меня будто кто-то по лицу хлещет.

— Кондуктор, сдачу! — раздался крик. — С четвертой ты мне дала всего два рубля.

Голос пьяный, я это сразу определяю.

— Не получала я двадцать пять рублей. У меня даже в сумке нет таких денег. — Голос Лили тверд и уверен.

— Ах, не получала!

— Да, не получала. Вы подали три рубля.

— Какое нахальство! Три рубля! Ну-ка дай сумку, посмотрим.

— Сумку не дам!

— Граждане, видите, она не хочет показать сумку...

Весь автобус шумит, взбудораженный. Как всегда в таких случаях, сразу находятся советчики и свидетели. Залетали тяжелые слова: «Обсчитывают. Всегда обсчитывают...» Я протискиваюсь сквозь толпу, бешено работая локтями. Опыт у меня на этот счет есть, и я скоро оказываюсь рядом с Лилией. Она стоит бледная, прижавшись спиной к стенке автобуса и зажав руками сумку. Я понимаю: умрет, но не отдаст ее никому. Я ищу обидчика. В толкучке не сразу нахожу его. Наконец я увидел молодого парня в высокой шапке-пирожке и в шубе с воротником шалью. Он стоит с красным лицом, прижатый в угол, и бормочет что-то бессвязно и неуверенно. Замечаю: у него большие оттопыренные уши. Слышу все то же:

— Было двадцать пять. Я не менял раньше... Нет и нет... Она...

— Подлюга, — говорит парень в серой кепке, в коротком полупальто, стоящий рядом со мной. — За чужой счет хочешь... У-у, клоп! Ни стыда, ни совести.

— Не смеите, не смеите... — Ушастик выставляет вперед руки, как бы защищаясь. Но никто не собирается его бить. Люди отвернулись, потеряв к нему интерес.

Мы втроем выходим на первую же остановку.

— В милицию поведете? — спрашивает ушастик и заискивающе глядит то на меня, то на парня в серой кепке.

— Да, конечно, — подтверждает парень в серой кепке.

— А имеете право? — спрашивает ушастик таким тоном, будто ловит нас на чем-то недозволенном.

— Вполне, — говорю я. — Мы дружинники.

Хотя никакими дружинниками мы не были, но я слыхал, что в эти дни в городе создавались рабочие дружины по охране порядка. Ушастик сразу застывает.

Лилин автобус все еще стоит. Парень в кепке прыгает на подножку и кричит мне:

— Разберись с ним!

Дверь захлопывается. Автобус трогается. Я долго смотрю ему вслед. Сам не знаю: почему, становится грустно, будто от меня уходит что-то очень дорогое, без чего я не могу жить.

Оглядываюсь. Ушастика нет. Ну и черт с ним, думаю я. Трус! Очень-то интересно с ним возиться. Только попадись еще раз!..

Я бреду пешком домой.

• Весенний вечер светел и влажен.

Горько пахнет тополиными почками.

## VIII

**Я** не знаю, куда деваться от моей заботливой сестренки. Каждый день она докучает различными расспросами. Сегодня было то же.

— И чего ты такой сумный, Витя? — встречает она меня вопросом, когда я возвращаюсь домой.

— Что значит — сумный?

— Ну, вроде больной. Или уставший очень. Я вижу.

— Да? Какая ты у меня всевидящая.

— Ты что-то скрываешь... — Она обидчиво надувает губы.

Да, я скрываю. От всех скрываю. Разве я могу тебе рассказать, Надька? Ведь ты так медленно взрослеешь. Какой была при маме девчонкой с косичками, такой и осталась. Разве ты поймешь, почему я сумный? Как расскажу тебе о том, что все лето я ищу Лилию и не могу ее найти? Исчезла, будто в воду канула. В отделе кадров автобусного парка, когда я звонил туда, неизменно отвечали: «Уволилась». Мосгорсправка мне сообщила: «Такая в Москве не проживает». «Как же не проживает?» — удивился я. Девушка, которая дала мне справку, пожала плечами, сказала:

— А может, она за городом прописана?

Я с трудом отхожу от окошечка, захлопнувшегося перед моим носом.

«Уволилась»... «Не проживает»... «Может быть, за городом»...

Знакомая словоохотливая кондукторша, у которой я однажды спрашивался о Лиле, перевелась в другой парк, и на ее след я так и не могу напасты.

Никто не знает, о чем я думаю, стоя у станка. Даже Костя Мармеладов, мой лучший друг, не знает ничего. Костя влюбился в актрису, которая пела у нас в цехе, и с тех пор мотается по Москве в поисках клубов, где она выступает. Два раза мы попадали на ее концерты: первый раз в клубе пожарников, второй — на автозаводе Лихачева. У лихачевцев нас пустили только потому, что у Кости были цветы. Он подготовил их своей актрисе. И когда она спела песенку, которая Косте очень нравится, он бросил цветы на сцену. Бросил прямо в бумаге. Она взяла букет, развернула и улыбнулась так кротко, так радостно. А потом помахала Косте рукой. После этого Костя сделался какой-то шальной. Поглупел даже. Теперь он говорит только о своей актрисе. Может, потому он так оживлен и весел, что делится со всеми тем, что у него на душе. По-разному относятся люди

к его рассказам. Мастер Семен Иосифович, выслушав его, отворачивается, и культа его начинает мелькать: видно, он не может удержаться от смеха. Иван Чарушин воспринимает Костин рассказ вполне серьезно и только говорит:

— Вахлак ты, Костя. В первую же встречу полезешь обниматься. Знаю тебя.

Да, за Костя водится такая странность: он обнимается со всеми. Но делает это как-то легко, весело, и ему все сходит с рук.

В ответ на слова Ивана Мармеладов клянется, и по старому и по-новому, что актрису обнимать не решится. Потом уныло говорит:

— Разве только забудусь...

Костя, конечно, легче. Для него все просто, все ясно, даже позавидуешь. А я думы свои ношу в себе и не могу никому о них рассказать. Да и о чем расскажешь? Я даже не знаю, где она, Лилия.

Вот и лето проходит. В сентябре я получаю первый в своей жизни отпуск и не знаю, куда его деть. Уезжаю к тетке Анне на Тамбовщину. Воспоминания о тетке, еще нестарой, ласковой женщине, у меня всегда были связаны с чудесным запахом спелых яблок. Когда тетка приезжала в Москву, она всегда привозила с собой корзины душистых яблок, и в нашей квартире еще долго после ее отъезда стоял неистребимый тонкий запах антоновки. Нас с сестренкой тетка любила. Она была с нами такая нежная и добрая. Там, у тетки, был наш второй дом.

Встретив меня, тетка в первую очередь, конечно, всхлипывает, вспоминает мою маму — свою старшую сестру, потом принимается угождать меня яблоками. Корзины, доверху наполненные ими, стоят в сенях, в избе, и повсюду витает такой знакомый, такой трогательный запах антоновки. Тетка угождает меня вином, вареньем, пирогами — и все это из яблок. Здесь их царство.

В первые дни мне кажется, что я никогда не жил в каком-то другом месте, кроме этой яблоневой деревни, не знаю ни завода, ни станков, ни шумных московских улиц. Через неделю я уже скучаю и по Москве, и по заводу, и по Косте Мармеладову. И, не дожив до срока, кочу в Москву, до отказа нагруженный яблоками, вареньем, вином. Думаю о Лиле. Мне кажется, что, вернувшись, я тотчас найду ее на том же самом новом автобусе. Я никогда не представлял, что так медленно может тащиться поезд, так подолгу может стоять он на безвестных степных станциях.

Лилию я, конечно, не нахожу. Откуда же она может появиться, если даже не проживает в Москве? Удрученный, отправляюсь к Косте. Неужели придется без Лили? Как же так буду я жить?

Костя так рад мне, так лапает своими ручищами, что я даже теряюсь. Будто мы сто лет не виделись.

— Новостей — уйма! — торопится он. — Мы делаем новый станок. Автоматический. Усвоил?

— Усвоил. Не дали нам еще звание?

— Нет, брат. Это не так просто. Нам с тобой теперь придется нажимать на учебу. Хорошо, что тебя приняли сразу на второй. Вместе будем. Сколько ты пропустил? О тебе в техникуме уже спрашивали.

— Ладно. С учебой успеется. Как у тебя дела с певичкой?

— Уехала на гастроли, на север, — вдруг сникнув, говорит Костя. Потом с возмущением добавляет: — Что там у них, в этом самом Норильске, своих артистов нет? Люди должны из Москвы ехать. Тоже мне порядок!

О других новостях я не рассказываю Костю. Вижу, что настроение его испортилось.

В цехе моему появлению тоже рады, будто без меня тут никак не могли обойтись. Мастер Семен Иоси-





# Бобры в Твери

В зоопарке в тесноватой клетке  
Беззаботно жили два бобра,  
Разгрызая иловые ветки,  
Мягкие, с отливом серебра,  
Но горчил печалью полускрытой  
Терпкий привкус  
Листьев и коры.  
«Ну, а где же то,  
За что мы сыты?  
Где работа?» — думали бобры.

Как рабочих к лени приневолишь?  
Им бы строить,  
Строить да крепить,

А у них для этого всего лишь  
Пополам расколотый кирпич.

Подошли бобры к нему вплотную,  
Половинку подняли с трудом,  
С важностью взвалили на другую...  
Из чего же дальше строить дом?  
Что же дальше делать им?  
Не знают.  
Приутихли, сумрачно глядят.  
Сгорбились,

О чём-то вспоминают  
И зеленых веток  
Не едят.

Бугулем и Бугурусланом.



## Открытое письмо анониму

Новелла  
МАТВЕЕВА

Я к вам пишу.  
А как вас звать?  
Никак?  
Чего же боле?!  
Меня презреньем наказать  
Никак  
Не в вашей воле.  
От самой древней древности  
На то и аноним,  
Что, стало быть, в презрности  
Никем не заменим.  
Стрелять в затылок не хитро.  
И стоит ли труда  
Иметь бумагу и перо  
И не иметь стыда!  
Ты рвешься правду мне открыть?  
Но как? Путем неправды?!

Открой лицо — и, может быть,  
Хоть в этом будешь прав ты.  
Смотри! Двенадцать тысяч слов.  
Но полпись: «Аноним» —

И все двенадцать тысяч слов  
Зачеркнуты одним.  
Ты рвешься в бой?  
О чём же речь,  
Коль сильно разобрало!  
Но прежде чем подымешь меч,  
Изволь поднять забрало.  
А то ведь я-то — вот она.  
А ты неуловим.  
Нет! Не по правилам война!  
Откройся, аноним!  
Но что за дерзкая мечта —  
Увидеть аноним!  
Неуязвима пустота,  
Ничтожество незримо.

И даже видя подлеца,  
Чья подлость не секрет,  
Мы видим маску.  
А лица —  
Увы! — под маской нет!

## В детстве

Свет потушен...  
Сказка не досказана...  
Лес в окне... Или окно в лесу...  
Ночь деревья по небу размазала,  
Как ребенок слезы по лицу.  
Мелют листья что-то отвлечённое,  
На пеньках сияют светляки.  
Чуть мерцает за стволами черными  
Факельное шествие реки.  
Взмыли ели языками копоти

От ее холодного огня...  
В плеске струй,  
в их шарканье и топоте —  
Поступь ночи,  
шум забвенья дня...  
Черной кляксой  
клен растекся в воздухе,  
Все тропинки мглою замело,  
И во мгле осталось от березоньки  
Только то, что было в ней бело.

## Ночь

В бездонный сад распахнуто окно,  
Ночных берез едва шуршат вершины...  
Глядит из тьмы, как жемчуг из пучины,  
Черемухи туманное пятно.

Косой балкон повис над садом черным,  
Как бы отчалив от неясных стен,  
Как белый челин, черпнув бортом узорным

Весенней тьмы, и дав при этом крен.  
Сирени чуть сереющая ветка  
Вмешалась в ночь...  
Толкуются комары,  
Как маленькие тусклые миры.

И всплескивает листьями беседка,  
И мышь летучая за кругом чертит круг,  
И дребежжит тяжелый майский жук.

# Лженоавторам

## Сонет

Реформа — стройка,  
Ломка — полреформы.  
А между тем новаторы — увы! —  
Сломали вы!  
постройку старой формы,  
А новых форм не выстроили вы.  
Крот роет грот,  
Косами вьются корни,  
Рождается струна из тетивы,  
Дождь месит глину,  
Луч меняет форму.  
Все гнется, льется...

Спите только вы.  
И сон зовете новую!  
Знаю: стансы  
Сошли на нет.  
Но что взошло «на да»?  
Один на всех  
Унылый слог остался  
Да лесенка скрипучая.  
И та  
Годна не для подъема,  
А для спуска  
С подмостков задремавшего искусства.

## Архивист

Его стихия — старая бумага.  
«За что страдает,  
в чем он виноват?  
И ведь какой безропотный, бедняга!»—  
Непосвященный скажет наугад.  
А ты спроси,  
чего «беднягах» надо  
И чем он только, «бедный»,  
не богат?  
Одна строка —  
и найден ключ от клада,  
Строка другая —  
найден самый клад.  
Сидит у лампы труженик  
архива.  
Раскопок ждут  
бумажные пласти —  
И вторят ветра зимнего порывы  
Порывам вдохновенья и мечты.  
Читает он  
с глубоким видом мага;  
Мгновение —  
и старый документ,  
Как заклинанье,  
выдует из мрака  
Гиганта  
с волосами из комет.

Так кажется.  
А разве вправду нет?  
А разве не историк разрушает  
Кошевые пещеры, силы сна?  
А разве не историк воскрешает  
Эпохи, государства, племена?

Или не он  
Стучит без передышки  
В глухие и отзывающие крышки  
Полузабытых кладов и гробов?  
(А иногда — в дубовые кубышки  
На вздоре упирающихся лбов.)

Кто что терял?  
— Отыщется в архивах.  
Кто лгал завзято?  
— Кто — не разобрав?  
— Архив на страже,—  
Лихо вправит вывих  
Истории достойный костоправ.

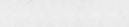
В нутро породы,  
заспанной и мрачной,  
Вонзает он  
исследованья лом —  
И делает Историю  
прозрачной,  
чтоб разглядеть грядущее  
в былом.

Шепот, а стало быть, тайна, —  
секрет, Тенью привыкший питаться,—  
Их же  
до нитки пропитывал свет,  
Что же им было шептаться?

Комъ, разная  
за поводы и на  
нет съ  
сколько не думал о том, что мой  
ко звону придается сдавать в чистку.

— Вистории  
ему. Вы так  
без сатора  
Река у И  
ложит на  
— Вы в  
Изоплыда  
— И нога  
— А я  
— У вас  
— Верно  
— Конеч  
Мы смотр  
глазахъ его  
— Да, это  
Изопльда  
говорит м  
— Ведите  
А сама  
Белый х  
в уюту с  
Моя ра  
иает Кост  
Спрашивал  
— Тонк  
— Работа  
Мы с Костом  
се о высту  
приходит  
— Жаль, —  
нельзя. Такая  
— Моя наездница  
— А что? Теперь  
любовь к лошадям.

Ночь по холмам непогоду  
гнала,  
В землю позёмку втирая.  
Между собою  
шептались дрова,  
В низкой печи догорая.



## Бессонница

У моего отца бессонница,  
Он в кресле, как ночная птица.  
Я понимаю, что бессовестно  
Храпеть, когда ему не спится.  
Но ночь берет свое.

Отколовый  
От спящих, он сидит, дежуря.  
Над ним луна в масштабах комнаты —  
Зеленый круг от абажура.

Как долго сон его сторонится,  
Как тянется ночное бденье!  
И это я — его бессонница,  
Мое прикрытое безделье.

И, правда, мало мною сделано,  
Одни лишь планы,  
планы,  
планы.

Самостоятельность?

Но где она?  
Не в сторублевках же зарплаты.  
Почти ничем отца не радую  
И часто нарушаю слово...  
Но по утрам  
с отцовской правдою  
До хрипа спорить я готова:  
«Не отпевай! Я не покойница.  
Все впереди.  
О человеке  
Иначе надо беспокоиться,  
Я не хочу твоей опеки!  
Да, ваше время скороспелое,

А нам  
нужна иная зрелость...»  
Я называю черным белое,  
Ведь мне не то сказать хотелось.  
Но спор  
доказывает равенство  
Между отцом и мной,  
как будто  
Не он,  
а я была изранена,  
В обмотки грязные обута,  
Как будто я несла возвзвание:  
«Смерть белой банде!

Красным — слава!» —  
И окровавила названия  
Бугульмы и Бугуруслана...

Отцы,  
чьи прошлые ранения  
Все чаще колют нас укором,—  
Меня пугает их смирене  
Перед пустым дочерним вздором.  
Да осади меня насмешкою!  
Я защищаюсь очень глупо...

Но мой отец чего-то мешкает  
И говорит немного глухо:  
«Ты знаешь,  
у меня бессонница.  
Все ночью вижу в мрачном свете.  
Давай не будем  
больше ссориться.  
Отцы неправы,  
правы дети».

## Мой поезд

Сказал человек в пенсне:  
«А я прозевал свой поезд.  
Не вижу химер во сне,  
О прочем не беспокоюсь.  
Я тихий старик. Вот так...»

А был он побрит, подстрижен,  
И неудачника знак  
На лбу его не был выжжен.  
Но я предпочла бы гром  
Небесный

его затаишию.

Люблю говорить о том, о чём  
Что я от других завишу,  
Что с головой уйду  
В работу, когда освоюсь,

Что у меня на виду  
Стоит незанятый поезд,

Что служба, дружба, семья  
Тоже требуют дани...  
Но это — трусость моя.  
Которой нет оправданий.

А вдруг по моей вине,  
Соскучившись по простору,  
Мой поезд уйдет, — и мне  
Его не вернуть к простоту?

Упущу ли состав?  
Брошусь ли вслед составу?  
Неужели, устав,  
Я тихой старухой стану?  
Стоит мой поезд большой  
У перегона.  
Вот он!  
Но он пока не ушел,  
Он только-только подан.



Т. ЖИРМУНСКАЯ

Светлана ЕВСЕЕВА



Н. КАШЕЕВА

# Шаги

Покрыть твои шаги чужими  
И сделать вид,  
    что не с тобой,  
Как заведенные,  
    кружили  
Мы по вечерней мостовой.

Застилать твои шаги другими,  
Как войлочным половиком,

Сети кругом развесены,  
Хочется их потрогать.  
Руки у каждой женщины  
Обнажены по локоть.

Ходят шагами крупными,  
Перекликаясь громко.  
Водят руками круглыми,  
Розовыми, как семга.

Твои, звенящие —  
глухими,  
С тяжелым, плоским каблуком.  
С другим  
    стоять в подъездах гулких.  
С другим  
    выписывать круги.  
Terяться в тех же переулках.  
Стереть, стереть твои шаги.

Синяя, белая, красная  
Бьется в сетях добыча.  
И красота их разная,  
Женская и девичья,

Правильная и пряничная,  
Служит делу подспорьем.  
И вся городская прачечная  
Пахнет соленым морем.



## На «ты» перейти не просто...

На «ты» перейти не просто.  
Правы или не правы,  
Насмешливые подростки  
Мне говорили: «Вы».

С лукавством в ребяччьем взгляде,  
В спецовках своих,  
    как в броне,  
Пальцев моих без ссадин  
Они не прощали мне.  
Спины черны от пота.  
Эй, раззудись плечо!

Дышала в лицо работа  
Шумно и горячо.

...День на исходе дымный.  
Молчали они, горды.

Мне было необходимо  
«Ты», как глоток воды.

Мну я руками жесткий,  
Пыльный полог листвы...

Насмешливые подростки  
Мне говорили: «Вы».



И. КАШЕЖЕВА

## Тусклые окна светятся...

Тусклые окна светятся,  
Летят мотыльки на них.  
Плакала моя сверстница,  
Голову наклонив.  
Там садик, и там скамеечка,  
За низким забором трава.  
Ты говорила, девочка,  
Там ласковые слова.  
Гадала: «Выйдет, не выйдет...»  
Там липы шумят вокруг.

Ты плачешь. Тебя обидел  
Твой самый хороший друг.  
Там ночь не кончалась долго —  
По щиколотку роса.  
И Язва кажется Волкой,  
Только сощурь глаза...  
Так что же ты плачешь, девочка.  
Голову наклонив,  
Маленьку скамеечку  
Миром вообразив?



# Рыбачки

Ждите мужчин пропавших,  
Всеми морями пропахших,  
Наши мужчины придут!  
С мужчинами так бывает:  
Вдруг пропадут.

Нескончаема наша вера.  
И любая из нас постигала:  
Беспокойны мужчины, как ветры,  
Высоки, будто белые скалы.

Мы вас ждали три дня и три года,  
Мы ботинки отдали в починку  
Мы поставили в свежую воду  
Пестики и тычинки.

Как без вас день и ночь моросило!  
Как тоске нашей ветер вторил!  
Уши — раковины морские:  
В них все время гремело море!

Не бывали мы в той передряге.  
Ни на краешек, ни в середку  
Не садились к лихому гуляке  
В егозливую хлипкую лодку.

Ждите мужчин пропавших,  
Всеми морями пропахших,  
Наши мужчины придут!  
С мужчинами так бывает:  
Вдруг пропадут.



Светлана ЕВСЕЕВА

Ты, сестрица и потом  
Так оставайся перед глазами.  
Нестоящим молотком  
Себя к тебе прикованы.

В нашем домике допотопном  
Помню женщин одинх в семье.  
Помню: туфли твои допотопны,  
Платье выцвело на спине.

Я мечтала тогда девчонкой,  
Как бы мне суметь накопить,  
Снять самой с тебя мерку  
бечевкой,

Платья в городе накупить.

Называли тебя вдовою.  
Помню все я твои труды.

Как верблюдицею худою  
С города влекла пуды.

Постоишь у ворот молчаливо,  
Не откроет хозяин ворот.  
Я не помню в семье мужчины  
Посреди бытовых забот.

До сих пор ты не так одета,  
Руки маленькие черны.

Нет, никто не виновен в этом,  
Кроме той мировой войны!

## Когда степные города росли

Базар звенел здесь медными деньгами,  
И тек кумыс в него из кишлаков,  
И обрастили улицы домами  
Под скрип телег и грохот поездов.

По городу шагая, как бывало,  
Он прежнего не видит ничего:  
Ни мазанок в обрушенных дувалах,  
Ни девушек, глядевших на него.

И каждый дом и даже каждый камень  
Ему твердят о прошлом только дне.

А у него уж старость под глазами,  
Как будто кольца на широком пне.  
И по его походке видно было,  
Что он от дум тяжелых занемог,  
И галстук-бабочка обвис уныло,  
Похож на высосанный тлей цветок.

Вдруг понял он: страшней всего на свете  
Домой вернуться путником в пыли,  
Не выросшим за то десятилье,  
Когда степные города росли!

## Весна

Дрова несет уборщица.  
В пальто и шубах вешалка.  
Весна. На голой рощице  
Качается скворешенка.

Когда весна упрочится  
Для гнезд, для певчих горлышек?  
Весна. На голой рощице  
Качается воробушек.

# Гость в Москве

Человек из аула.  
Борода. Смуглota. Скулы.

Пахнет дымом и пловом,  
В халате новом лиловом,  
Опачсан шарфом лимонным,  
Нам рассказывает на ломаном:

— Да. Джаксы. Хороша дорога.  
Хорошо на коне на добром!  
Бесконечны пути Востока,  
Словно струны старинной гитары  
домбры!

По тюльпанам идут барабаны,  
По цветам благородным, алым,  
И колеблются, как тюльпаны,  
Курдюки, набитые салом.

Кишишиом, миндалем, урюком  
Огопыриваются карманы.  
Как шакалы с голодным брюхом,  
За спиной рычат барханы.

Бухара. Фергана, Лайли,  
Лайли, восточный свет!  
Даже градусники оттаяли...  
Гость идет по Москве!

## Лето

Дух мой проник  
В материю простую.  
Ношу я белый воротник  
Да юбочку вплотную.

Не наглухо, не целиком  
Такой загар здесь спрятан,  
Что кажется: я шла пешком  
В Москву из древней Спарты.

Июль в сандалии обут.  
В цветных, резных, плетеных

Асфальт попеременно мнут  
Два пальца обнаженных.  
Я уличная толчея,  
Цирк, «Форум», «Панорама»!  
В метро мне кажется, что я —  
Привыкший к свету мрамор.

В метро мой образ многолик:  
Снопы. Венки. Пирюю!  
Ношу я белый воротник  
Да юбочку вплотную!

## Былина

Я доила коров. Выгребала навоз.  
И на рынке, где грубые вкусы,  
Гребешки покупала для жирных волос  
И стеклянные красные бусы.

Еду в новую область. Трясуся на возу.  
Кость широкая в ситце лаптасом.  
Заскорузлой рукою хватаю вожжу:  
Я Орина, смугла и скуласта.

Я былины слыхала на печке зимой,  
Я дождей ожидала на пашне.  
Есть такие глаза для меня, простой,  
Как замочные скважины в башню.

В них заглянешь, и песенный лад на  
устах.  
Имя милого — песня пастушья.  
Я держу это имя в обеих руках,  
Нараспев повторяю: Илюша!

Все отдаю я: пшеницу, свинину, творог,  
Ничего не оставлю в запасе!  
Дайте пару мне нежно дрожащих серег,  
Для лица — самой ласковой мази!

Научите писать, выводить письмена,  
Красить красками голубя, змея.  
Как была, как спала от темна до темна,  
Ничего, ничего не умея?

Его мне надо под моей кровлей,  
Как надо спать мне, есть и пить.  
И слезы в горле:  
Нельзя ли как-нибудь его купить!

А не купить — добиться подороже,  
Приобрести в мой дом любым путем.  
Не трогайте его, чтоб больше прожил!

На цепь его, чтоб не сбежал тайком!  
Чеканить бы его на золотых монетах,  
В портретах размножать по белу свету!

Вот так, чтоб изнутри нас трогало,  
Чтоб шли к нему без грубых мы причин,  
К прекрасному, лишь постоять бы около,  
Тяжелым нам от пота и морщин.

## О красивом

Его мне надо под моей кровлей,  
Как надо спать мне, есть и пить.  
И слезы в горле:  
Нельзя ли как-нибудь его купить!

А не купить — добиться подороже,  
Приобрести в мой дом любым путем.  
Не трогайте его, чтоб больше прожил!

# О любви

— Да, —  
— Астрахань.  
Любимых не мучают. Их берегут.  
Понимают, жалеют и охраняют.  
Рубашечки беленькие им шьют,  
Носочки им покупают.

— Нед.  
— Рисковань.  
Распустилась желтая на земле,  
В книге засохла астра.  
Политэкономия объяснила мне,  
Как родилось коварство.

Жестоких романов забыты слова,  
Разрушена старая школа:

Все, что делит людей на два  
Междоусобных пола.

Ревнивцы, завистники, игроки.  
Пистолеты, кинжалы, яды...  
Босоножки мои легки,  
Как отстрелянные снаряды.

Я с мужчиной рядом иду:  
Век двадцатый с двадцатым веком  
Ты поверь в мою доброту  
И со мною будь человеком!

Ты, сегодня и потом  
Так оставайся перед глазами.  
Неутомимо молотком  
Себя к тебе приколочу гвоздями.

Зрачки к зрачкам канатом прикручу,  
Вдох к выдоху, тень к тени припаяю.  
Я верности хочу,  
Я сильная, как прачка та рябая.

Мне чудеса нисколько не чудны.  
Понадобится — скалы с родниками

Возьму на плечи, будто кувшины,  
Травой полягут сосны под ногами.

Несу я верность на прямых плечах.  
Прошу тебя, прими, розыми в подарок!  
Иду по Трубной в голубых чулках,  
Полями пахнет белый полушенок.

Созвездия! Откуда и докуда?  
Куда ни глянь — мы, люди, посреди.  
Мне кажется, до смерти юнгруда,  
Я грею вечность на своей груди.

## Защита

Останавливал синий автомобиль.  
Плащ зеленый стелил под дубом.  
Мне казалось, что ты у меня был.  
Мне казалось, что ты обо мне думал.

Мы с товарищами одного полка,  
И, ко мне относишься свято,  
Не валить тебе со мной дурака  
Посоветовали ребята.

И решили, лучше моей родни,  
Что мне нужен дружеский окрик.

Папиросы в передней докуривали,  
Сапоги вытирали о коврик.

И хватались за форму, за твердость ремня,  
И першило у них в горле.  
А потом грубою утешали меня,  
Будто землю в ладонях терли.

Оборачивались, уходя.  
Надвигалось уже затишье.  
И у них от последних капель дождя  
Были плечи, как мокрые крыши.

## В гостях

Вот поворот, и две сосны,  
И пес веселый, верткий,  
А туфельки мои мрачны,  
Как в непогоду лодки.

Мне желтый пес безмерно рад.  
Пожалуй, мне вы рады.  
Гляжу на мокрый листопад  
С необжитой веранды.

Ваш пес не слушает команд  
И веселится яро.

Мне завтра выдаст комендант  
Верблюжье одеяло.  
Я свет на тумбочке зажгу,  
Тепло. Окно в замазке.

На наволочке завяжу  
Казенные завязки.  
Там, в общежитии, мой дом.

Лифт без меня грохочет.

В гостях я. Ноги под столом  
Холодные, как ночи.



# СЕВЕРНЫЙ СОН

*Маленькая повесть*

Рисунки Е. Растрогуева.

Нюль и сандалии обут.

В цветных, резых, блестящих **ОТПЫХ**

«Стрела» прибывала в Ленинград ранним утром. На перроне было пусто: видимо, встречать этот поезд у ленинградцев не принято. Не спешили к нему и носильщики. Они знали: обычно «стрелой» приезжают командировочные и, спрыгнув с подножки, направляются к выходу, помахивая чемоданчиками, в которых едва умещаются рубашка, две пары носков да бритвенный прибор.

Надя выглянула в окно вагона и сразу увидела мужа. После двух месяцев разлуки она новым, слегка отчужденным взглядом окинула его.

Розовощекий, голубоглазый, с крепкой выпуклой грудью, туга обтянутой форменной капитанской шинелью, он выглядел бравым и понравился ей. Надя подумала лишь, что в памяти он виделся ей несколько худее и выше ростом.

Целуя ее, он снял фуражку с кокардой, и его светлые, столь редкого для мужчины цвета спелой пшеницы волосы опять, после разлуки, поразили ее.

Вскоре они сидели в такси. — К мосту лейтенанта Шмидта! — скомандовал он пожилому шоферу.

— Быстро я собралась? — спросила Надя, со смущением и удовольствием чувствуя на себе долгий, тяжеловатый взгляд мужа.

Он ответил не сразу.

— Жена капитана должна уметь собираться быстро. — И крепко, больно скзал ее руку своей рукой — широкой, короткопалой, в светлом пушке на пальцах.

После этого они замолчали; каждый думал о своем. Она — о том, как быстро удалось ей собраться и выехать в день получения телеграфного вызова от

По тюльпанам — в саду — он хмыкает,  
По цветам — плавно — в цветах — то виноградом  
И колеблющим синевом — под пурпуром  
Курдаки, набитые — тюльпаном — и инкарнадом

Каштаном, земляничной виноградом

Предложил — виноградом — виноградом

Королевским — виноградом — виноградом

Гости — виноградом — виноградом

Любовь — виноградом — виноградом

Дружба — виноградом — виноградом

Любовь — виноградом — виноградом

Андрея, он — о том, что хорошо поступил, не послушав полусовета-полуприказа командира отряда кораблей Лучникова. «Я вам не рекомендую вызывать жену», — сказал Лучников. — Экспедиция не из легких». «Ерунда, — думал теперь Андрей. — Просто считает, как и все моряки, что женщина на корабле — к несчастью. Ну, а мы, речники, считаем так: куда иголка, туда и нитка!»

Такси мчалось по улицам прямым и бесконечным, мимо строгих старых домов. День разгорался, и голубое небо над строгими серыми домами излучало какое-то особенное, свойственное только этому городу золотисто-розовое сияние. Это сияние шло поверху, касаясь крыш и кое-где окон под крышами, внизу же, на улицах, было еще прохладно и сумрачно, как в ущелье.

— Когда мы выходим? — спросила Надя.

— Завтра в четыре утра. Днем нельзя пройти под мостами. А ночью их разводят. У нас все готово, и мосты заканы.

— Разрешите обратиться, товарищ капитан, — вмешался шофер. — Вы не с теплоходов этих, что у моста стоят?

— С них.

— Красавцы! Верно говорят, что их в Восточной Германии по нашему заказу строят?

— Верно, старик. Сам за ними в Германию ездил, принимать.

— И хорошо немцы строят?

— На это они мастера. Со всей немецкой аккуратностью. — Андрей отвечал с видимым удовольствием.

— И куда же вы теперь их перегоняете? — любопытствовал шофер.

— Сейчас на север пойдем. Ладожское, Свирь, Онежское, Беломорский канал, Белое море.

— А оттуда?

— А оттуда вверх — по Северной Двине, Сухоне. На Волгу, в общем.

— Пассажирские будут?

— Да, экскурсионные... По маршруту «Москва — Астрахань» и обратно.

— Красота! — вздохнул почему-то шофер. И после молчания спросил: — Там, небось, лед еще, на Белом?

— Лед.

— Рисковое ваше дело,— подумав, заключил шофер.

Такси остановилось у моста. Еще в окошко машины Надя увидела белоснежный трехпалубный теплоход и вмиг поняла гордость Андрея. Да, это не чета ободранному колесничку с гордым именем «Буревестник», на котором Андрей перевозил людей и арбузы. Позади, чуть поодаль, стояли еще два точно таких же теплохода.

— Какой наш? — спросила Надя.

— Флагманский.

Оглядевшись, Надя прочла надпись на борту ближнего теплохода — «Машук».

Шофер, высадив пассажиров, не сразу включил газ. Он посмотрел вслед удаляющейся паре, подумал о женщине: «Иша, фигуристая!» — и, высунув голову в открытое окошко, запоздало крикнул:

— Счастливого плавания!

2

**Н**очью Надю разбудили отрывистые команды в микрофон:

— На баке!

— Есть на баке!

— Вахтенные, встать у швартовых!

— Отдать швартовы!

Она узнала голос мужа, странно измененный микрофоном. Голос звучал близко, словно команды отдавались не с мостика, а здесь же, в каюте.

Спросонья она не поняла, в чем дело, и, лишь полежав с минуту с открытыми глазами, сообразила, что команды транслируются по радио.

Надя повернула регулятор. Радио было выключено, а команды звучали, как и прежде, близко и явственно. Должно быть, радист забыл выключить принудительную трансляцию.

Белесая ленинградская ночь мутнела за окном. Пора белых ночей еще не пришла сюда, было просто пасмурно и тихо в небе и на воде.

Надя снова легла, утонув головой в мягкой пуховой подушке, тоже немецкой, как и все на этом корабле. Она закрыла глаза и стала уже дремать, когда незнакомый мужской голос властно сказал:

— Аникин! Почему не выбираете якорь?

— Выбираем, выбираем! Заело что-то, не идет никак...

Ответ Андрея прозвучал виновато, как бы слегка заискивающее.

Очевидно, незнакомый голос принадлежал морскому капитану, командиру отряда Лучникову.

— Теряем время, Аникин,— жестко сказал тот же голос.— Всех на бак, выбирать якорь вручную!

— Есть всех на бак! — торопливо отозвался Андрей и вслед уже иным, капитанским тоном скомандовал: — Все на бак!

Надя поняла, что не унет. Она встала, оделась, подошла по каюте, привыкая к новому жилью. Трудно было даже сравнить капитанскую каюту на теплоходе, эти стены в коврах и зеркалах, с их каютой на «Буревестнике», где вместо белой, вделанной в ка-

фель ванны был железный рукомойник, а единственным украшением — цветы, которые Надя ставила в вазочки на столе. Здесь же на стенах висели картины в позолоченных рамках и под стеклом — пейзажи Германии, на круглом столике, застеленном плюшевой скатертью, стоял немецкий фарфоровый чайник, а в металлическом кольце у двери был укреплен хрустальный графин. От полированных деревянных стен сладковато пахло лаком, и Надя подумала вдруг: «Как будто живешь внутри палехской шкатулки».

Она еще не успела полюбить этот корабль и отдавала в душе предпочтение «Буревестнику», на который впервые ступила, став женой капитана. Там Андрей был главным, а здесь командаует этот Лучников. Правда, Андрей говорит, что Лучников только до Волгограда, но лучше бы его не было совсем...

Надя подошла к письменному столу. Здесь лежала отпечатанная на машинке «Судовая роль» — перечень фамилий и должностей. Список был длинный — моряков на корабле было почти столько же, сколько речников. Они, моряки, отвечали за проводку речных судов северным путем из Невы в Волгу, и поэтому их имена стояли впереди имен речников. И сам капитан Аникин шел третьим помощником.

Первой в списке стояла фамилия Лучникова. Был указан год рождения. Надя высчитала — сорок два года. Звание — капитан дальнего плавания. Занимаемая должность... «Подумаешь!» — презрительно вслух сказала Надя. Она уже знала от Андрея, что Лучников возражал против ее пребывания на «Машуке».

Надя бегло просмотрела список; все фамилии были незнакомы ей. Женщин, кроме нее, было только две — повариха и буфетчица, обе Марии Петровны.

На отдельном листке, подколотом к «Судовой роли», было отпечатано: «Пассажиры, находящиеся на борту теплохода «Машук»: Аникина Надежда Николаевна, год рождения тридцать первый, Прямков Федор Григорьевич, год рождения тысяча восемьсот девяносто пять».

Кто же этот Прямков?.. Ах, да!.. Андрей рассказывал, что с ними идет пенсионер, бывший речной капитан. «По воде соскучился,— сказал Андрей.— Из пароходства попросили: возьмите, мол, старика...»

«Как в пьесе, все роли расписаны,— подумала вдруг Надя.— Даже комический персонаж — речник-пенсионер и тот не забыт. Ну, а я? Какая роль у меня? Тоже не из главных. Жена третьего помощника. Скажите, какая честь!..»

Она набросила пальто и, мельком глянув на себя в зеркало, вышла из каюты. Ее обдало холодком серого утра. Перила были влажны. Перегнувшись через борт, Надя увидела серую, тяжелую, почти неподвижную воду спящей Невы.

Город на берегу тоже был тих и пустынен, и о том, что он жив и дышит, говорил лишь черный дым, валивший из ближней заводской трубы. Надя подумала: постой здесь теплоходы подольше, они вскоре закоптились бы и почернели, как все эти при заводских домах.

Она прошла по главной палубе вдоль правого борта и попыталась разглядеть, что происходит внизу, на первом деке. Но ничего не увидела. Спустившись по трапу на второй дек, она увидела Лучникова, вернее, его спину. Он стоял перегнувшись, глядя в воду, откуда должен был показаться якорь, и командовал в переговорную трубку машинному отделению:

— Подрабатывайте понемножку... Еще подрабатывайте... Так, хорошо. Самый малый!

Матросы, по шесть на каждой стороне, дружно налегали на ручки лебедок. Якорь глубоко вошел в

грунт. Наконец он поддался, поползла вверх цепь, за ней показались лапы самого якоря.

Лучников выпрямился. Он был выше среднего роста, худощав. Чисто выбритое лицо его было моложаво, только в морщинках у глаз да в капризном изломе губ чувствовалась усталость. Взгляд его скользнул по Наде, и она поняла, что он заметил ее, но не считает ее появление на палубе фактом, достойным внимания.

— Полный вперед! — скомандовал он в переговорную трубку и обратился к кому-то: — А вы здесь зачем? Это лишнее.

Ответа Надя не слышала. Но вскоре по трапу на второй дек грузно поднялся старик в черной кожаной куртке и черной кепке с пуговкой на макушке.

— Вытащили! — сказал он вместо приветствия.

Сизое морщинистое лицо его расплылось в приступной улыбке. «Так вот каков он, этот персонаж из пьесы», — подумала Надя. А старик, спохватившись, представился:

— Пряников, Федор Григорьевич, — и протянул ей горячую шершавую руку. — Иши, побежал, — сказал он, глядя на отдаляющийся берег, и, поискав в кармане, достал трубку. — Не обжились еще? Обживетесь! В дом новый переезжаешь, и то не все в момент. То воду не пустили, то газ не включен... А ведь это живая вещь, механизмы!..

Слово «механизм» произнес он смягченно, и Надя, педагог по профессии, сразу отметила это.

Мимо них прошли матросы, трое, почти мальчики, один за другим.

— Мы его, понимаешь, лебедками, — проводив их взглядом, опять возбужденно заговорил старик, — а он ни в какую... Уперся, и все тут...

Наде стало скучно.

Заметив вспух, что, пожалуй, можно пойти поспать, Надя поднялась на верхнюю палубу и прошла на корму. Отсюда виден был весь караван. Теплоходы еще не успели четко построиться, и поэтому были видны каждый в отдельности.

Вторым за «Машуком» следовал «Кольцов», дальше «Памир» и «Грибоедов».

Корабли шли, громко переговариваясь:

— На «Кольцове»!

— «Кольцов» слушает.

— Примите равнение согласно ордеру. Повторите, как поняли.

— Вас поняли.

Все три корабля светились огнями, и в сером, пасмурном свете было как-то уютно смотреть на эти огни. Незнакомый бас, отвечавший с «Кольцова», звучал, как голос самого корабля.

Мелко подрагивала крма под ногами. «Скорость набрал, узлов семнадцать», — подумала Надя. Она обошла палубу с подветренной стороны и вышла на бак.

Старик-пенсионер был тут. Увидев его, Надя смущилась: ведь она сказала ему, что идет спать. Но он, видимо, охваченный все тем же возбуждением, с улыбкой повернулся к ней уже полиловевшее от холода лицо.

— Вон, глядите, мост показался. — И протянул бинокль.

В биноклях Надя понимала не много, но сразу поняла, что это военный бинокль, цейсовский. На стеклах были нанесены деления. Поднеся его к глазам, она отчетливо увидела строгие контуры вздыбленного и как бы переломленного посередине моста.

Встречный ходовой ветер дул в лицо.

— А вы говорите: «Спать пойду», — сказал старик торжествующе. — Разве сейчас можно спать? Я знал: не уснете. Такое во сне не увидишь, как тут покажут...

И действительно, было красиво. То, что казалось пасмурным небом, стало уходить и таять, уступая место золотисто-розовому восходу. Берега были строги, силуэты разорванных мостов графически четки.

Старик и молодая женщина стояли, не шевелясь и не разговаривая. И хотя жизнь его была на исходе, а ее только начиналась, в эту минуту они были равно одарены красотой восходящего солнца и равно счастливы.

### 3

Ладога встретила корабли полным штилем. Это было редким для нее гостеприимством. Большой частью здесь штормит. Но в этот раз голубая вода озера была спокойна, как в чаше, налитой до краев. До самого горизонта на все стороны была только эта сияющая под солнцем голубизна. Белые корабли шли, согласно ордеру, друг за другом. Ветер трепал алье флаги на флагштоках. На «Кольцове» гремела музыка — немецкие джазовые пластинки. Во всем было ощущение праздника.

И когда позади Нади раздался голос Лучникова: «С праздником вас!», — Надя не сразу поняла, о чем речь. Лучников тронул рукой лакированный козырек фуражки и улыбнулся.

— Сегодня День Победы. Девятое мая! Забыли? Да, она совсем забыла об этом. Хлопоты, сборы, отъезд.

— С праздником!

Помолчали. Лучников достал папиросу, прикурил от зажигалки.

— Похоже на море, правда? — спросила она, кивнув на расстилавшуюся до горизонта голубизну.

— Ну, что вы! Просто большое озеро, — снисходительно улыбнулся он.

Когда он улыбался, зеленоватые глаза его вспыхивали лучиками на солнце. Сжатые губы были не капризны, скорей насмешливы. Лишь складка в уголках губ говорила о том, что он может быть недобрый, даже порой жестоким.

— Ощущение моря совсем иное. Важно не то, сколько воды ты способен схватить глазом. Главное — ощущение того пространства воды, что остается за пределами зрения. Моряк ощущает его. И потому озеро для него не похоже на море, а море — на озеро. Не знаю, понятно ли я говорю... — перебил он себя.

— Да, конечно.

Надя не узнавала Лучникова. Он был общителен, разговорчив. Совсем не похож на вчерашнего, скользнувшего по ней равнодушным взглядом.

Они стояли у борта на главной палубе, рядом с трапом, ведущим на ходовой мостик. Лучников — склоняя руками перила борта, Надя — кутаясь в серый пуховый платок. Руки его, как и лицо, были смуглого окрашены несходящим, словно прикипевшим загаром, который бывает у тех, кто проводит жизнь на воде.

Надя чувствовала себя стесненно. Она смущалась молчания и не знала, о чем с ним говорить. Вдобылок она еще помнила, что он возражал против ее приезда, и не простила ему этого. И еще — ей хотелось понравиться ему. Она сама не знала зачем. Просто так.

— Вот вы говорите, за пределами зрения, — сказала она тем милым, чуть важным тоном, который, она знала, такшел к ней. — Но ведь не только зрение, но и воображение человека имеет предел. Мы

все много сейчас говорим о космосе. Но разве мы представляем его себе? Мы знаем, что в мироздании есть бесчисленное множество систем, подобных солнечной. Так? Но попробуйте охватить их мозгом, внутренним зрением — и у вас только закружится голова...

Ей хотелось говорить умно. Хотелось, чтоб этот человек с твердыми, насмешливыми губами принимал ее всерьез. Она не понимала, что главное обаяние ее было именно в том, что ее рассуждения были по-женски наивны, а важность тона совмещалась с чуть кокетливым прищуром глаз, в которых трепетало солнце.

— У меня была подруга в детстве, — продолжала Надя. — Так она всегда спрашивала: «Ну, а это — солнце, звезды — в чем они?» Она не понимала таких слов, как «пустота», «бездонное пространство», «бесконечность»... Она спрашивала: «Ну, а там, где все кончается, все звездные миры, что там?» Понимаете? Она хотела найти конец бесконечности, к нечеловеческому она подходила с человеческой меркой...

Лучников слушал ее с тем особым, преувеличеным вниманием, с каким мужчина слушает рассуждения женщины, отдавая должное тому, что и ей «хочется порассуждать».

— Ваша милая подруга, — сказал он, мягко улыбаясь, — была подобна гусенице, которая за всю жизнь проползла только один сад и спрашивала у бабочки: «А там за забором что?» Бабочка отвечала ей: «Там еще сад». «А потом?» «А потом еще...» И тот, третий сад гусеница уже не могла воспринять своим бедным воображением... Но поверьте мне, что есть люди в наш век, настоящие учёные, которые сейчас уже могут увидеть внутренним зрением то, чего мы с вами не можем... Кстати, с чего мы начали этот космический разговор?

Они помолчали, вспоминая.

— С моряков, — подсказала Надя.

— Да, с воображения моряков. Так поверьте мне, что у моряков тоже иное представление о водном пространстве, чем у людей сухопутных. Или речников.

— Вы не любите речников.

— Ну что вы! Я просто отдаю предпочтение морякам.

С мостика по трапу спустился Андрей.

— Беседуете? — сказал он, подходя. — Простор-то какой! Море, да и только.

— Кто наверху? — вместо ответа спросил Лучников.

— Второй помощник.

— Хорошо идем.

— Так бы всю дорогу.

Они стояли рядом, и Надя невольно взглядела сравнила их. Андрей был моложе Лучникова лет на десять, и сейчас, когда на залитой солнцем палубе они стояли рядом, это резко бросалось в глаза. Андрей был и красивей Лучникова и молодцеват. И вообще Андрей был лучше. Он был ее мужем.

— Впервые на Ладоге? — спросил Лучников у Андрея.

— Впервые.

— Я здесь воевал. Недолго. Потом на севере, на Баренцовом...

— Жуткое дело здесь было? — полуспросил Андрей.

— Да, веселое дело! До сих пор мины вылавливают...

Надя слушала разговор мужчин. Платок упал ей на плечи, и ветер играл ее светлыми тонкими волосами. Она, не отрываясь, смотрела на воду, и глаза

ее пристально вглядывались в ласково журчащую, бочущую от теплохода волну, где до сих пор, подстерегая корабли, прячется смерть.

Ее мрачные мысли прервал голос Лучникова:

— Я приглашаю вас обоих в честь праздника побывать вместе со мной. Я просил Марию Петровну, буфетчицу, накрыть в салоне. — Он дотронулся до козырька и взглянул на Надю. — В двенадцать ноль-ноль жду...

Он поднялся по трапу в рубку, а Надя и Андрей еще походили по палубе, любуясь озером.

— И долго нам идти Ладожским? — спросила Надя.

— Под вечер войдем в Свири. Говорят, красавая река.

И вдруг спросил:

— О чём ты говорила с ним?

Надя вспомнила космический разговор, как назвал его Лучников, и улыбнулась. Рассказывать о нем было долго.

— Я сказала, что он не любит речников.

Андрей нахмурился. Когда он хмурился, светлые густые брови его смешно топорщились.

— Это ты зря. Теперь он подумает, что я тебе жаловался. А мне наплевать — любит, не любит. Я не красна девица...

Надя взглянула в озабоченное лицо Андрея и впервые после своего приезда испытала чувство раздражения.

— При чём тут ты? Я говорила то, что думаю.

— В общем, прошу тебя впредь не говорить с ним на эти темы. — Глаза Андрея упрямо посверкивали из-под светлых коротких ресниц. — Поняла?

— Ладно. — Надя примиренно улыбнулась. — Дашь мне темник, и я буду в него время от времени заглядывать.

Ей не хотелось скориться. Хотелось шалить, нахлобучить на глаза Андрею его форменную фуражку. Даже мины, темные таинственные тени войны, еще живущие в глубине этого чистого озера, не пугали ее больше.

В двенадцать ноль-ноль, прихватив с собой бутылку «Твиши», которую Андрей купил в Ленинграде, они постучали в дверь салона. Здесь было по-вечернему, горели лампы: стекла со стороны палубы были оббиты досками на случай шторма. Один из столов был накрыт на пять человек. Лучников и морской помощник (Надя вспомнила запись о нем в «Судовой роли»: капитан малого плавания Жук) были уже здесь. Знакомясь с Надей, Жук покраснел так сильно, как умеют краснеть только совсем молоденькие девушки. Это было заметно даже при неярком электрическом свете.

Мужчины дружно занялись откупориванием бутылок и обменом мнениями о том, какой способ лучше.

«Кто же будет пятым?» — подумала Надя. И увидела Прямкова. Старик вошел, ступая нерешительно, словно не зная, туда ли попал. Но вид у него был торжественный, из кармана черного пиджака торчал аккуратно сложенный вчетверо носовой платок ослепительной белизны. Жидкие, с сильной проседью волосы были смочены цветочным одеколоном и торчали на затылке, как после мытья.

— Вот и Федор Григорьевич, — сказал Лучников и обратился ко всем: — Можно садиться.

На столе стояли три бутылки: водка, коньяк и «Твиши». Лежала закуска: соленые огурцы, лимон, посыпанный сахаром, ветчина.

За стеклянной перегородкой буфетчица Мария Петровна уже хлопотала, разливая в тарелки суп. «С бараниной», — по запаху определила Надя.

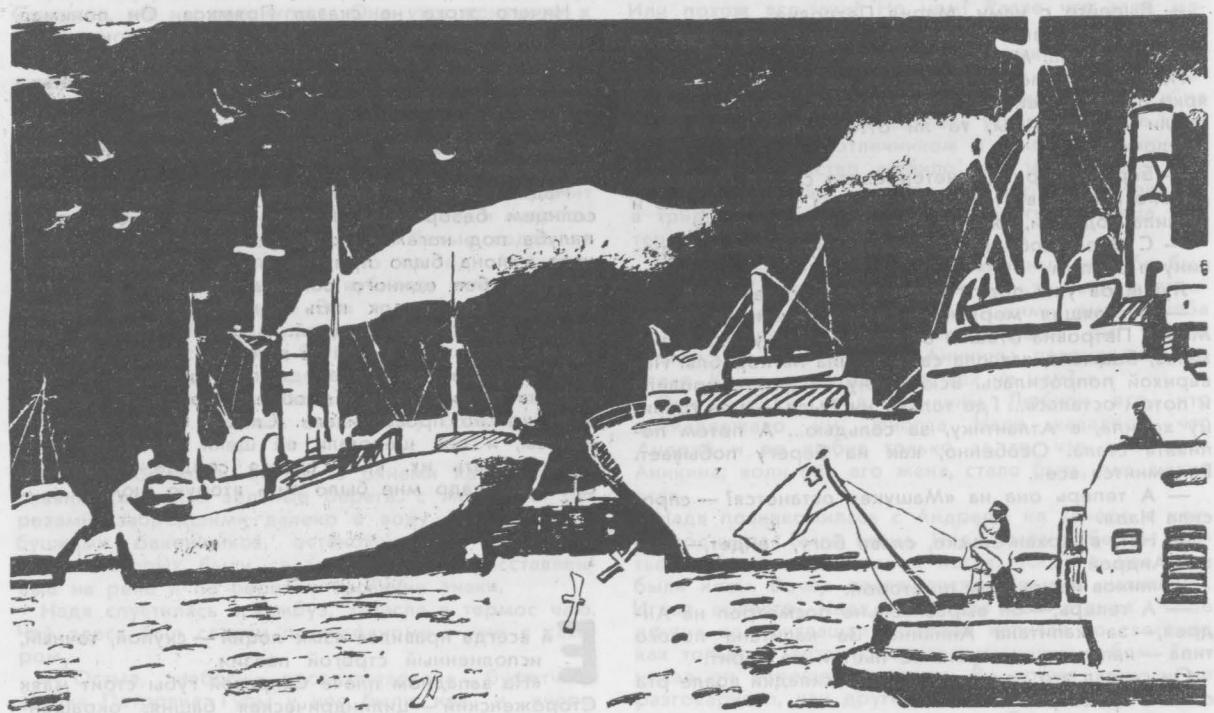


«Надя думала о Лучникове...» (Стр. 58.)



«Он облокотился на перила и стал смотреть на воду». (Стр. 61.)

«Мария Петровна купила целую корзину щук и окуней». (Стр. 62.)



«И снова идут корабли...» (Стр. 68.)

— Что будете пить? — спросил Лучников у старика.  
— Водочки, пожалуй, — подумав и делая вид, что колеблется, негромко произнес Прямков.  
— А вы? — Лучников повернулся к Андрею.  
— Я — только вино, — подчеркнуто сказал Андрей.  
— Что так? — удивился Лучников.  
— Не пью. Не курю и не пью.  
— А ради праздника? — Лучников испытующе посмотрел на него. — Немножко?..  
— Все равно. Закон.  
— Ну, что ж... Не будем сбивать человека с праведного пути. — Он налил водки себе, морскому помощнику и Прямкову и, наливая вина Андрею, спохватился: — Ну вот! Уже проштрафился. Надо было начинать с дамы...  
— Я не дама, — сказала Надя. — И сейчас я вам докажу это...  
— Что вам налить?  
— Водки.

— Вот молодцом! — похвалил Лучников. Наде показалось, что он даже повеселел.

Надя не любила водку. Но почему-то ей стало не приятно за отказ Андрея. «Нехорошо, когда человек намеренно хочет выделиться, отличить себя от других», — думала она. — Даже в хорошем».

— За победу, — сказал Лучников, поднимая рюмку. — Не знаю, как для кого, а для меня не было счастливей дня. Сколько не дожило до него из тех, кто заслужил дожить...

Он выпил не сразу: подержал рюмку в руке, глядя прямо перед собой. Потом все выпили, и Прямков закашлялся. На глазах у него навернулись слезы. Он вытащил из кармана платок, старательно отер их. Только Андрей еще цедил вино из рюмки, медленно, как бы смакуя. Он сидел рядом с Надей, Лучников и Жук — напротив них, Прямков — сбоку.

Буфетчица, выглянув из-за стеклянной перегородки, решила, что самое время подать суп.

Лучников и ей налил рюмку.

— Выпейте с нами, Мария Петровна.

— Ой, что вы, — жеманно ужаснулась она, — я водку не пью... Мне бы молочка.

На вид ей было лет пятьдесят, но губы она красила ярко. Голос у нее был надтреснутый, хрипловатый — то ли от простуды, то ли оттого, что часто пила «молочко».

— Берите, берите, — нетерпеливо сказал Лучников. Покосившись в сторону Нади, она заметила, что и та пила водку, и, уже не перечая, взяла рюмку.

— С Днем Победы! Доброго здоровья, — и опрокинула заплыв.

Лучников уже протягивал ей хлеб с ветчиной.

— Настоящая морячка, — сказал Лучников, когда Мария Петровна отошла от стола. — Как увило у нее мужа, боцмана, так она сама пошла на корабль. Поварихой попросилась. Всю войну на флоте провела и потом осталась... Где только ни была — и за границу ходила, в Атлантику, за сельдью... А потом поплавать стала. Особенно, как на берегу побывает. Вспомнится все...

— А теперь она на «Машуке» останется? — спросила Надя.

— Нет, в Архангельске, слава богу, сойдет, — сказал Андрей.

Лучников налил всем по второй.

— А теперь, — он выразительно посмотрел на Андрея, — за капитана Аникина. За капитана нового типа — капитана, который не пьет и не курит.

Он сказал это серьезно, только складки возле рта обозначились резче.

— Сколько вам было лет, Андрей Иванович, в сорок пятом?

— Шестнадцать, — сказал Андрей.

— Мальчишка. — Глаза Лучникова потеплели.

Надя смотрела на него, на его темные густые, ежиком, волосы, на красный след от фуражки на лбу. Она подумала, что сейчас он и ей задаст тот же вопрос, и ей захотелось прибавить себе года, чтобы не ранить Лучникова еще раз. Чутьем она поняла, каким немолодым ощущил он себя сейчас. Именно немолодым, а это страшней, чем старым. Старый — уже сдался. Немолодой — еще хочет жить полной жизнью, наравне с молодыми. И если старым становишься постепенно, то немолодым — всегда вдруг.

И все же Надя была только женщиной и на вопрос Лучникова ответила честно:

— Четырнадцать.

В сорок пятом ей было четырнадцать. Она ходила в седьмой класс. Тетрадки, отметки, мальчики, кино — вот был ее мир, мир школьницы, девчонки. А он в сорок пятом уже испытал все главное в своей жизни: любовь, войну, смерть близких, победу, женитьбу...

— В сорок пятом я служил матросом на Балтике, — сказал Жук и опять покраснел. Это были его первые слова за время обеда.

— А я капитаном на «Богатыре», — негромко произнес старики.

Он хотел рассказать, что «Богатырь» был лучшим пароходом из тех, что ходили по маршруту «Москва — Касимов — Горкий», и что это был последний пароход, на котором он ходил капитаном. Но не сказал: боялся, что опять запершил в горле и придется доставать платок, как тогда, когда пили первый тост за победу и Лучников вспомнил о тех, кто не дожил... Прямков до сих пор не мог смириться с гибеллю сына, Петьки. Это был его лучший сын. Так казалось ему теперь. И хотя у него осталось еще трое — два сына и дочь, — он говорил про них: «Хорошие ребята, но не то...»

Ничего этого не сказал Прямков. Он понимал, что ему оказали честь, как бывшему капитану, спасти День Победы среди капитанов. Он был рад этой чести, но не хотел ею злоупотреблять и занимать внимание всех своей персоной.

После обеда вышли на палубу. Лучников, Жук и Андрей поднялись в рубку. Прямков отправился вздремнуть.

Надя стояла у борта. Все так же сверкала под солнцем безбрежная Ладога, упруго вибрировала палуба под ногами. После по-вечернему освещенного салона было приятно обрести солнце, голубое, без единого облачка, весеннее небо над головой. Сто сорок пять километров по Ладожскому. Так сказал Андрей. Андрей!.. Как он иногда не чувствует... Но ей не хотелось думать об этом. Она запрокинула голову, зажмурив глаза, и подставила лицо солнцу. Ее обдало приятным теплом, веки красно просвещивали. Слабый ветер шевелил волосы, и они щекотали ей щеки, шею, но лень было убрать их. «Как бьется сердце, — подумала она. — Не надо мне было пить вторую рюмку».

**E**й всегда нравился язык лоций — скромный, исполненный строгой поэзии.  
«На западном плече Свирской губы стоит маяк Стороженский — цилиндрическая башня, окрашенная белыми и красными горизонтальными полосами. Маяк имеет четыре сектора освещения — зеле-

ный, красный, белый, красный. Оба красные сектора ограждают опасные районы плавания, зеленый — отбивает береговую полосу. Маяк имеет туманный сигнал — шесть ударов колокола в минуту»...

Корабли вошли в Свири под вечер. Уже осталась позади озаренная заходящим солнцем Свирица — деревянный поселок на сваях с улицами-реками и улочками-речонками, по которым сейчас, в весенний разлив, и к соседям за солью не доберешься иначе, как на лодке. С избами, из окон которых, кажется, можно ловить рыбу.

В Свирице меняли лоцмана.

Сошел высокий сутуловатый моряк-балтиец, со провождавший отряд по Неве и Ладожскому озеру. Катер «Севрюга», доставив на «Машук» нового лоцмана, рыжеусого старика в ватнике и с узелком, принял на борт балтийца с шевронами на рукаве кителя и «крабом» на фуражке.

Надя не была знакома с ним. Разва два видела, как он проходил по палубе, поднимался в рубку. Но теперь, глядя, как он удаляется на катере, стоя неподвижно и не отрывая глаз от корабля, она испытала щемящее чувство грусти. Она думала о быстротечных встречах и долгих разлуках всех этих людей, связанных общим делом. А может быть, ей просто передалось то, что чувствовал сутуловатый балтиец, уже переставший быть частью «Машука», частью их общей жизни.

Солнце зашло, но вода, оттененная берегами, была светла. В ней отражалась нежная майская зелень леса. Перевернутые березы и елки уходили вершинами в глубь речного зеркала и от этого выглядели вдвое выше. Надя уже спала, когда прошли Свирскую ГЭС. Потом стояли у семафорного моста и ждали рассвета.

На кораблях спят мало. Надя слышала сквозь сон, как выбирали якорь, слышала, как гремят по палубе торопливые шаги вахтенных матросов. Слышала, но не проснулась. Она уже привыкла к своему новому плавучему дому и начинала любить его. Что значит любить? Не значит ли это отличать от всех, отдавать предпочтение одному перед другими? Надя полюбила «Машук», и теперь ей уже не казалось, как раньше, что те три идущих позади теплохода хоть чем-то похожи на флагмана. Нет, те корабли были совсем другие. Наде казалось, что и гудок на «Машуке» звучит приятнее, и что «Машук» более окрашен, и матросы на нем проворней. Ей нравились белые ведра на корме — на каждом нарисовано по одной букве, из которых, как из детских кубиков, складывалось имя корабля — «Машук». Это имя было везде — на белом мотоботе, укрепленном на корме, и на деревянных спасательных ботиках, обнесенных веревкой, с надписью на каждом: «Машук», 8 человек. В случае аварии их сбрасывают за борт, и восемь человек могут, держась за веревку ботика, ждать помощи.

Надя проснулась, когда за окнами каюты вновь плавно двигались зеленые берега, с мертвыми березами, забредшими далеко в воду, с тихими избушками бакенщиков, остановочными пунктами, возле которых были свалены еще не расставленные на реке и по берегам весенние знаки.

Надя спустилась в камбуз, запасла в термос чаю. Чай здесь был сварен по-походному — уже с сахром.

— Остыл, небось, — посочувствовала буфетчица Мария Петровна. Губы у нее были, как и вчера, ярко накрашены, на голове франтовато повязана шелковая косынка. Она уже хлопотала, накрываая

столы к обеду. — Заварка? Запарка это, а не заварка. Веник пареный. Если бы таким чаем наших флотских поила, они бы меня на берег в два счета списали...

Она говорила громко, чтобы услышала другая Мария Петровна, повариха. И та действительно услышала, вышла, уперла руки в бока:

— Здрасте! (Это не значило, что она здоровается с Надей.) Чай ей нехорош. Ну, какой же тебе еще чай?.. Я в него и соды чуток положила для цвету!..

Это была маленькая, толстенькая женщина с волосами, неопрятно торчавшими из-под белой косынки.

— Иди уж, иди, — ворчливо махнула рукой Мария Петровна. — Ступай, варя свой швайку. Люди в плавании, в экспедиции, а она масла жалеет...

Мария Петровна подождала, пока ее тезка скрылась за дверью кухни, и негромко, уже для одной Нади, сказала:

— Так вот и лаемся весь день. Верите? Две бабы у одной плиты — добра не будет. Она свое зелье наварит, а мне людям на стол совестно подавать... Чудеса!

Она принялась ловко и споро резать хлеб и вдруг, остановившись, спросила:

— И давно вы замужем? Ой, а я-то думала, молодожены... С Иваном-то Петровичем ладите?

Надя вздрогнула от неожиданности. Мария Петровна назвала имя ее свекра.

— Вы его знаете?

— Спросите, кого я не знаю. — Она самодовольно усмехнулась. — Чай, не первый год плаваю... А Иван Петрович на пенсии, что ли, вышел? Ну и ваш на него похож. Вылитый батыка.

Надя не любила свекра, и слова о том, что Андрей на него похож, неприятно задели ее.

Весь день она невольно вспоминала их и, поглядывая издали на Андрея, думала: «Нет, не похож. Или похож все-таки? Но чем? Разве что этой манерой хмурить белесые брови да говорить о себе: «Я человек такой», «Мое правило такое»... — не ожидая, пока это скажут о нем другие. Сознание своей непогрешимости твердо жило в нем, и на самом деле все как бы взялось утвердить его в этом мнении. Он был отличником в школе и потом в училище. Начальство любило его, награждало грамотами, в газетах печатали его портреты. Наконец в тридцать лет ему доверили такого красавца, как теплоход «Машук».

Таким же непогрешимым, уверенным в себе был и свекор. Казалось, ничем уже нельзя было растроить, удивить этого человека. Сними ему с неба луну и повесь на грудь, как медаль, он только скажет: «Ну, что ж... Мы, Аникины, потрудились не плохо. Кому ж и носить ее, как не нам?..»

Они любили себя, Аникины. Любили все, что принадлежало им. Иногда Наде казалось, что Андрей и ее любит только за то, что она жена Аникина; коли она его жена, стало быть, она лучше всех.

Надя познакомилась с Андреем на вечере в клубе водников. Была весна. Надя была в белом платье, с белыми лентами в косах. Тогда у нее еще были косы. Вечер посвящался открытию навигации. Играли оркестр. Надя танцевала без отдыха. Чаще других ее приглашал молодой капитан со светлым, как только у детей бывает, пшеничным чубом. Танцевал он хорошо, уверенно. Во время танца не разговаривал, как другие, и что бы Надя ни сказала, отвечал ей одним словом: «Точно».

«Мильный, — думала Надя. — Славный...»

Потом он проводил ее домой. Вечер был тихий, светлый. Цвела сирень в палисадах.

— Надя,— сказал он,— давайте встречаться.

И они стали встречаться. Ходили на танцы, в клуб водников. В кино. Катались по реке.

Соседи говорили:

— Интересный парень. Ты его, Надя, не упускай. Мать говорила:

— Зятек пришел,— и бежала открывать дверь. Подруги говорили:

— Надь, он всерьез или так, время провести?

— На свадьбу-то позови!

— А между прочим, из вас хорошая пара получится.

Однажды он сказал:

— Я человек такой: что задумал, обязательно добьюсь. Так зачем волынить? Светлые волосы, взгляд острый, упрямый.

К чему волынить?

Андрей нравился ей. Было любопытно представить себя замужней женщиной, женой. Примерять его фамилию: Аникина. Надежда Аникина. Аникина Надежда Николаевна...

Вскоре они поженились, и она на самом деле стала Аникиной.

День был голубой, ясный. Но воду рябил ветер. Он дул с севера, и навстречу ему неуклонно двигался караван белых кораблей.

Давно остался позади маяк, упомянутый в лоции, острова и поселки с певучими финскими названиями — Янега, Валдома. Миновали семафорный мост.

«По левому берегу — «Поцелуй», — прочла Надя в лоции и выбежала на палубу посмотреть поселок с любопытным названием.

Поселок был мал, среди приземистых домов выделялось бревенчатое здание школы с голубой табличкой на фасаде, повернутом к реке. Школа стояла так близко к воде, что слышно было, как звенит звонок. И сейчас же в каждом окне появились ребяччьи головы.

Дети громко кричали, махали руками, приветствуя проходящие корабли. Надя помахала в ответ. Прямков — он с раннего утра на палубе — достал свой белый платок и, высококо подняв руку, стал медично размахивать им.

— «Поцелуй», — задумчиво повторила Надя, когда поселок исчез из глаз, — интересное название...

— Видать, встречные корабли в тумане шли, ну и поцеловались, — объяснил ей Прямков.

Но ей не понравилось такое объяснение. Ей виделись двое, очень молодые и счастливые. Здесь он поцеловал ее впервые. Здесь, где так чисто, свежо пахнет рекой и сосновым лесом...

— Рано. Рано идем, — сказал старик, переминаясь. Видимо, у него замерзли ноги. — На Онежском пеш...

— Радиограмма получена?

— Зачем мне радиограмма? Вот, смотрите... — Он набрал воздух в легкие, и, когда выдохнул, Надя отчетливо увидела струйку морозного пара.

— Чуете? — торжествующе спросил он. — Арктика дышит.

Опять прошли мимо маленькой деревушки в деревнях дворов.

Сразу за домами начиналось поле — его легко охватывал глаз, — небольшое поле, отвоеванное человеком у леса.

И снова лес, лес...

И вдруг по правому борту возник город. Он возник, как видение, с окнами, горящими в

отблесках заката, с новеньkim Дворцом культуры, на горке. По одной из его улиц лихо бежал автобус — не какая-нибудь провинциальная «коробочка», а заправский красно-желтый «ЗИЛ».

— Что это? — удивилась Надя. — Какой-то город...

— Да, город, — подтвердил Прямков. — Глухое лесное селеньице было. И вот, пожалуйста.

Город был невелик.

Вскоре он скрылся из глаз, и вновь потянулся бесконечный лес.

Они стояли на главной палубе у правого борта, когда мимо них прошагал кудрявый радист с радиограммой.

Он по-кошачьи легко взбежал по трапу на ходовой мостик и вскоре спустился, пошел назад, к себе в рубку, настыивая и машинально постукивая себя карандашом по руке, повторяя свой профессиональный жест — работу ключом.

На мостике появился Лучников.

В руке у него был листок, принесенный радиостом.

Со вчерашнего дня Надя его не видела. Она хотела поздороваться, но он скользнул по ней тем равнодушным, невидящим взглядом, как в тот раз, на рассвете, когда заело якорь.

Папироса была зла закусана в углу рта, листок радиограммы в его руке трепал ветер.

— Здравствуйте, — все же сказала Надя. — Что там сообщают?

Он не сразу, с усилием оторвал взгляд от листка и взглянул на нее отрешенно, словно не узнавая.

— Что сообщают, — повторил он, как бы пытаясь понять, кто эта женщина и чего она хочет от него. И, поняв наконец, ответил: — Лед. Вот что сообщают. На Онежском лед, на Белом лед, а на Сухоне вода падает.

— Как же быть? — спросила Надя. — Неужели будем стоять?

Он передвинул папиросу в другой угол рта, поправил фуражку.

— Пойдем. Если ледовая обстановка позволит... Аникин! — позвал он. Из рубки на мостик вышел Андрей. — Мачту надо «срубить». Скоро провода.

— А разговор с Москвой? У радиста связь налажена.

— Переиграем разговор. Не рвать же радиопроводку. И передайте, чтоб на «Кольцове» не звали.

— Есть передать! — отчеканил Андрей.

И уже звучали над водой голоса:

— На «Кольцове»!

— «Кольцов» слушает.

— Командир отряда напоминает: впереди провода, не забудьте «срубить» мачту. Повторите, как поняли...

— Понято, понято, — басил «Кольцов». — Есть «срубить» мачту!

— Вот видите, на Онежском лед, — сказал Прямков, когда Лучников и Андрей скрылись в рубке. — Выходит, мое радио тоже справно работает.

Надя думала о Лучникове. Она вдруг поняла, что этот человек никогда не забудет о своей работе; даже рядом с любимой женщиной он будет думать о всех этих ледовых обстановках, об уровне воды, количестве узлов...

«Бедная его жена», — думала Надя. И чувствовала, как эта женщина, его жена, будь она здесь, полюбила бы его еще сильней.

Матросы уже положили мачту, когда за поворотом реки показались тонкие, как нити осенней паутины, провода, и корабль осторожно прошел под ними, не повредив радиолинии.

**П**оздним вечером караван пришел в Вознесенье — портовый поселок на Онежском озере. Мерцали, отражаясь в воде, огоньки свайных построек. Улочки были темны, пересечены каналами с разводными понтонными мостками. С приходом кораблей поселок оживился, словно проснулся от спячки. Матросы ушли на базу за хлебом. Они вернулись с мешками, полными свежих буханок, и опять ушли, на этот раз уже с гармошкой. Звуки гармошки долго звучали, затихая, в темноте улиц.

Надя ждала Андрея. Он вместе с Лучниковым ушел на берег в диспетчерскую выяснить обстановку.

Вечер был свежий, но безветренный, и приятно было стоять на палубе, смотреть на мерцающие огни, думать о незнакомой жизни поселка. Темнота делала ее еще таинственней и незнакомей. Пахло сыростью, свежей рыбой и почему-то мокрым тесом, — наверно, от новенькой пристани, к которой пришвартовался «Машук».

— Скучаете? — К Наде подошла буфетчица. — Что ж на берег не пошли? Я и то хотела сходить, молочка купить... Страсть как люблю молочек! А потом, думаю, темно, и не вынесет никто... Я его в войну привыкла пить, когда донором была. Нам дополнительно на карточку давали... Всю войну кровь сдавала, и потом еще лет пять. А теперь не могу... — Помолчав, добавила: — Здоровье не позволяет...

— И нравится вам на воде? — спросила Надя больше из желания быть любезной.

— Привычка. — Мария Петровна наставила воротник пальто. — Вот вы летом плаваете, а зимой... работаете где-нибудь? — в свою очередь, спросила она.

— В школе.

— Какой предмет?

— География.

— Ну, что же... Географию надо знать, — одобрила она. — А то как я... Кильским шла в первый раз. Думаю, где ж он, Кильский такой? От кильки, что ли, происходит?

Она хрипловато засмеялась, достала папиросу из пачки.

— Вот вы с нами на севере побываете и ребятам потом все доложите...

Они прошли вдоль палубы на корму. Корабли загляли бортовые огни, на «Кольцове» заиграла джазовая музыка.

— Хорошо сейчас на берегу, — мечтательно сказала Мария Петровна. — Погуляют наши матросики. Раньше я тоже погулять любила... — Она чиркнула спичкой, и быстрый огонь на миг осветил ее обветренное, морщинистое лицо. — Вам, наверно, не верится, — сказала она, перехватив взгляд Нади. — Но было так. Жизнь, дорогуша, ломает человека... Овдовела я рано. Гришу своего я любила, не гуляла от него ни с кем. А как убили его... Семнадцатого июня сорок второго года... Так и пошло... А теперь, кроме Гриши, и не вспомню никого, как их и не было.

Она помолчала, изредка затягиваясь, и вдруг с живостью обернулась к Наде.

— А вот я вам скажу. Есть такие, что их жизнь ломает, а они не ломаются... Вот я вам историю расскажу. Про нашего командира отряда. Про Лучникова, Сергея Николаича. Говорят, передвойной он в Архангельске служил. Недолго. Может, год или два... И была там одна женщина, хирург. Полюбил он ее страшно, и она его тоже. А потом война, он на севере воевал, она тоже на фронт ушла... Ну, и растерялись. И вот, представьте, сколько прошло лет, а он все надеется ее встретить. Как идет этим

маршрутом, на Архангельск, волнуется, друзей в Архангельском пароходстве расспрашивает: «Ну как, мол, ничего про нее не узнали?» И опять просит: «Найдите мне ее...» А разве найдешь? Может, ее на фронте убило. Или замужем, фамилию сменила.

Мария Петровна бросила папиросу за борт.

— Вот какая история, дорогуша... Лет-то сколько прошло, а он все любит. А ведь всего и было у них, что повздыхали. Ну, может, поцеловались разок. А ничего такого платонического про меж ними, говорят, и не было!

— Что ж он... Так и не женился? — с невольным волнением спросила Надя.

— Почему не женился! Жениться — дело нехитрое. Пожил с одной. Худо, говорят, жили. Ну, и разошлись. Может, сам виноват. Характером он очень тяжелый. А может, и она... Гриша мой так говорил: женой моряка не становятся, а родятся...

Надя смотрела на огни поселка. К ним не шла джазовая немецкая мелодия, долетавшая с «Кольцова». Поселок был такой северный, русский. Иной музыки просила Надина душа — печальной и светлой, как ее мысли о жизни. «Ее убили на фронте, — подумала она вдруг с уверенностью о незнакомой женщине. — Она не могла разлюбить его. Потому что... ее нельзя разлюбить...»

Она была уже у себя в каюте и лежала с книжкой, когда вернулся Андрей. Он был не в духе.

— Что случилось? — спросила она.

— К черту! — вместо ответа буркнул Андрей.

Он стал расстегивать китель.

— Спи, — сказал он. — Почему ты не спишь?

— Хочу понять, что с тобой...

— Со мной ничего. Просто он мне надоел. Понимаешь? Надоел!

— Кто?

— Твой Лучников.

— Почему мой? — Надя удивленно подняла брови.

Андрей не ответил. Он лег с размаху, и кровать жалобно скрипнула под ним.

— Спать, спать, — повторил он строго. — Через два часа снимаемся, тогда не поспишь...

— А как же лед?

— Что нам лед? — И добавил: — Ледокол заказали...

— Он уже здесь?

— Нет, в Повенце. Пойдет нам навстречу.

— Когда же мы встретимся? На польдороге?

— Примерно...

Ей стало жаль «Машука», И Андрея.

— А подождать нельзя?

— Лучников не желает. Андрей зло усмехнулся. — Ему что? Сойдет на Соколе, махнет в Вологду — и на скорый в Ленинград... А мне на «Машуке» плавать. Я его новеньkim получил, с иголочки...

Андрей не мог рассказать Наде о стычке в диспетчерской, где Лучников при всех назвал его мальчишкой. А за что? За то, что Андрей жалел свой корабль и не хотел выходить из Вознесенья без педокола. Впрочем, теперь он больше думал о себе, о нанесенной обиде. Он мечтал о том, как по прибытии на Волгу напишет жалобу на Лучникова, и уже складывались первые фразы...

— Ничего... Я его научу меня уважать! — только и сказал он вслух.

Надя долго не спала. Лежала, глядя в темноту... «Твой Лучников!» Почему Андрей сказал так? Неужели он почувствовал что-то? Да и что он может почувствовать? Ничего нет...

Вот он обидел Андрея. И Надя уже готова броситься на него, защищать мужа, даже если он не прав.

«Если он не прав», — повторила она мысленно. Ей вспомнился Лучников на мостице с радиограммой в руке, его отрешенный, углубленный в себя взгляд.

Романтическая история, рассказанная буфетчицей, показалась ей сейчас вымышенной.

Надя проснулась, словно кто-то толкнул в бок. Она была одна в каюте. За плотно занавешенной шторой окна то нарастал, то затихал глухой, скрежещущий шум. Казалось, там бушует буря. Но, странно, корабль не качало, лишь короткие толчки сотрясали каюту. Надя босиком подбежала к окну, отодвинула штору и зажмурилась от яркого света. До самого горизонта сверкал, искрился на солнце белый лед. Теплоход двигался медленно, почти ползком, врезался в лед и раздвигал его корпусом, вызывая странный скрежещущий шорох. В медленности его движения, в коротких толчках — ударах льдин было что-то угрожающее, тревожное. И все же нельзя было оторвать глаз от сияющего под солнцем льда.

Надя быстро оделась, повязалась платком и вышла на палубу. Здесь было пустынно, безмолвно. Только скрежет корабля о лед стал явственней. Казалось, все на корабле замерло, фледенело, как и на сотни верст вокруг. Но она знала, что это лишь кажется. Там, в рубке, сейчас все напряжено до предела, четкие команды ежеминутно поступают по машинному телеграфу вниз, в машинное отделение. За спиной штурвального, глядываясь в сияющую белизну, стоят командир стряда кораблей и третий помощник. И каждый раз, когда с новой силой возникает скрежет льда о борт корабля, сердце капитана «Машука» обливается кровью. А Лучников, что чувствует он сейчас?.. Жалеет о принятом решении или уверенno смотрит вперед, навстречу ледяной пустыне?..

Медленно, один за другим, ползут во льду речные теплоходы. «Кольцову» легче: «Машук» прокладывает ему дорожку.

Обогнув палубу, Надя лицом к лицу столкнулась с Прямковым. Старик, невзирая на холод, нес свою добровольную вахту. Воротник его пальто был поднят, кепка с пуговкой на макушке нахлобучена по самые глаза.

— Что делается! — сказал он, с трудом шевеля псиневшими губами. В голосе его слышалась гордость. — Сорок лет капитанил. Осенью, чуть первые белые муhi полетят, — команда стоп. Убираем пристани: конец навигации... А тут, понимаешь, во льдах идем, как папанинцы какие-нибудь! Ей-богу!

— Как бы на льдину не пришлось высадиться, тогда будем настоящие папанинцы! — заметила Надя.

Ей было и жутко и весело ползти на речном теплоходе среди сияния льдов.

Близился обеденный час, но в рубке словно забыли о нем. Теплоход лихорадило. Иногда он не в силах был разрезать льдину и вплзжал на нее брюхом, подминая ее своей тяжестью.

— Сантиметров восемьдесят будет, — определял в этом случае толщину льдины Прямков.

Он посерезнел. Видимо, и ему не улыбалась перспектива стать настоящим папанинцем.

И вдруг все кончилось. Теплоход уже не полз, а шел, под килем его был не твердый лед, а вода.

Радист отнес в рубку радиограмму: «Путь Север открыт. Км. ледокола «Лена» Сомов».

Открыв каравану путь во льдах, ледокол ушел назад в Повенец и двигался теперь где-то впереди. Его не было видно, сколько ни смотрели по очереди в бинокль Прямков и Надя. Конечно, ведь во льдах оншел намного быстрей «Машука».

Теперь сломанный ледоколом лед только легко потрескивал, уступая «Машуку» дорогу. Солнце пригревало, и льдины, подтаивая, вели между собой ве-

сенний разговор. Как ни странно, к северу льда становилось все меньше, пошло черноледье — лед, захлестнутый водой. По такому льду идти легко: он повторяет движение волн, так тонок. По сути, это уже не лед, а зора от него. Лед, истлевший на солнце.

Андрей пришел обедать, когда показались онежские острова с темными елями, с голыми осинами и березами. Здесь была ранняя весна.

— Через два часа Повенец, — сказал он.

— Краску ободрали?

— Краска что! Винты погнули... Ремонта недели на две... Ладно хоть руль цел. Я, признаюсь, думал:ломаем.

— А все же красиво было, — вздохнула Надя.

Она чувствовала, что и Андрей считает, что в общем легко отдалась, но не хочет сознаться. Ремонт на две недели — не задача. Все корабли после перегона ремонтируют. По графику «Машук» должен взять первых пассажиров-туристов через месяц. Значит, время есть.

Надя представила вдруг, как все три дека теплохода наполняются людьми, толпящимися у перил, будут щелкать фотоаппараты, смеяться женщины в ярких платьях. Салоны, сейчас еще молчаливые, обитые снаружи досками на случай шторма, будут полны света и музыки. Из ресторана понесется запах горячих блюд, изготовленных не Марией Петровной — кашеваркой, а настоящим коком. Их будут доставлять снизу, из камбуза, в сервировочную на специальных лифтах. На корме расставят пестрые шезлонги — сейчас они еще в конвертвке, — в них будут загорать туристы под волжским солнцем.

И никто из этих людей не будет знать о том, какой путь проделал «Машук», прорыгаясь во льдах...

Ледокол «Лена» появился уже на рейде Повенца. Он казался таким маленьким рядом с громадиной «Машука», но стальной корпус его выглядел уверенно, и все с уважением, хотя и сверху вниз, поглядывали на него.

— Подойдите к «Машуку» с левого борта, — скомандовал в микрофон Лучников.

Все начальство ледокола, задрав головы, стояло на палубе. Пожилой капитан в черной морской шинели — Сомов — поднес руку к козырьку, приветствуя Лучникова. Красное, обветренное лицо его сияло.

Лучников отвечал на приветствие, стоя на мостице.

Надя ожидала увидеть его усталым. Но зеленоватые глаза его были веселы, а сам он выглядел свежо и молодо. Золотая кокарда на фуражке поблескивала в лучах заходящего солнца. Скупые жесты приветствия были энергичны, исполнены скрытой радости. Легко сбегая с ходового мостика, он вдруг по-мальчишески подмигнул Наде, на ходу спросил:

— Натерпелись страха?

И по этой фразе Надя поняла, что больше всех «натерпелся страха» он сам, командир отряда. Неведение — верный способ быть храбрым. Он знал все и, зная, шел на риск, необходимый во имя дела. Теперь Надя не сомневалась в этом.

**Н**аверно, и в этих краях бывают серые, ненастные дни, с затяжными дождями, с промозглой сыростью. Но сейчас север словно решил показать себя с лучшей стороны: за всю дорогу от Ленинграда ни одного пасмурного дня, ни одного дождя.

Надя чувствовала, что ей на всю жизнь запомнил стоянка в Повенце в ожидании лоцманов. Красное

солнце прячется за верхушки елей. На островах хлопают одинокие выстрелы: должно быть, браконьеры стреляют уток. Лед, тонкий, черный, при заходящем солнце кажется бронзово-зеленым. Иглистые льдинки со звоном тают, сталкиваются, тонут.

В поселке топят печи, и лиловатые в закате дымы тянутся вверх, сливаясь в одну туманную дымку вдали над островами.

На кораблях зажглись огни. В голубом свете северного вечера они горели умиротворенно, чуть пепельно. Отсюда, с «Машук», было видно, как обтерлась наружная краска с белых бортов «Кольцова». «А ведь оншел вторым,— подумала Надя.— Наверно, у нас еще хуже...»

Матросы запаслись онежской водой — самой чистой водой на всем пути. В качестве лоцмана на флагман прибыл капитан-наставник. Он опоздал и подоспел к тому времени, когда «Машук» уже вошел в первый шлюз Беломорского канала. Радист включил принудительную трансляцию, и команды с мостика были слышны на всем корабле. Рулевым у кнопочного штурвала встал сам Андрей. Входили осторожно: ширина «Машука» почти соответствовала ширине шлюза. На шлюзе дежурили две рослые молодые женщины в ватниках и сапогах. Они ловко поймали концы и, перегнувшись вниз, озабоченно следили за тем, как поднимается впритир к серым сырьим стенкам первого шлюза белая громадина.

— Поаккуратней проходите, — сурово сказала одна, когда вода подняла теплоход из глубины шлюза. — Перила новые. Хоть бы постояли...

Рядом с ней, со сдержанным интересом разглядывая корабль, стояла жена капитана-наставника, пришедшая проводить его. Надя видела, как они пощупались за руку. Жена капитана-наставника была в бежевых модельных туфлях и сером китайском габардиновом плаще. А лицо у нее было такое же, как и у дежурной на шлюзе, — хмурое, обветренное. И они обе с одинаковым выражением смотрели на Надю, должно быть, видели в ней, единственной пассажирке белого красавца теплохода, горожанку, женщину, живущую совсем иной жизнью, не похожей на однообразную жизнь на шлюзе.

Отдали швартовы, и дежурная заправила в пакет русую, почти белую прядку.

Лучников сказал ей:

— Спасибо вам! — и сделал жест, как будто жмет руку. — Счастливо оставаться!

— Счастливого плавания! — ответила дежурная серьезно и доброжелательно.

Всю ночь теплоходы карабкались из шлюза в шлюз по ступеням Повенецкой лестницы. Отряду предстояло пройти девятнадцать шлюзов для того, чтобы выйти в Белое море. Негромкие команды, потрескивание бортов в узких местах, журчание воды по стенкам шлюза...

Суровые места лежали вокруг: серый гранит, валуны, осины, еще голые, с позеленевшими стволами.

А люди уже пахали на отвоеванных у болот и камня клочках земли. Но и здесь, среди пашни, лежали серые глыбы, которые только и можно опахать кругом, а сдвинуть с места нельзя. Высоко на скалистых холмах стояли темные кресты и обелиски с красными звездочками.

— Вы еще, поди, девчонкой были, когда этот канал строили, — сказал Пряников. — Техника тогда какая была, а условия тяжелые — болота, камень...

— Говорят, его строили заключенные? — спросила Надя.

Старик помолчал, вздохнул.

— Заключенные — тоже люди... — Он закурил, от-

махнул дымом от Надиного лица. — Одна из первых, понимаешь, попытка была исправить преступников через труд...

— Ну и как? Исправились?

— Многие исправились. И памятник себе добрый поставили, — заключил он, имея в виду канал.

С утра пошли озера и водохранилища с каменными, скалистыми островками. На островках елки, осины. Голубую воду чуть рябило. В небе кружились чайки.

Надя взяла книгу и отправилась на корму. Там было тепло, безветренно. Она села на спасательный ботик, разулась. Ноги были слишком белы после зимы. «Пусть загорают», — решила Надя и взялась за чтение, с удовольствием ощущая, как по ногам струится солнечное тепло.

Прочитав странички две, она закрыла книгу. Не читалось. Чайки скрипуче кричали в вышине. По каналу иди иди, весь день и опять всю ночь. Ей стало скучно. За зиму она очень устала: был ответственный год, девятиклассники. Ей казалось тогда, что она будет отдыхать с радостью и долго не сможет насытиться отдыхом. Но вот прошло чуть больше недели, а она уже тяготится бездельем. Правда, она делает кое-какие записи в дневнике: все географы — любители до путевых впечатлений. Но кому это все нужно? Лучше, чем в лоции, все равно не напишешь.

На корму пришел Лучников. Не заметив Нади, он прошелся вдоль перил, снял фуражку, провел рукой по волосам.

Обернувшись, он увидел ее и смущился. Или это ей только показалось?

— Загораете? — спросил он, невольно бросив взгляд на ее белые ноги с узкими, почти детскими ступнями. — Ну загорайте. Не буду мешать...

— Вы мне не мешаете, — сказала Надя, подобрав ноги и закрыв их подолом платья.

— Что за книжка? А, Гагенбек... Знаменитый зверолов, поставщик зоопарков... Люблю эту серию — Географиздат...

Он был в кителе, справа на его груди был укреплен значок. Надя не могла понять, какой.

— Это международный знак капитанов дальнего плавания, — пояснил он. — На нем изображены секстант и якорь.

Он облокотился на перила и стал смотреть на воду.

— Вон каким широким фарватером идем. А Петербург здесь корабли волоком перетаскивали...

Надя не сразу сообразила, что он говорит о Петре Первом.

— Красивые места, — сказал он. — Островки залито. Как на картинке... Помните? Дед Мазай и зайцы...

— Я думала, вы уже привыкли к этой красоте и ничего вокруг не замечаете...

— Ошибаетесь. — Он мягко улыбнулся. — Привыкают к некрасивому, и тогда перестают его замечать. К красоте привыкнуть невозможно. Она всегда поражает с новой силой. — Лицо его стало серьезно, словно тень прошла по нему. — Всегда с новой силой, — задумчиво повторил он.

И Надя подумала: «Наверно, он вспомнил женщину-хирурга из Архангельска».

— А мне уже все надоело, — в сердцах сказала Надя. Она поднялась с ботика, сунула ноги в туфли, подошла к перилам.

— Что так? — спросил он и с удивлением взглянул на нее.

Он взглянул и как бы зацепился взглядом, стал пристально разглядывать ее лицо, порозовевшее от солнца и ветра, золотисто-рыжеватые волосы, мяг-

кие губы... Может быть, он только сейчас заметил, что она хороша собой, хотя и не так красива, как та, из Архангельска.

— Все-все надоело,—сказала Надя, и на глазах у нее показались слезы. Она сама не знала, о чем плачет, и, стыдясь слез, отвернулась. Но он успел их заметить.

— Ну вот...—растерянно проговорил он.—Что это вы?

Они стояли у перил рядом, так, что его плечо слегка касалось ее плеча.

— Скоро девятый шлюз. Купим рыбки: там всегда бабы рыбой торгуют. Щук, окуней... Мария Петровна нажарит с картошкой...—негромко, убеждающе, как с маленькой, заговорил он.

И она удивилась теплоте его голоса.

Надя улыбнулась ему сквозь слезы.

— Ну вот и хорошо,—сказал он.—Это уже сплой дождик. Не так ли?

К девятому шлюзу подошли в полдень.

Только три домика шагнуло из лесу вперед, к самому каналу. Возле одного из них на фанерном щите висела большая афиша, извещавшая о близких гастролях Северного хора.

Странно было здесь, в безлюдной лесной тишине, видеть эту афишу. Но коли афиша была, стало быть, и хор будет. А будет хор — слушатели найдутся.

Спешили к теплоходу рыбачки с плетеными корзинами на полотенце через плечо. И Мария Петровна купила целую корзину щук и окуней.

— Можно, я вам помогу жарить? — спросила Надя. Ей хотелось дела. Все равно какого.

И вскоре работа уже кипела. Мария Петровна, кашеварка, варила свой будничный обед. Мария Петровна, буфетчица, чистила рыбу, Надя обваливала в муке и жарила.

Наде стало весело. Она представила, как налетят на лакомое блюдо мужчины — «мужики», как имновала их Мария Петровна одинаково всех — от мальчишек-матросов до командира отряда. Экспедиционный паек был скучен. Наде вспомнилось, как Мария Петровна сказала старику лоцману, сходившему на берег:

— Может, позавтракаете с нами?

— А что у вас на завтрак?

— Масло, — ответила она. (Хлеб и чай шли не в счет.)

— А, масло. Ну, давай!..

Теперь на весь камбуз аппетитно пахло жареной рыбой.

— Трудимся, бабоньки? — спросил Андрей, появившись в дверях кают-компании и потирая руки.— Давайте, давайте... Скоро обед...

Но что бы ни делала Надя, весь этот день ей слышался негромкий голос Лучникова, и плечо ее ощущало прикосновение его плеча. Когда после обеда они с Андреем вышли на палубу и стали у перил, она, коснувшись плеча Андрея, вздрогнула и незаметно отодвинулась.

Опять пошли шлюзы. От Повенца корабли поднимались по лестнице, из шлюза в шлюз. Теперь они спускались к Белому морю.

А венадцатого мая в тринадцать ноль пять минут отряд речных кораблей вышел в Белое море. Остался позади Беломорск — порт, деревянный поселок с дощатыми мостками, рыжими козами и собаками, с гурьбой ребятни, надсадно кричавшей: «Возьмите нас с собой! Мы тоже покататься хотим!»

Открылась глазу золотистая необозримая голубизна. На этот раз это было море, настоящее море.

Первым ступил на него голубую упругую поверхность флагман «Машук». Он сразу пошел вперед и остановился на рейде в виду порта Беломорск, ожидая, пока подойдет весь караван.

После тесного канала было приятно снова ощутить простор. Высоко в небе летали чайки.

— Теперь и отоспаться не грех. Пусть моряки командуют, — объявил Андрей.

— Ты мне обещал показать машинное отделение, — напомнила Надя.

— Ну, пойдем, — согласился он.

Они прошли на первый дек и спустились вниз. Андрей толкнул дверь с надписью «Посторонним вход воспрещен». Он не был посторонним здесь. Он был капитаном «Машука», хоть и числился временно третьим помощником, и всем этим ребятам — механикам и мотористам — не мешало напомнить об этом.

Андрей подозвал главного механика — молодого прыщеватого парня — и велел ему объяснить Наде, где у них что. Было жарко, шумно. Кричали приходилось в самое ухо. Главный механик показал Наде три дизельных двигателя, движок, котлы, подающие наверх горячую воду. Он явно гордился своим белоснежным хозяйством. Везде царил порядок. Надя обратила внимание на ящик, выкрашенный, как и все здесь, белой масляной краской. На нем с немецким педантизмом было четко выведено черными буквами: «Трябки».

Андрей стоял в стороне, заложив руки за спину. Мотористы и механики с интересом поглядывали на Надю. Наверно, им было чудно, что жена капитана интересуется дизелями.

— Что еще непонятно? Спрашивайте, расскажу! — прокричал Наде в ухо главный механик.

Ей было непонятно все. Поэтому она не стала спрашивать. Она видела: техника трудится, и приборы показывают результаты ее труда.

Надя поблагодарила главного механика за объяснения и с радостью поднялась на палубу. Андрей поднялся следом за ней.

— Довольна? — снисходительно спросил он. И хвастливо добавил: — Таким кораблем командовать — одно удовольствие! Эх, как побежим по Волге! Все залиются.

Вокруг было море, но Андрей словно не замечал этого. Ведь здесь, кроме чаек, некому было любоваться им.

— Слава богу, в Архангельск завтра приедем, — сказал он.— Там наших волжан возьмем, они нас уже дожидаются, а моряки сойдут...

— Все? — спросила Надя. Она почувствовала, как у нее бьется сердце.

— Все. — Андрей помолчал. Зевнул. — Кроме Лучникова. Он обязан сопровождать нас до Вологды. А я бы, признаюсь, его первого на берег спасал. Обошлись бы, не маленькие...

— И Мария Петровна сойдет, — вдруг вспомнила Надя. И, покраснев, заговорила быстро, возбужденно: — Ты знаешь, она чудесная женщина. Я так привыкла к ней. Чудесная! Настоящая морячка. Она мне рассказывала, как сельдь ловила в Атлантике. Сеть забрасывают с фонариком. И сельдь на этот фонарик идет. Так красиво! Представляешь, Андрюша? Темно-темно, а глубоко в воде горит фонарик...

— Пьяничка она, — лениво перебил Андрей.— Ты ее слушай больше...

Глаза его слипались, он хотел спать.

Караван двигался на север. В воде стали появляться отдельные льдины. После сплошного льда на

Онежском озере они выглядели совсем невинно. Но постепенно их становилось все больше и больше.

Под вечер Надя и Прямков встретились на баке. Старик был с биноклем.

— Надеюсь тюленей углядеть,— сказал он, передавая Наде бинокль.— Командир отряда сказал, должны в эту пору быть. Может, вы углядите...

Надя стала глядываться, но ничего, кроме льда, пустынно розовевшего в лучах закатного солнца, не увидела.

— Шибко идем,— заметил Прямков.— Тут рулевой толковый нужен... Вы не глядите, что льда мало. На Онежском он верховой был, а тут глубинный. Может, сверху льдины чуть, а вся она под водой. Хорошо, волнение небольшое. Три балла...

Ветер становился крепче, жгучей. Он обжигал лицо, пробирал одежду насквозь. Пришлось уйти с бака на корму. Здесь было теплей. Теплым розовым светом искрился лед, никаких тюленей не было видно.

— Должны быть,— упрямо твердил старик, склоняя бинокль в окостеневших от холода пальцах. И вдруг радостно, громко закричал: — Да вон они, голубчики! Стадо целое! Иши, как разлеглись. На солнышке греются! Я говорил: должны быть...

Он с неохотой передал Наде бинокль, и она отчетливо увидела на дальней льдине тюленей. Их было штук пять. Широкоголовые тела их сужались к хвосту и походили издали на жирные черные запястья.

И в ту же минуту голос Лучникова сказал в микрофон:

— Вниманию пассажиров. Справа по борту тюлени...

— В рубке только заметили,— обрадовался старик.— Мы раньше...

Он благородно говорил «мы». А Надя, таинственно улыбаясь, думала: «Это он мне сказал. Мне одной».

Солнце спускалось все ниже, но не делалось темней, только краски становились холоднее. На смену розовой пришла голубая, морозная. Тюлени попадались все чаще. Они лежали на льдинах группами, парами и в одиночку. Лишь один за все время трусиво спрятался в воду, мелькнув раздвоенным хвостом. Некоторые из них лежали на ближних льдинах, их можно было хорошо разглядеть без помощи бинокля.

«Смешные существа,— думала Надя.— Голова зверя и рыбий хвост. Этакая звериная русалка».

Уже и Прямков ушел погреться, а она стояла, забыв о холоде. Ей не хотелось идти к себе в каюту: там спал Андрей. В три часа ночи он встанет и уже не уснет до самого Архангельска. «Пусть отсыпается»,— думала Надя.— Устал, бедненький...

Она подумала «бедненький» и вдруг почувствовала фальшиву. Нет, ей не было жаль его! Она была рада, что он спит и не мешает ей быть одной. Ей казалось, что этой серебряной, негаснущей ночью грехно спать. Ведь светла же для чего-то эта ночь! Что-то новое, свое хочет открыть она ей.

— Все мерзните!— спросил голос Лучникова. Он вышел на правое крыло ходового мостика. На груди его поверх шинели висел бинокль.— Тюленей видели?

— Спасибо.

— Поднимайтесь в рубку, там теплей... Она не поверила себе. Так ли поняла его?

— Давайте, давайте сюда.— Он сделал приглашающий жест. Сомнений быть не могло. Он звал ее на мостик, в рубку. Он, противник пребывания женщины на корабле! Надя поднялась по трапу.

В рубке было тепло, а главное, сюда не проникал леденящий ветер: он остался там, за стеклом, сквозь которое далеко в обе стороны было видно море. Стальное вблизи и перламутрово-розовое к западу, где низко над водой висело солнце.

В рубке, кроме Нади и Лучникова, было двое: морской помощник Жук и рулевой. Жук покраснел, как тогда, при первом знакомстве, и торопливо встал, уступив ей место на диванчике, хотя вполне достаточно было ему подвинуться. Вахтенный рулевой, тоже моряк, невозмутимо щелкал кнопками «штурвала». Рулевой был совсем молоденький, however, практикантом из училища. Прямая, неподвижная спина его выражала недовольство, вызванное приходом Нади в рубку. «Вправо-влево — так держать». Колеблются стрелки путевого компаса. Ручки машинного телеграфа поставлены в положение «Полный вперед». С потолка свисают поручни, похожие на те, за которые держатся в трамвае. Если потянуть за оба, раздастся двойной гудок. Рядом с поручнями на стене телефон. На столике справа развернута карта. Лучников склоняется над картой, сверяя что-то, и тут же, выпрямившись, начинает ходить взад-вперед по рубке.

— Скоро достигнем самой северной точки нашего пути,— говорит он.— Шестьдесят пять градусов семнадцать минут северной широты...

Он произносит это, не оборачиваясь, но она понимает: к ней обращены его слова.

Надя присмирилась. Она много слышала о белых ночах и читала в книгах. Но сейчас ей даже не приходили на память любимые строки пушкинских стихов.

Белая ночь, как любовь, ее надо пережить самой. Это была первая белая ночь в жизни Нади.

Солнце садилось. От него уходил вниз в воду красный столб, но между красным солнцем и красным столбом был еще просвет неба. Потом солнце сплющилось, вытянулось вширь и легло на воду.

— Запеленгуйте солнце,— сказал Лучников морскому помощнику.

Жук вышел к основному компасу, находящемуся на баке, перед рубкой. Ветер трепал его легкий брезентовый плащ. Фуражка была закреплена ремнем за подбородок.

Вскоре ему пришлось снова выйти к основному компасу: достигнув самой северной точки, «Машук» ложился курсом на восток. Опять стоял на палубе морской помощник и, не отрывая глаз от компаса, спрятав одну руку в карман, сделал другой рукой короткий рубящий жест, а рулевой защелкал кнопками: красная, зеленая, опять зеленая...

Хороший парень,— заметил Лучников, наблюдая за морским помощником.— Скоро пойдет в свое первое заграничное плавание.

— А вы, наверно, везде побывали?— сказала Надя.

— Да нет, не везде. А вообще, кое-где был. В первое заграничное я ходил мотористом. В тридцать шестом году, в Америку.— Он улыбнулся ей.— А вам тогда было... пять лет?

— У вас хорошая память,— сказала она.

— Да.— Он помолчал.— К сожалению.— У губ его легла ироническая складка.

Солнце скрылось за горизонтом, но вокруг было так же светло. Серебряный, с молочным отливом свет лился отовсюду. Можно было подумать, что источник его уже не солнце, а какая-то другая могучая светлая сила.

Он сказал: «К сожалению». О чём сожалеет он? О том ли, что все время помнит, как Надя молода, или о том, что не может забыть ту, из Архангельска?

Белая северная ночь господствовала вокруг. Она была как откровение, как чистый белый лист, где все, всю жизнь можно начать заново, набело... Надя подумала: неужели когда-нибудь эта ночь вспомнится ей, как порой вспоминается сон,—всего лишь смутным ощущением счастья?..

**В** семь часов утра в каюте басом загудел телефон. Надя вскочила, ничего не понимая. Голос Андрея сказал:

— Ты просила разбудить тебя на подходе к Архангельску.— Он звонил из рубки.

Надя оделась и вышла на палубу. Было солнечное утро. Теплоходы шли по реке, широкой и мутной, словно еще неугомонившейся после весеннего паводка. Быстро шла вода, так быстро, что при взгляде на нее начинало рябить в глазах.

«Усть Северной Двины»,—вспомнила Надя. Она сделала круг по палубе. На корме в приспущенном на трюмах мотоботе, как в люльке, сидели двое: морской и речной механики,—готовили бот к спуску на воду.

Надя обошла еще один круг, ожидая встретить Прямкова, и на повороте увидела Лучникова. Он стоял у перил, глядя на проплывающие мимо аккуратно уложенные штабеля леса.

Увидев Надю, он обрадовался.

— Идите сюда,—позвал он.—Стыдно спать в такое время. К Архангельску подходим...

Сам он выглядел отдохнувшим. Только красные, воспаленные жилки в глазах говорили о том, что вряд ли он в эту ночь спал больше двух часов.

Они прошлись по третьему дому, и он рассказал ей о том, что проплывало мимо, объяснил: этот сложенный сухой лес — лесобиржи, ожидающие прихода иностранных судов.

На Двине было оживленно: лихтера, ледоколы, паромы для перевозки автомашин, старые пассажирские «макарки» с навесом, названные так по имени пароходчика Макарова и столь же старомодно выглядевшие среди новых катеров, зверобойных и рыболовецких тральщиков и ледоколов, как, наверно, выглядела бы конка на современной улице. Город плыл навстречу — деревянный и каменный, дома «постройки Петруся» (теперь она уже сразу поняла его) и современные.

Город выстроился вдоль левого борта, гордо выставив на обозрение Торговый дом, построенный при Петре, большое красное здание на площади — бывший женский монастырь, где потом помещался всенкомат, институт лесной промышленности, педагогический...

Лучников переходил с борта на борт, чтобы показать и объяснить ей все. Он словно хотел заставить ее полюбить этот город, хотел, чтобы она почувствовала или хотя бы просто поверила ему, как все это прекрасно — и эти лесобиржи, и столпотворение судов на воде, и бывший монастырь, и нынешний театр.

— Неплохой театр, здесь, не хуже столичного. Только поставили его глупо: к реке боком.

Он досадовал, как мог бы досадовать, наверно, сам архитектор, автор проекта.

«Кольцов» шел позади, следом за «Машуком». Красный флаг его весело развевался на флагштоке, и только бока, потемневшие, ободранные еще онежским льдом, портили его праздничный вид. Двух остальных не было видно за поворотом.

— А все же сильно ободрали бока,—заметила Надя.

— Что делать...—Лучников щелкнул зажигалкой.—Что делать...—повторил он.—Лучше ободрать бока, чем потерять голову. Не так ли?

— А вот по Белому морю хорошо прошли! — вместо ответа сказала Надя.—Я даже не думала...

— Я тоже.—Он помолчал, посмотрел на нее, словно колеблясь.—Хотите, я вам покажу один документ?—Он достал из кармана кителя бумажку, сложенную вчетверо. Это была радиограмма из Архангельска. Надя прочла: «Ожидаем Белом море шторм шесть семь баллов. Рекомендуем задержаться Беломорске». И подпись — «Погода».

— Прошу учсть: об этой радиограмме знают только трое в отряде,—сказал Лучников, закуривая.—Вы, я и радист...

— И все-таки вы пошли? А если бы...

— Что «если бы»? — Его зеленые глаза весело засияли навстречу Надинам.—Нет, вы еще не стали морячкой. Из этих «если бы» состоит вся наша служба. Мэй би ес, мэй би нот 1, как говорят англичане. Ждать ледокола, потом ждать у моря погоды, а потом всем кораблям зимовать в Архангельске, потому что на Сухоне кончится паводок, и тогда по ней не пройти. Год стоять на приколе и ждать новой весны...

Он снял фуражку, провел рукой по волосам. Этот его жест был ей знаком. Была знакома и улыбка его, мягкая, чуть снисходительная. И эта ироническая складка возле губ.

«Как я мало знаю его! — подумала Надя.—И в то же время как хорошо я его знаю... Я видела его в море. Я знаю, какой он в трудную минуту, когда нужно принять опасное решение, и знаю в радости, когда опасность позади... Не самое ли это главное, что надо знать о человеке? О мужчине?»

Караван бросил якоря на рейде порта Архангельск. Засновали катера, перевозя на берег людей. С первым ушел на берег Лучников. Его уже ждали в управлении порта. Вместе с ним отбыл морской помощник Жук. Он покидал «Машук». В руках у него был маленький чемоданчик, брезентовый плащ под мышкой: было жарко. Сейчас на поезд — и в Ленинград, в там в дальнее плавание.

— Счастливо! — кивнул он Наде и покраснел.

И снова, как когда-то на Свири, Надя испытала чувство горечи расставания. Такое чувство бывает в поезде, когда вагон покидает сосед, с которым вместе проехал полдороги.

В Архангельске с «Машуком» ушли морские механики и мотористы, рулевые и матросы — практиканты ленинградской мореходки. На смену им появились новые лица, прибывшие на корабль с волжского пароходства. Новые матросы болтались по декам, осматривая корабль, заглядывали в салоны, курили на корме, поплевывая за борт.

— Можешь сойти на берег, погулять, — сказал Андрей.—Будем стоять четыре часа. Сейчас подойдет катер, скажу, чтоб тебя захватили...

— А ты? — спросила Надя.

— У меня дела. Народ новый прибыл, надо их устроить, то да се...

Он выглядел бодро и, видимо, чувствовал себя уверенно. Куда уверенней, чем в Вознесенье, перед выходом в Онежское. Лицо его было розово, крылья носа лоснились. Видно было, что он как следует отспался, пока шли Белым морем. Надя стала собираться на берег. Она достала легкое платье — белое в

<sup>1</sup> Может — да, может — нет (англ.).

мелких цветочках. Причесалась. Оглядела себя в зеркале, она нашла, что глаза у нее стали больше — может быть, после этой ночи — и что-то новое появилось в них. Она успела загореть на северном солнце, и белое платье резко оттеняло загар.

— Ну, вот я и на «тось», — сказала она вслух.

Она захватила сумку и деньги, на случай, если придется что-нибудь купить, и спустилась на первый дек. Катер уже ждал ее. Позади стеклянной кабинки моториста стояли два новых матроса с мешками для провизии, старик Прямков и Мария Петровна — буфетчица. Мотор нетерпеливо таращел, и, казалось, моторист с трудом сдерживал катер на месте. Темная Двина текла под ним со страшной быстротой.

— Думала, не прощусь с вами, — сказала Мария Петровна, когда Надя перебралась на катер и он, задрав нос, полетел по черной бесноватой воде. Пестрая шелковая косынка буфетчицы, как вымпел, трепыхалась на ее затылке. У ног ее стоял чемоданчик, чуть побольше того, что был у морского по-мощника.

Они простились на пристани, среди грохота лег-  
бедок, гудков автопогрузчиков, окриков шоферов.

— Не обижайтесь, если что не так, — сказала Мария Петровна. Она поставила чемодан на землю, по очереди пожала руки Наде и Прямкову и достала из кармана бумажку и огрызок карандаша. — Давайте я ваш адресок спишу... Мало что. Может, доведется когда написать, встретиться... Я их сколько, адресов этих, списывала! Которые тут же потеряю, а которые у меня дома в коробке лежат... От конфет такая, знаете? Вишня в шоколаде. Кавалер когда-то мне подарил...

Ярко накрашенные губы ее резко выделялись на морщинистом, грубоватом лице, и только сейчас Надя по-настоящему поняла, как одинока эта женщина.

И еще Надя поняла, что не только ей знакомо щемящее чувство коротких встреч и скорых разлук. Вся жизнь этой женщины состоит из них, из недолгих дружб с неизбежательным продолжением. Не отсюда ли желание удержать эти уплывающие сквозь пальцы дружбы, это списывание адресов, которые ей никогда не пригодятся?

Прямков и Надя отправились в город вместе. Было приятно ступать по твердой земле, поросшей травой и вымыщенной деревянными мостками.

Трамвай привез их в центр. Он дребезжал и подпрыгивал, словно шел не по рельсам, а прямо по булыжной мостовой. В магазинах было душно, пахло селедкой и лимонами.

Они прошли мимо театра, того самого, что был неудачно повернут к реке боком. Прямков предложил зайти на телеграф: он решил отправить домой телеграмму.

— А у вас.. дети есть? — спросил он.

— Нет, — сказала Надя.

— Что же вы? Надо, надо. Пока молодые.

Надя не любила, когда ей задавали этот вопрос. Сначала Андрей не хотел детей, теперь и она думала: это к лучшему. Может быть, после слов свекра: «Роди-ка ты нам, дочь, еще одного Аникина».

Прямков стоял в очереди к телеграфному окошку, а она сидела в почтовом зале на деревянном диванчике. Здесь тоже было душно, пахло пылью, чернилами и мухами, погребенными на дне чернильниц.

Покончив с телеграфом, они еще походили по городу. Вдоль сквера с полотняными щитами смотрели лучшие люди города. Надя обратила внимание на портрет молодого белобрюхого паренька с серьезной миной на курносом лице. Под портретом было написано: «Дояр колхоза «Первое мая».

Каменные дома чередовались с деревянными. Наде запомнились закрытые балкончики во вторых этажах деревянных домов, резьба по наличникам, странно высокие, под самой крышей, окна.

А в общем, город не понравился Наде. Ей показалось скучно жить здесь всегда, ходить в этот театр, повернутый боком к реке, покупать селедку и лимоны...

Впрочем, думала она, можно любить и этот город, если с ним что-то связано: впечатления детства, первый поцелуй, радость первых самостоятельных шагов. С некоторой ревностью смотрела она на аллеи в скверах под старыми тополями, на которых едва пробивались клейкие листья. Где, на какой из них сидел он — молодой, влюбленный — в густой темноте позднего вечера? Сидел не один и был счастлив, так счастлив, что не может забыть до сих пор...

— Посидим, — предложил Прямков. И они сели на одну из этих скамеек, может быть, на ту самую. И если мороженое, старик купил в соседнем ларьке.

**— Б**ольше моря им не видать! — сказал Лучников. Он и Надя стояли на корме.

Корабли шли по Северной Двине, полностью и более спокойной, чем в устье. Теперь ходили в рубке речники. Лучников впервые сменил кильтель на черную сатиновую робу. Он отыхал.

На палубе было жарко, настолько, что приходилось искать тень. После шести вечера жара сменилась мягким весенным теплом, и хорошо было стоять у перил и смотреть на крутие медно-красные берега, на церкви, над которыми, как журавлиные стайки, парили темные кресты. В пазухах красных глинистых склонов ярко зеленели елки, белые платки не растаявшего еще снега были разбросаны тут и там.

— А вот и штурм! — Лучников показал на длинные облака, тянувшиеся со стороны Белого моря. — Пожалуй, семь баллов будет. Вон, видите, облака перистые. Так и рвет оттуда. Не хотел бы я сейчас оказаться в Белом море...

— Теперь всё уже? — спросила Надя.

— Пока всё. Если в Опоках не сядем. Есть такое чертово mestechko на Сухоне. Сейчас там вода падает — тридцать сантиметров в сутки.

Лицо его было спокойно, чуть задумчиво и впервые за время пути выглядело усталым. А может быть, горяченьким.

— Вас кто-нибудь ждет дома? — спросила она.

— Всех, кто-нибудь ждет. — Он устало улыбнулся ей. — Меня, например, мама...

Слово «мама» прозвучало у него неожиданно мягко, наивно, оно как-то не подходило для морского волка, каким он виделся Наде до сих пор.

— У меня хорошая мама, — повторил он.

— Вы живете в Москве?

— Да. И в то же время нет. Я бываю в Москве,

не больше трех месяцев в году. А то все на севере, на воде.

— И такая жизнь нравится вам?

— Чем она хуже всякой другой? — Он помолчал, глядя на крутие берега. — Знаете, Надя... — Он впервые назвал ее по имени. — Все зависит от того, что выбрать. Есть радости, и есть удовольствия. В спокойной, удобной жизни удовольствий, конечно, больше. Удовольствия делают жизнь человека приятной. Но живет человек все же для радостей, пусть даже редких. А радости, настоящие радости для меня возможны только здесь.

— Я понимаю, — сказала Надя.

Они стояли рядом у перил. «Еще сутки или двое суток,— думала она,— и он уйдет навсегда из моей жизни. Уйдет, как ушел балтиец-лоцман на Свири, как ушли морской помощник Жук и буфетчица Мария Петровна». Оттого, что он был рядом, так близко, у Нади слегка кружилась голова. Она не знала, что испытывает он, но ей всегда казалось, что такое чувство бывает только взаимно, как взаимно тяготение железа и магнита.

— Скажите, это правда, что вы любили одну женщину, а потом потеряли и до сих пор не знаете, где она?

Он взглянул на нее странно и слегка отодвинулся.

— Придумают же!

«Зачем я спросила? — думала Надя.— Он все равно не скажет. Но если я хочу, я так хочу все знать о нем!»

— А впрочем, в этом есть доля правды,— сказал он.— Все люди ищут что-нибудь. Одни то, что потеряли. Другие то, чего не нашли... Почти все,— поправился он, помолчав.

Медно-красные берега выселись теперь огромной стеной. На верху стены, освещенные косым солнцем на светлой голубизне неба, четко выделялись фигуры людей. Лиц не было видно — одни только темные силуэты. Высокий мужчина стоит, широко раздвинув ноги над самым обрывом, к нему движется фигура поменьше — мальчишка, может быть, сын или брат. И вот они рядом стоят над обрывом, два четких, врезанных в голубизну силуэта. А вон еще фигура — девушка с велосипедом. И еще группа девчат.

— Красивое место! — говорит Лучников.— Перматорье.

Сейчас он здесь, рядом. Но скоро его не будет. Расставание уже началось. Оно во всем: в его усталом, спокойном лице, в запахе его табака и одеколона, в ее тоске, которую она уже предчувствует.

Котлас прошли, не останавливаясь, ночью. На рассвете забелел каменными лабазами и церквями Великий Устюг. На церквях таблички «Охраняется государством». Тополя и березы уже зелены, и зелена трава под деревянными мостками тротуаров. В траве желтые одуванчики.

— Пошли погуляем часок,— предложил Надя Андрей.

Он велел спустить на воду бот, и вскоре они уже шли в гору по пыльной улице. Они шли, и встречные на них оглядывались. Рассматривали ее белое платье в цветочках. Мужчины и мальчики, несмотря на жару, были в кепках, женщины в ослепительно белых платках. Обращались одна к другой ласково: «Здравуй, Агнушка!», «Здравуй, Устюшка!». Маленькая старушка в белом платке окликнула на улице веснушчатую девочку лет десяти, тоже в белом платье:

— Да-от ступай-от с ребенком-от посиди.

— Да-от вернусь, да-от и посижу...

И хотя они тоже говорили на «о», речь их — быстрая, с запинкой, с «вопросиком» в конце фразы — была непривычна для обстоятельных волжан.

— Не приведи бог тут жить,— сказал Андрей.— Тоска заест. Они ведь по реке только и сообщаются с миром. А зимой тут полная слянка.

— А мне тут нравится,— сказала Надя.— Я бы даже хотела остаться здесь. Навсегда! Смотри, какая беленькая школа! Вон спортивная площадка во дво-ре. Я бы здесь работала.

— Заскучала бы,— возразил Андрей.— Тебе и у нас-то в Горьком скучно.

— Да, скучно.— Она упрямо помолчала.— И это только доказывает, что я права. Человеку скучно везде или нигде.

— Мудро что-то говоришь,— сказал Андрей.— Да-тай лучше куплю колечко. Тут, говорят, черненое се-ребро славится... Северная чернь.

Он спросил у встречного мужчины — тот был, как и все, в кепке,— где продаются изделия северной черни, и, свернув в переулок, они вошли в прохладный магазин.

Андрей сам выбрал ей кольцо — золоченое, с се-рым черненым узором. Оно было велико и свободно скользило на пальце. Меньших размеров не было.

— Потеряется,— сказала Надя.

— Будешь беречь, не потеряется.

Он сам надел ей кольцо на безымянный палец левой руки и одобрил:

— Красивая штука. Носи!

Они прошлись по городу. Здесь были каменные низкие дома купеческого склада, церкви и остыни церквей. В витрине под стеклом висела местная газета «Советская мысль».

Навстречу прошла гурьба школьников. Не все были в форме, две девочки вовсе без передников, а одна — в белом. «Разве какой-нибудь праздник?» — удивилась Надя. И тут же поняла: купили белый, она и носит его и в праздник и в будни... Здесь не Горький. И даже не Архангельск.

Девочки шли, шутливо переговариваясь с мальчиками; светлые, соломенные косы весело блестели под солнцем. Вились по ветру красные галстуки.

«Человек счастлив везде или нигде», — снова подумала Надя. Нет, ей не хотелось оставаться здесь навсегда. Но она понимала, что и в этом пыльном городе живет радость. Та, о которой говорил Лучников.

На пристани они встретили его. Он ждал катера. Корабли стояли на рейде, готовясь к отплытию.

— Лоцманов дали? — спросил Андрей.

— Развезли уже по кораблям. Сейчас двинемся.

— Как уровень на Сухоне?

— Падает...

Лучников досадливо поглядел на небо.

— Сейчас бы дождичек хороший... Дня на два.

Небо было голубое, ясное. Обещало жаркий, долгий день. Ослепительно белели выстроившиеся на рейде согласно ордеру теплоходы. Впереди «Машук», за ним «Кольцов», дальше «Памир» и «Грибоедов».

— Опоки пройти бы,— сказал Лучников. Он достал папиросы, протянул пачку Андрею: забыл, что тот не курит.— В Опоках будем в девятнадцать. До тех пор вода еще упадет. Так или иначе, дна достанешь. Если меня не будет в рубке, помните, Андрей Иванович: царапнули по дну — ход не сбавлять, полный вперед. Так держать! Ясно? Силой машин продираться будем. Переведете в такой момент на малый — всё, сели!

— Есть полный вперед! — сказал Андрей.

В голосе его не слышно было энтузиазма. Он думал, не поломать бы руль.

— Вы о руле бросьте думать, — сказал Лучников.— Руль починить можно. Вы обо всем отряде думайте: флагман сядет — и все сядут.

Подошел катер. Лучников легко забрался в него и подал руку Наде. Она была уже на катере, и палуба качалась под ее ногами, а он все держал ее руку в своей, словно забыв отпустить. Рука у него была крепкая, надежная.

Приняв на борт Андрея, катер полетел, огибая весь карман, к флагманскому «Машуку».

«Машук» приближался, становясь все больше, и виден был уже старик Пряников, разглядывающий их в бинокль.

**И**снова идут корабли, уже по Сухоне. С высокого откоса несется мелодичное северное: «Далеко-о-о ли?»

Теперь недалеко. Скоро Волга. На Сухоне высокие берега с обнаженным срезом, хорошо видны на слоения породы. На желтых скалах то сосна, то домишко. Вдоль берегов запани. С откосов спускаются к ним желоба, по которым скатываются в воду бревна в пору молового сплава. Сплав начнется вот-вот. Лучников просил придержать моль, пока отряд кораблей пройдет Опоки. И сплавщики терпеливо ждут. Вода чиста. Над водой совсем низко скользят пары диких уток. Их стремительный трепетный полет так сложен, словно они связаны одной невидимой нитью.

Высоко в небе косяки гусей тянутся на север с юга.

— «Река времен в своем стремленьи уносит все дела людей...» — вдруг с чувством декламирует Прямков.

«Уносит все дела людей...»

Он стоит рядом с Надей на третьем деке в своей кепке с пуговкой.

«Откуда он знает стихи Державина? — думает Надя. Она смотрит на старика с новым любопытством. — Да и вообще, что я знаю о нем?»

В последние дни он даже на палубу выходит редко. Все сидит у себя в каюте, прячет от людей тоску.

Там, на севере, где хозяинчили моряки, он чувствовал себя лучше. Здесь же, на реках, душа его затосковала с новой силой. Хуже нет, чем болтаться среди людей, занятых делом. И не просто делом, а твоим кровным.

Его советов никто не спрашивал. Его помощи никто не просил. Его опыт был здесь не нужен. Подросли новые капитаны. Те, что мальчишками играли в футбол на волжских прибрежных лугах и, прервав игру, махали с обрыва красавцу «Богатырю». Он и теперь казался Прямкову красавцем. До сих пор по ночам снился его низкий, солидный гудок — так, наверно, снится голос близкого человека спустя много лет после разлуки. И старики просыпался с бьющимся сердцем, садился на кровати и долго сидел, хлопая ресницами, вслушиваясь в тишину. Ну, а в общем все правильно. Подросли новые капитаны. Сторонись, старики, освобождай фарватер!

К полудню берега стали ниже. В светлой зелени вологодских лесов на полянках стояли избушки обстановочных пунктов. Возле одной избушки на скамейке сидели двое. Он был в белой рубашке с распахнутым воротом. Рубашка была свежая, видно, только что из-под утюга. Она в голубой кофточке и черной юбке. Оба в сапогах.

Надя высчитала день — воскресенье. Так вот почему эти двое празднично нарядны!.. Но для кого? Для кого нарядились они в такой глупши? Наверно, друг для друга. Конечно, друг для друга. Когда любишь, можно вынести все. Даже такую глупшу.

В большом городе легче переносить жизнь с не любимым. Там все помогает: театры, кино, друзья, толпы людей, книги... Все это входит в жизнь твою и его, не дает задуматься, отчаяться.

Молодая пара сидела неподвижно, спокойно взирая на корабли. Наде вспомнился Беломорканал, жена на капитана-наставника в модельных туфлях. Как она простились с мужем на людях, строго, за руку. Было что-то от этой строгости и в этих двух, что сидели возле своей лесной избушки.

«А у нас в Горьком влюбленные ходят обнявшись, делуются при всех, — подумала Надя. — Насмотрелись заграничных фильмов и переняли моду. Играют в любовь!»

Так думала Надя. А между тем приближалась Опока. Те самые Опоки, где уровень воды на Сухоне самый низкий. Опоки, из-за которых отряду пришлось пробивать дорогу во льдах. Пройти бы Опоки! Это было как заклинание. И все на корабле твердили его с упорством, словно это могло помочь.

Снова, как тогда в Онежском, корабль выглядел пустым. Лучников и Андрей были в рубке, когда справа по борту показались небольшое село и пристань. И село и пристань промелькнули незаметно. Казалось, все — Опоки позади. И в ту же минуту, как Надя подумала это, теплоход вздрогнул от сильного толчка. Вздрогнул, но не остановился. Прошел немного — и опять толчок.

«Вот они где, Опоки! — поняла Надя.

Теперь дело решали сантиметры воды под килем. Только бы не сесть!

Опять толчок. Но теплоход идет полным. И вот уже легче стало идти, корпус корабля подняла вода и привычно понесла на своих плечах. Опоки — будь они! Нет, милые, хорошие Опоки остались позади.

Надя вошла к себе в каюте. Здесь было полутемно. Из большого зеркала на туалетном столике на нее смотрела незнакомая женщина. Глаза ее блестели, губы были чуть приоткрыты, на щеках горел смуглый румянец. Она смотрела на себя новыми, его глазами. Она знала, что нравится ему. Может быть, всего лишь нравится. Но разве это мало: нравиться ЕМ?..

Близко-близко посмотрела она в глаза женщины в зеркале. Шевельнулись губы.

— Ну вот и прошли Опоки! — сказала женщина и засмеялась незнакомым счастливым смехом.

«Но что это? — с удивлением подумала Надя. — Мы не движемся?»

Она вышла на палубу. «Машук» стоял, хотя ничего примечательного, что бы могло остановить его в пути, не было видно — ни моста впереди, ни пристани по берегам. Все тот же, в молодой, светлой зелени, лес был с обеих сторон. Берег был быт близко, что хорошо слышался птичий щебет в черемуховых кустах. Теплоход стоял, и светлая радужная вода как бы огибала его. По ней не спеша плыли отдельные прорвавшие запань сосновые бревна.

Мимо Нади пробежал матрос. Надя вслушивалась в быстрый перестук его шагов, гремевших по трапу.

«Неужели сидим на мели? — подумала она. Не у кого было спросить. Она спустилась на второй дек и встретила Прямкова. Он тоже куда-то спешил, был взволнован и свернутое кое-как пальто держал в руках. Бинокль болтался на ремешке на шее.

— Лучников велел одеться теплее, — деловито, на ходу сказал он. — С собой меня берет. Говорит: может, что посоветуете. — Он произнес это со сдержанным достоинством и засемял вниз по трапу.

— Да что случилось-то? — крикнула Надя ему вслед.

— «Грибоедов» сидит, — донеслось снизу.

«Грибоедов» шел в отряде замыкающим. Он сел на мель, уже почти пройдя Опоки. Об этом передали на «Машук» по цепочке с корабля на корабль. Лучников распорядился спустить на воду моторы.

Все это Надя узнала уже потом. Сбежав вниз, на первый дек, она увидела только удаляющийся белый бот. В боте спиной к «Машуку» стоял Лучников. Там были еще моторист и старики, но Надя видела только Лучникова, его прямую спину. В его позе, в том, что он остался стоять, а не сел, как Прямков, чувствовалась напряженность, готовность к борьбе.

Когда бот скрылся из виду, Надя поднялась к себе наверх. Здесь было тихо. С берегов доносился све-

жий, сладкий запах черемухи. Птицы все так же щебетали в лесу. Но что-то невидимо изменилось вокруг и на корабле. Матросы драили палубу, отирали доски, охранявшие окна салона от шторма.

«Больше моря им не видать!» — вспомнила Надя слова Лучникова. — А я? — подумала она. — Когда я увижу море?

Раньше ей было уютней в берегах. Теперь ей не хватало простора, того «пространства воды, не видимого глазом», о котором говорил Лучников. Опять Лучников. «Не много ли я думаю о нем? А он? Он думает сейчас обо мне?»

— Так мы и будем теперь стоять? — спросила Надя, когда Андрей зашел в каюту.

— Приказано ждать. — Он походил по каюте, взял из вазочки яблоко, громко раскусил. — А там сообщит: ждать его или следовать дальше.

Ждать или следовать?

Прошло три часа, а вестей с «Грибоедова» не было. Видно, засели крепко. Надя с завистью проводила глазами старый колесный пароход «Смена». Колесник шел навстречу отряду. Скоро он пройдет мимо «Грибоедова», может быть, поможет толкать его, стягивать с мели.

Ждать или следовать?

На Сухоне становилось все оживленней. Прошел налегке буксировщик «Учитель». Матросы, молодые парни, с восторгом смотрели на «Машуку». Они заметили Надю, и один, голый до пояса, отмахал ей что-то двумя белыми флагами. Что, Надя не поняла. И она пожалела, что не знала языка флагов, таинственного языка, который мог бы и ей объяснить все.

«Учитель» тоже шел навстречу отряду кораблей, в сторону «Грибоедова».

Ждать или следовать?

Бот вернулся, когда солнце уже скрылось за лесом и от реки потянуло сырость. Лучников остался на «Грибоедове». Моторист передал Андрею приказ: следовать дальше.

— А дело в чем, — рассказывал второй механик, ходивший на боте мотористом. — Они прошли совсем было. Да в последнюю минуту капитан испугался: показалось ему, что руль сломали. Ну, он переключил сразу телеграф на «малый»... Их и развернуло, носом чуть не в берег ткнулись... Дня три верных посидят, — заключил он, — а то и больше...

— Трусоват был Ваня бедный, — усмехнулся Андрей. Спустя минуту он был уже в рубке.

— Выбирать якоря! — разнесся по кораблю его уверенный голос. Андрей был доволен. Теперь он стал здесь полновластным хозяином, и никто не смел сказать ему «мальчишка».

Безучастно слушала Надя, как выбирают якорь. Безучастно следила за все убыстрявшимся движением зеленых берегов.

Отряд двинулся по Сухоне, подчиняясь безжалостному «следовать дальше». Теперь их осталось трое — «Машука», «Кольцов» и «Памир». Впереди был порт Сокол, последний порт на Сухоне. А там и до Волги рукой подать. Бревенчатые деревушки стояли по берегам. Синели табличками школы. Электричество было не везде, но радио повсюду, в каждом селе, в каждой деревушке. Наде представилось, как в этих глухих местах, сидя в избе при керосиновой лампе, слушают люди сообщения о запуске космических ракет. Она думала о том, что мальчишки и девчон-

ки, те, что учатся в этих бревенчатых школах, тоже, наверное, мечтают о полетах на Луну и на Марс.

Застрекотал в небе вертолет, пролетел над рекой и стал снижаться вдаль над лесом.

Что он нес с собой в эти глухие места? Книги? Лимоны? Почту? Или врача к тяжелобольному? А может быть, геолога-разведчика, которому суждено открыть новые богатства в недрах лесного края.

И зашумит тогда лес новым шумом — шумом великой стройки.

«Реки уходят в глубь страны. Чтобы знать страну, — думала Надя, — надо знать ее реки».

Поднимался туман, он застипал кусты, клочьями висел на берегах. С металлическим звоном упали на корабль провода: на «Машуке» забыли положить мачту, и она легко порвала эти тонкие, протянутые над рекой нити.

Женщина с ведрами на коромысле, видевшая это, прокричала что-то вслед «Машуку», грозя кулаком.

Из рубки на ходовой мостики вышел Андрей. Он постоял, глядя на провода, которые «Машуку» тащил за собой. Матросы, забравшись наверх, сбросили провод, зацепившийся за мачту, и он стал тонуть, медленно погружаясь.

Андрей махнул рукой.

— И концы в воду! — соприял он. — Ничего, починят!..

«Когда еще починят, — думала Надя. — Если бы Лучников был на «Машуке», он сберег бы проводку, как сберег ее там, на Свирь.

«Капитан нового типа», — так тогда в шутку называл Андрея Лучников. Капитан, который не пьет и не курит. «Почему я стала его женой? Потому, что мне было двадцать два года. Потому, что подружки выходили замуж. Потому, что все выходят замуж. Потому, что он не был мне противен. Потому, что нравились его светлые волосы. Потому, что он так уверенно говорил: «Мое мнение такое»...

Все гуще поднимался туман. Он полз от реки, поднимался из низин. Горьковатый запах черемухи meshался со сладким запахом меда, где-то близко цветла рябина. Громче щелкали соловьи в кустах.

Надя думала о Лучникове. Как он ходит по палубе «Грибоедова», обдумывая новые, еще не испытанные способы сняться с мели. Лицо отрешенное, взгляд невидящий, углубленный в себя. А может быть, уже снялись, и он стоит на главной палубе и смотрит, как движутся мимо леса, слушает соловьевные трели. Снимает фуражку и проводит рукой по волосам... Рука у него крепкая, надежная. Надя помнит ее.

Стемнело, да и туман сгущился. Флагман «Машук» первым бросил якорь на ночь.

Андрей разыскал Надю на корме.

— Пойдем ужинать...

— Еще постоим немножко.

— Соловьи-то, ишь, разливаются! — Он присел на спасательный ботик. Сказал: — Скоро приDEM на Волгу... Хорошо прошли. И погодка была, как на заказ. А еще некоторые воображают, что женщина на корабле к несчастью. Несчастья-то никакого не случилось. Даже в Опоках не сели. Верно, жена?..

Надя молчала. Смотрела на бледную вечернюю воду. Пустота и бесцельность дальнейшего пути, всей жизни с Андреем охватили ее. Что-то произошло. Изменилось навсегда.

Было ли это несчастьем в ее жизни, она не знала.

# ХАДН ПУН ПРЕСМЫКАЮЩИМСЯ

Охотники за штанами,  
любители

тряпок

стильных,

слышу ваши

стенанья

у интуристских гостиниц.

Слышу ваше посапывание  
и вкрадчивые

голоски:

«Сэр,  
уступите запонки...»,  
«Мистер,

продажайте носки...»

Мистеры ухмыляются,—  
просьба

слаше жалвы.

Мистерам

представляется,  
что перед ними —

не вы!

Что это,  
мимоходят сквозь  
весь мир.

— Место есть,  
— Место есть,

цена,

люди расступаются к ним подползает на брюхе прославленная страна.

— Спасибо товарищам

Были отвечали

Проходит, товарищам

## ОДНА СТАРАЯ ЖЕНЩИНА

Продавщицы  
все из магазинов  
вздохнули болезненно.  
С каждым из строящихся  
города, с каждым из существо-  
вавших вокруг него, готовив-  
ших поднимать их на фронты  
защиты и прикреплявших к ним зе-  
рночи.

От счастья лишившись голоса,  
как на огонь

мотыльки,

ползут

покорители космоса

на импортные ярлыки.

Бредя

чужой валютою,

покорно ждут у дверей  
внучки

солдат Революции,

дети

богатырей!

За барахлом охотятся,

унижаются за пятак...

Мистерам

очень хочется,  
чтоб было в жизни

так...

Да будет

крутым и безжалостным  
презреньем моей страны

к вам,

честь променявшим

запросто

на импортные  
штаны!



С добродушной улыбкой  
вспоминал, что надо  
делать, чтобы не воровать  
бумажки из портфеля, а в то же время предельно  
тщательно всматриваться.

Толстик молча смотрел, что  
делают рабочие, и покачивал



Е. СУВОРИНА

# НА УЛИЦАХ МОСКВЫ

Со «Грибоедова» не было видно дальше Красного моста. Над водой проводили глязами старый московский пароход «Смела», колесами шел на встречу отрады. Скоро он пройдет между «Грибоедовом» и «Москою». Быть может, тогда его можно будет поздороваться с мной.

Ждать или спешить? — что бы ни было, Ильинская становилась все-всплескливая. Поощрившаяся гувернанткой Марфой, Марфосс, исподлубь склонила голову в сторону вагонов и плакала: «Надеялась же я на

## ТОВАРИЩИ

Перрону подошел поезд, и народ бросился к вагонам. Людская волна подхватила и понесла с собой высокого седого человека с загорелым лицом и рукой на перевязи под глухо застегнутым пиджаком. Другой рукой человек прижал к себе пачку школьных тетрадей, не очень тщательно завернутых в газету. Свободный рукаев его пиджака то и дело за jakiдало в толпе, человек бежал с напряженным и озабоченным лицом.

Меня несла та же толпа, и я тоже с трудом удерживала в руках свои свертки и сумку.

Почему-то у дачных поездов часто происходит такая спешка. А между тем в конце концов все успевают сесть в поезд да еще спокойно до отхода полакомиться мороженым.

Я увидела, как завернутая в газету пачка, которую держал человек, внезапно отлетела в сторону, и тетради рассыпались по перрону. Люди на бегу раскидывали их и затаптывали.

— Граждане, осторожно, граждане!.. — закричал человек, пытаясь задержаться, остановить людей, подобрать тетради.

Кто-то наклонился за тетрадками, но его тотчас же затолкали, и, едва выбравшись, он побежал дальше.

— Ну, граждане, граждане!.. — еще раз закричал человек.

Кто-то, что учатся в этой бравечной школе, научил в полете на Ленинградской линии в небе перелет, протянув над головой сталь скиматка зеленой листья.

Что ся нас с собой в этом случае, чисто? Кино! Ленинградский Пакет! Или вагон в зажигательном огне? Или вчера тогда, где звуки шумах — юнома вспомнили?

Со «Грибоедова» не было видно дальше Красного моста. Над водой проводили глязами старый московский пароход «Смела», колесами шел на встречу отрады. Скоро он пройдет между «Грибоедовом» и «Москою». Быть может, тогда его можно будет поздороваться с мной.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы. Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.

Ильинская стала спешить, чтобы спастись от толпы.



Рисунки В. Каменского.

Я не заметила, как это произошло, но вот один, другой, третий, какие-то женщины, мужчины быстро-быстро подбирали тетради, отряхивали их и передавали седому человеку. Он вытикал их о пиджак и прижал к себе. А потом кто-то стал подталкивать его вперед, вперед, поддерживая и направляя стопку тетрадей, потому что человек был еще растерян, взволнован и не видел, куда идет; он все искал глазами, не осталось ли чего на перроне.

Его втолкнули в вагон, когда поезд уже тронулся.

Какие-то люди вскакивали на ходу, девушка с растрепанными волосами и с сбившейся набок шапочкой, стоя на ступеньках, протянула человеку последнюю тетрадь.

Он кивал головой и повторял:

— Спасибо, товарищи! Спасибо, товарищи!

Да, люди вокруг него были его товарищами. Я видела, как они становились ими.

Пассажиры продвигались вперед, проходили в вагон.

Человек стоял в тамбуре. Он держал под мышкой пачку тетрадей, уже завернутых в газету, — я не заметила, кто и когда это сделал.

На площадке было тесно, но я уже не видела людей, которые собирали тетради; наверное, здесь стояли подоспевшие позже, вскочившие на ходу. Здесь не было и двух парнишек-ремесленников, а мне так хотелось посмотреть в их лица.

Из глубины вагона вдруг передали, как по конвойеру:

— Пусть учитель с тетрадками проходит сюда, для него есть место.

— Место есть учителю.

— Место есть.

Люди расступались и пропускали вперед седого человека, взволнованное лицо которого оросили капельки пота. Он шел, кивал головой и повторял:

— Спасибо, товарищи!

Ему отвечали.

— Проходите, товарищ!

## ОДНА СТАРАЯ ЖЕНЩИНА

Перед праздниками у одного из магазинов на тротуаре лежали большие щиты с панорамой строящегося города. Несколько человек суетились вокруг щитов, готовились поднимать их на фронтон здания и прикрепляли к ним вензели.



Какой-то человек в расстегнутом пальто, в ярком, развеивающемся шарфе и сдвинутой на затылок шапке командовал ходом работ.

Группа прохожих задержалась у щитов, ожидая, когда их поднимут и можно будет пройти по тротуару. Рядом со мной стояла седая женщина с поблекшим, но очень живым лицом, в вытертой котиковской шапочке и старом пальто. Она внимательно рассматривала панораму, заходя сбоку, откидывая голову и прищуриваясь.

Человек в расстегнутом пальто, очевидно, главный руководитель, негромко, начальственным голосом давал команду рабочим:

— Заноси, заноси!.. Разом давай... С той стороны, ребята, с той стороны!..

Из магазина вышел тучный человек в ушанке и направился к распорядителю. Тот сразу двинулся ему навстречу, и вот уже они оба стояли рядом и смотрели, как поднимают щиты.

Распорядитель снова и снова подсказывал рабочим, что надо делать. В промежутках между командами он перебрасывался словами с толстяком. С добродушным смехом он вспоминал, как вешали украшения в прошлом году и перепутали порядок букв на гирлянде лампочек, а потом все пришлось переделывать.

Толстяк молча смотрел, что делают рабочие, и покачивал

головой, давая понять, что слушает.

В дверях магазина показалась молодая женщина, очевидно, продавщица, и окликнула:

— Сергей Никифорович!

Распорядитель чуть заметно махнул рукой и продолжал разговаривать.

Продавщица немного подождала, подошла ближе, еще раз позвала:

— Сергей Никифорович!

Никто не обернулся. Она нетерпеливо оглянулась на дверь магазина, будто ее там ожидали, и, стесняясь, окликнула распорядителя еще раз.

Старая женщина в вытертой котиковской шапочке беспокойно посмотрела на разговаривающих мужчин, потом обвела взглядом группу задержавшихся здесь людей. Я увидела в ее глазах возмущение.

Продавщица неловко топтаясь возле начальников, ее лицо стало серым и невыразительным, будто его заперли на замок.

— Вы заведующий? — вдруг резко спросила седая женщина у распорядителя. И, не дожидаясь ответа, сказала: — К вам обращается человек!

Тот бросил на нее суровый взгляд и повернулся к продавщице.

— Ты что, Васильева?

— Чеки надо подписать, Сергей Никифорович, ждут вас, —

ответила женщина и быстро ушла.

Договаривая на ходу что-то веселое, заведующий пошел в магазин.

Рабочие продолжали работу. Ими теперь никто не командовал, но они уже подняли щиты на высоту второго этажа и там их закрепляли.

Ожидавшие люди двинулись своим путем. Старая женщина пошла рядом со мной.

— Я, наверно, грубо сказала, — проговорила она, — но, понимаете, не могу видеть, как унижают человека. Не могу. Вы заметили: он же слышал, что она зовет. Так, видите, продавщица не начальник, может подождать. И на «ты» ее зовет, обратили внимание? А она на «вы».

Она помолчала.

— Я много всего в жизни видела, в партии с 1917 года. И чем дольше живу, тем менее спокойно отношусь к таким вещам. Знаете, это ведь не пустяк — достоинство человека. Никто не смеет унижать его. Нет, не могу быть к этому равнодушной... Ну, прощайте. Мне сюда. — Она свернула в переулок.

Я не нашлась в ту минуту. Просто покивала ей на прощание головой. Но вдогонку мне захотелось крикнуть ей:

— До свидания. Спасибо вам, что вы не можете быть равнодушной.

## ДВОРИК ДЛЯ ДЕТЕЙ

Пока мать с полной сумкой медленно плетется по тротуару, девочка бежит вприпрыжку, вперед. Ей не дали нести сумку, а неторопливо шагать рядом с матерью скучно.

Вот она отбежала далеко вперед, остановилась перед железной оградой какого-то двора. Потом с любопытством приблизилась к ограде, взялась руками за прутья и втиснула между ними лицо.

Там, во дворе — дети разных возрастов, очевидно, школьники младших классов: есть мальчики, есть и постарше — пяти-шестиклассники. Они сидят под большими полосатыми зонтами за круглыми столиками, играют в настольные игры. Некоторые сгрудились на зеленой лужайке под липами — что-то представляют, другие отгадывают — идет веселая игра в шарады. Вот сидят две

девочки, одна читает вслух. А дальше несколько мальчиков что-то сооружают из проволоки.

Человек с блестящими темными глазами, с сильно пробивающейся в волосах и бородке сединой, подходит то к одной, то к другой группе ребят; он улыбается, приветливо разговаривает с ними, что-то объясняет, рассказывает.

Я знаю этого человека с добрым сердцем, старого литератора. Весь свой досуг он проводит с детьми. Это он вместе с другими энтузиастами, живущими в



тротуар. Девочка смотрит на нее умоляющими глазами.

— Но мы не вашего района, — говорит женщина, глядя на приклеенную к воротам записку о том, что площадка принадлежит администрации. — Мы случайно здесь. Я с удовольствием приводила бы сюда девочку до работы, у нас поблизости нет такой площадки.

Старый человек улыбается:

— Это ничего, ничего, — говорит он. — Пожалуйста. У нас не так официально.

— Но я не смогу всегда заходить за нее вовремя. Я работаю в разные смены. Такая досада! Хоть ей уже десять лет, но мы живем далеко отсюда, и я боюсь отпускать ее одну. Ведь это переулок Садовских, да? А мы на улице Красина. Очень досадно. Здесь у вас хорошо.

Старый человек слушает женщину, улыбаясь и повторяя:

— Это ничего, ничего.

Потом он говорит:

— Иногда девочка может дольше побывать здесь, подождет вас. Постепенно она сама научится ходить сюда. Это не так уж далеко. В крайнем случае я провожу ее, — говорит он так приветливо, словно девочка осчастливит его, если будет приходить в этот садик.

— Нет, это удивительно! — изумляется женщина. — Я и не знала, что бывают площадки, где все так... неофициально, — повторяет она это слово и задумчиво смотрит на радушного хозяина. — Так просто и хорошо... Иди, если хочешь, — говорит она дочери. — Я зайду за тобой часа через два.

— Ну вот и спасибо, — благодарит ее старый литератор.

— Почему мне? Это вам, вам спасибо! — радостно и удивленно отвечает женщина и прощается.

Девочка торжественно входит в простой дворик, как будто ее привели в сказочный сад.

А женщина идет по улице и еще долго улыбается и смотрит вокруг сияющими глазами.

## ВЫВИХНУТЫЙ ПАЛЕЦ

Сдачи я приехала поздно, был уже двенадцатый час.

Я стала ждать автобуса. Народу на привокзальной площади почти не было, большие фонари не горели, улицу освещали только домовые фонарики.



На углу площади ярко светились окна аптеки. Я вспомнила, что надо купить йод. Мои соседи, уезжая в отпуск, попросили меня «взять шефство» над их сыном-студентом. Вчера он пришел домой с вывихнутым большим пальцем руки. Сказал, что где-то оступился, упал и подвернул его. Палец вправили, но он болел. Я решила, что лучшим лекарством будет йод, но дома его не оказалось.

Я направилась к аптеке. В это время в другой стороне площади послышался шум, там что-то происходило.

Двое подвыпивших парней преградили путь девушке, которая куда-то торопилась, видимо, возвращалась домой. Парни не отпускали ее, она закричала.

Какой-то юноша в сером плаще бежал через площадь на помощь девушке. Он решительно приблизился к хулиганам, оттолкнул одного и ловко схватил за руки другого. Ему бы не сдобривать с двумя, но уже спешила подмога — еще двое юношей. Они, очевидно, были вторым, но тот бросился первым, его товарищишли следом за ним. Я поняла: дружинники.

Нападавшие парни отступили и быстро скользнули в ближайший переулок. Напуганная девушка помчалась по улице, только слышалось щелканье ее каблучков по асфальту.

Стоя на тротуаре и ожидая приближающихся товарищей, юноша поднял обе руки, пригладил свои волосы и — что это? Я узнала своего соседа. Не замечая меня, он отправился даль-

ше со своими друзьями, а я зашла в аптеку за йодом. Теперь я знала, что в доме без него не обойтись.

## ОГНИ СВЯТОГО ЭЛЬМА

**К**аждый день я проезжаю по трассе третьего троллейбуса и каждый день заново удивляюсь некоторым вещам, которые вижу. Да одна ли я удивляюсь?

Вот горы щебня и мусора: здесь разрушают стены Бутырской тюрьмы.

В этом районе много лет все было связано с тюрьмой. Ее мрачный темно-красный силуэт громадой вставал над улицами, порождал мрачные мысли и настроения. Они сопровождали проходивших и проезжавших по этой трассе и дальше, за вокзал, куда падала тень тюрьмы: Бутырская улица, Бутырский вал, 1-й Бутырский хутор, 2-й Бутырский хутор...

Сейчас на глазах стены превращаются в груды крепкого, добротного кирпича. Обнажаются мелкие квадратики и кубики пространства, разделенного оштукатуренными перегородками, — камеры. Потом и они рушатся — и нет ничего. Открывается ясное небо.

А вечерами небольшие экскаваторы переваливают ковшами кирпич и мусор в грузовики. И превращенные в прах стены тюрьмы вывозят на свалку.

Люди стоят кучками, смотрят. Из окон автобусов, троллейбусов высываются любопытствующие, почти никто ничего не говорит, думают. Ведь то, что происходит, — как символ.

Конечно, я понимаю, что еще не пришло время разрушать все тюрьмы, еще хватает человеческого мусора, который приходится туда сваливать, но все равно я не могу отделаться от какого-то бодрого, нового чувства: а ведь оно придет, это время, когда тюрьмы будут не нужны!

Но по всей трассе бурными темпами сносят и маленькие деревянные хибарки, выстроенные, вероятно, еще тогда, когда начинали свое существование среди полей и лесов хутора. Да, те самые хутора. Бутырские...

Едешь вечером и вдруг обнаруживаешь, что там, где еще утром лепилась к другим домам трехоконная хатка, появив-

лась зеленая уличка — просвет в глубину квартала. И там, в глубине, уже идет строительство светлого большого современного дома.

Но вот я еду мимо огромного великолепного строительства комбината «Правда».

Есть много грандиозных строек на нашей земле. Я каждый раз заново удивляюсь им. И этой, отнюдь не самой большой стройке, я не перестаю удивляться — ее гармонической стройности, ее четкому рисунку.

Я не вижу людей, которые строят, — только раскинутые в небе руки чудовищных кранов. Это они возводят в какой-то математической последовательности и строгости гигантские квадраты, которым надлежит стать костяком архитектурного сооружения.

В моих детских снах такими красивыми и величественными были строения на Луне, города-дома ацтеков или дворцы Атлантиды.

Вечерами то здесь, то там на этом сооружении зажигаются голубые огни. Они разбрызгивают искры, гаснут и вспыхивают вновь. Снизу кажется, что эти огни сами передвигаются с места на место по металлическим балкам стройки и мерцают в темном небе, как огни святого Эльма, которым удивлялись, не умея их объяснить, мореплаватели.

И я про себя так и называю их — огни святого Эльма, хотя знаю, что это просто сварка и что там трудятся обыкновенные рабочие парни.

И про парней я тоже думаю, что если стройку наблюдают с Марса, то их, наверное, считают титанами, способными воровать руками горы.

Мы в нашей быстротекущей жизни порой многое не успеваем заметить, как не замечаем и того, что здесь строится «Правда», — и это тоже как символ.

И когда я проезжаю этими местами, в душе моей невольно складывается песня; она поется сама по себе, и только позже, прислушавшись к ней, я, к удивлению своему, обнаруживаю, что пою:

«...а затем  
мы наш, мы новый мир  
построим...»

По хорошей трассе я езжу, честное слово!



# ВЕРЮ, АЛЕКСЕЙ!

Рисунки Ю. Вечерского.

**В**алю Назарову, студентку третьего курса педагогического института, вызвали в комитет комсомола.

— Займись в порядке шефства культурно-массовой работой с воспитанниками детской трудовой колонии.

— С преступниками? — ужаснулась девушка. — Ни за что!

— Конечно, это дело необязательное... Для нас оно новое... Можешь отказаться...

Валя рассказала об этом разговоре подруге Нине Кузнецовой. Та возмутилась:

— В самом деле, разве можно посыпать девушек к преступникам?..

— С колонийскими ребятами трудно будет — факт, — сказал комсорг Гена Журавлев. — Зато много полезного можно и узнать и сделать. Вспомните Макаренко. Нам, будущим педагогам, не надо склоняться от таких дел...

Валя задумалась: правильно ли она поступила, отказавшись от поручения? Ведь пошла в педагогический институт не с тем, чтобы искать легких путей. Нет, надо рискнуть!

...Первое, что бросилось Вале в глаза, когда она переступила порог колонии, — это огромный, чисто убранный двор, в центре которого красовалась клумба в форме пятиконечной звезды. За ней возвышалась доска почета с портретами лучших воспитанников колонии. Одноэтажные общежития, большое кирпичное здание средней школы, клуб, административный корпус и еще какие-то сооружения окружали двор. По обеим сторонам асфальтированной дорожки росли молодые деревца.

Совершенно иной представлялась Вале колония: грязной тюрьмой с решетками на окнах, с высоченными заборами и колючей проволокой.

И ребята здесь показались ей не такими уж мрачными и угрюмыми. Напротив, они приветливо улыбались и с нескрываемым любопытством посматривали на девушку...

Валю Назарову направили в первое отделение. Воспитатель отделения Василий Павлович Кравцов показал девушке свое «хозяйство» и сказал:

— Считайте себя моим помощником.

Затем он представил Валю ребятам и сообщил, что она прислана для прохождения педагогической практики. Ребята многозначительно переглядывались. Их разбирало любопытство: что намерена здесь делать эта хрупкая девчонка?

Поднялся низкорослый паренек с большой стрижкой головой и глухим голосом спросил:

— А нельзя ли без этой, как ее, без практики?

Раздался смех.

— Василий Павлович, — крикнул староста класса Чубарев, — интересно знать, какие у нее будут обязанности?

— Разрешите мне... — обратилась Валя к Кравцову. — Ребята, мои обязанности простые: я буду помогать вам в учебе. Есть среди вас отстающие? Ну, вот. Будем проводить дополнительные занятия. Затем устраиваем громкие читки газет, журналов, вечера загадок и отгадок.

— А танцам учить будете? — спросил кто-то.

Все заулыбались. Только Алексей Тайдаков, тот самый паренек с большой стрижкой головой, по-прежнему сидел хмурый. А когда Валя с воспитателем ушли, недовольно заметил:

— Шляются тут... От своих житья нет, а тут еще студентики будут душу выворачивать!

Его поддержал дружок Пушкирев:

— Ей бы дома сидеть, в куклы играть...

— Эх, был бы я на воле, поколякал бы с ней по душам! — со злостью сказал кто-то.

В колонию Тайдаков поступил недавно, но уже успел зарекомендовать себя ярым врагом установленного порядка, презирал «бугров», как он называл всех активистов. Угрюмый и злой, он постоянно искал повода для ссоры. Его правой рукой был воспитанник Иван Пушкирев, «вор в законе»<sup>1</sup>. В отличие от Тайдакова он не выступал против «бугров» открыто. «Их надо брать на учет, — пояснял он другу, — а потом, на воле,

<sup>1</sup> Так среди уголовников называют отпетого преступника, который, не подчиняясь законам государства, живет лишь по воровским обычаям.

всем им кык», — и для ясности проводил по шее ребром ладони.

...На следующий день Валя переписала всех двоечников. Таких набралось пять человек.

— А у Тайдакова сплошные двойки, — заметил Чубарев. — Только сейчас его нету.

— А где же он?

— В триумфе. Не знаете? Это мы так называем штрафной изолятор. Вчера его посадили... Он отказался мыть пол, ну и с командиром не поладил, полез на него с кулаками... Скажите, вы добровольно к нам или как? — спросил он Валю. Она смущалась. — Ну, конечно, — сказал он, — кто же к нам захочет добровольно?..

— Почему же? — поспешно возразила Валя. — Я, например, пришла сюда по своей охоте... Почему ты решил, что нет?

— Да как же! С нами ведь трудно. Один Тайдаков... С ним Василий Павлович и тот не знает, что делать.

Помолчали.

— А ты как сюда попал? — спросила Валя. — Или это секрет?

Чубарев смущенно кашлянул.

— Нет... Только мы здесь живем по-макаренковски: о прошлом ни слова. Но вам-то, пожалуй, сказать можно. Карманник я.

— Та-ак... А родители есть?

Подросток шмыгнул носом и отвернулся. Беседу прервал приход Кравцова.

— Толя, — сказал он, — вызови, пожалуйста, Марченко. Он мне нужен...

Чубарев скрылся за дверью. Кравцов сказал:

— Неплохой малый... А родителей у него нет. Отец погиб в Отечественную, а мать умерла... У тетки жил. Потом убежал от нее, стал воровать. Валя спросила о Тайдакове. Кравцов ответил не сразу. Тайдаков в коллективе — темное пятно. Казалось, Кравцов испробовал все, чтобы парня поставить на ноги, а результатов пока нет.

— Хотите с ним потолковать? — спросил он.

— Я? О чем?

— Ну, мало ли о чем... Об учебе, например. Малый он трудный. Был в одной колонии, теперь прибыл сюда... В тюрьме сидел...

— Что ж, поговорить можно, — неуверенно ответила Валя.

...Неумытый, в выпущенной поверх брюк рубашке, Тайдаков вошел в воспитательскую и выжидающе встал у двери. Худощавое лицо его, длинный, узкий нос с открытыми трепетными ноздрями, тонкие губы и дугообразные морщины вокруг рта свидетельствовали о натуре впечатлительной и нервозной.

Валя смотрела на подростка, не зная, с чего начать разговор. Молчал и Кравцов. По угрюому выражению лица Тайдакова она понял, что затевать сейчас разговор бесполезно: беседы не получится. В это время в дверь просунулась голова Марченко и, вопросительно взглянув на воспитателя, исчезла. Кравцов встал и направился к двери. «Куда это он?» — удивилась Валя, и ее растерянные глаза встретились с пренебрежительным взглядом Тайдакова.

— Что, испугалась? — сказал он хриплым голосом, оглядывая девушку с ног до головы.

Валя всхлинула и с досадой проговорила:

— Ты же не зверь, не укусишь...

— А если укушу?

Валя взглянула прямо в глаза подростку.

— Давай знакомиться. Меня зовут Валей, а тебя?

— Алексеем...

— Ну вот, а теперь садись сюда, к столу.

— Мораль будешь читать? — спросил Тайдаков.

— Вовсе нет. Я сама этого терпеть не могу... Разве можно, например, одной агитацией заставить курящего бросить курить?

Глаза Тайдакова лукаво блестели.

— А что для этого надо?

— Иметь силу воли, — не задумываясь, ответила Валя.

С минуту Тайдаков смотрел на девушку удивленно, а потом зло рассмеялся.

— Вот дает жизни... Умора!.. — Он встал. — Зря стараешься... Не ребенок я...

Валя закусила губу. Беседы не получилось.

...Расстроенная, возвращалась Валя к себе в общежитие. За ужином была рассеяна и на вопросы подруг отвечала невпопад.

На следующий вечер Валя снова отправилась в колонию.

— Я хочу с вами посоветоваться, — сказала она Кравцову. — Неплохо бы организовать коллективное чтение книг. Потом, у нас в институте проводили диспут «В чем красота человека?». Очень интересно.

— Ну что ж, такой диспут и у нас провести полезно, — согласился Кравцов. Он встал, походил по комнате, обдумывая что-то. — Разные судьбы приводят ребят в колонию, — сказал он, — приходится долго рыться в их душах, пока отыщешь что-то хорошее. Ведь сердце подростка, как и взрослого, не раскроется общим ключом. Взять того же Тайдакова. К нему какой-то подход нужен... Откровенно скажу: надеялся, что вы как-то повлияете на парня. Не получилось. Только зря вас расстроил. Думал, не придет больше.

— А я ведь упрямая! — рассмеялась девушка.

★

С толярный цех. За верстаками трудятся воспитанники. Пахнет свежеобтесанной древесиной, kleem, красками. Среди готовых изделий стоят отполированные, покрытые лаком шифоньеры, комоды, диваны, стулья. На стене лозунг: «Будем бороться за звание бригады отличного труда и безупречного поведения».

На верстаках многих воспитанников флаги с надписью «Отличник труда». Только нет такого флага на верстаке у Тайдакова, у его дружка Пушкирева и еще у некоторых ребят. Правда, в последнее время все меньше становилось отлынивающих от работы.

Тайдаков и его друг Пушкирев сидят на верстаке. На полу — куча невыстроганных досок.

— Вчера опять гоняла меня по физике, — жаловался Пушкирев. — И что ей, больше всех надо, что ли? Была б учительницей, а то так... Прилипла, как клей.

Тайдаков хмурился.

— Драпануть бы отсюда, — вдруг сказал он.

— Идея! — воскликнул Пушкирев и тут же перешел на шепот: — Благодать! Поедем на юг...

— Да нет, — перебил Тайдаков, — мать у меня болеет... Два года не видел... — Он вздохнул,

— Сволочи! — выругался Пушкирев. — Им только одно: давай работу... — Он хотел еще что-то сказать, но вдруг толкнул друга в бок: — Смотри, пожаловала!



## КАРТА

Тайда́ков обернулся. «Зачем она сюда приперлась?» — удивился он и хотел было спрыгнуть с верстака, но раздумал и сделал вид, что не заметил Вали.

— Здравствуйте, — сказала она, подходя к двум приятелям. — Зашла посмотреть, как вы тут работаете...

— Наше вам с кисточкой! — Пушкирев приложил два пальца к шапке, оскалил зубы.

— Что же вы ничего не делаете?

— А ты что, проверять пришла? — спросил Тайда́ков, сплевывая через плечо.

Вала улыбнулась, будто не заметила его неприязненного тона.

— Что ж проверять? У вас ничего нет сделанного. Хотела посмотреть на вашу продукцию, но вы, видать, не умеете работать.

Стоявшие поблизости воспитанники громко рассмеялись. Тайда́ков был задет за живое.

— Ха, смотрите-ка на нее! — рассмеялся он. — Да что ты смыслишь в этом деле?..

— Это вам не физика и не арифметика, — подхватил Пушкирев, — тут нужна силенка...

— Между прочим, без арифметики и табуретки не сделаешь, — спокойно заметила девушка. Подошел мастер.

— Вы что, ребята, языки чешете? Скоро конец занятиям, а у вас ничего не сделано. Придется поговорить с воспитателем...

— Ну и говорите! — огрызнулся Тайда́ков.

Он не спеша слез с верстака и, взяв первую попавшуюся доску, в сердцах швырнул ее на верстак. Затем небрежно повертел в руках рубанок и, насупив брови, начал рывками строгать. Рубанок проскакивал вхолостую или застревал, и тогда Тайда́ков про себя ругался.

Некоторое время Вала с улыбкой следила за его работой, потом подошла и взяла из его рук рубанок.

— Разве можно так обращаться с инструментом? — Она сняла пальто, аккуратно положила на стул и, подправив рубанок, как это делала еще в школе, подошла к верстаку. Пушкирев крякнул и иронически заулыбался. На его круглом лице с приплюснутым носом написано было предвкушение потехи.

— Ребята! — крикнул он. — Смотрите, новый мастер объявился...

Воспитанники с любопытством обернулись, некоторые подошли поближе. Вала между тем спокойно закрепила доску и стала проворно орудовать рубанком. Ее движения были плавны, четки. Стружка тонкой спиралью падала на пол.

Ребята переглядывались — сначала удивленно, потом восхищенно. Через пять минут доска была гладко выстрогана и отливалась матовым блеском.

— Вот так! — сказала Вала, отряхивая с платья мелкие стружки. — Скоровка нужна... и самолюбие. — Смеющимися глазами она взглянула на Тайда́кова и стала одеваться.

Пушкирев поспешил к своему верстаку.

— Ну как, утерла вам нос, работнички? — смеялись ребята.

...После этого случая Тайда́ков стал как будто еще угрюмее. Но на девушку смотрел теперь иначе: не обращался к ней на «ты», не грубил, как прежде, стал регулярно приходить на дополнительные занятия и внимательно выслушивал ее объяснения.

Все чаще он задумывался о будущем.

— Скажи, Степка, есть у тебя цель в жизни? — как-то раз спросил он Пушкирева. Тот удивленно оглядел Алексея и едко усмехнулся.

— Еще бы! Сейчас у меня одно на уме — поскорее смотаться отсюда на свободу, вдоволь покутить, а потом...

— Снова сюда? — невесело рассмеялся Алексей.

— Нет, брат, и калачом сюда больше не заманишь, — признался Пушкирев. — Хотя и гово-

рят некоторые, что для них тюрьма — дом родной. Брехня! Тюрьма есть тюрьма, и колония, сам чувствуешь, не горница. Драят нашего брата по всем линиям... Ну, а у тебя, например, что за цель? — вдруг хищно спросил Пушкирев.

— У меня ее нет, — как бы рассуждая сам с собой, начал Тайдаков. — Болтаюсь между воорами и работягами и ни к какому берегу пристать не могу... Вот ты говоришь — воля. А что на воле нашему брату делать? Браться за ста-  
рое? И так без конца: воля — тюрьма, тюрьма — воля. Какая это цель в жизни?

И тяжелая злоба к Пушкиреву, ко всем, кто толкает неискушенных на путь подлости, шевельнулась в Алексее.

Детство у Алеша Тайдакова было обычным: до школы беготня по улицам, игра в мяч, драки.

Алеша любил своих родителей, особенно ласковую и кроткую мать, вечно хлопотавшую по хозяйству. Она души не чаяла в своем сыне. Чрезмерной любовью матери Алеша частенько злоупотреблял, зная, что ему все будет прощено.

Он был уже в шестом классе, когда вместе с другом Толей они забрались в учительскую и из шкафа украли несколько тетрадей и карандашей. Потом у зазевавшейся девочки из кармана вытищили десять рублей. Об этом никто не узнал. Осмелев, стали запускать руки в карманы взрослых, толкаясь в трамваях, автобусах, магазинах.

Однажды Алеша был задержан милицией.

Состоялся суд, а через неделю Алеша был отправлен в колонию. Там он попал под влияние воров-рецидивистов, которые внущили ему мысль о побеге.

И вот во время сельскохозяйственных работ Алеше удалось бежать из колонии.

В поисках случайного заработка он метался по городам и поселкам. Однажды забрался в железнодорожный буфет и был пойман с поличным. Снова тюрьма, а оттуда его направили в колонию, где начальником был Иван Алексеевич Пронкин.

Здесь Тайдаков увидел дружный коллектив ребят, внимательных, дружелюбных воспитателей, какое-то иное, чем прежде, отношение к нему. И вот Валя. Все больше проникался он уважением к ней, по-иному стал глядеть на самого себя.

Однажды Тайдаков сидел в общежитии и уже который раз перечитывал письмо из дома. Вошла Валя. Увидев его печальное лицо, она спросила:

— Что-нибудь случилось, Алеша?

У Тайдакова вдруг запершило в горле. Неожиданно для самого себя дрогнувшим от волнения голосом он стал рассказывать о своей больной матери, о том, как жалеет, что причинил ей много горя.

Валя слушала подростка, низко опустив голову, а когда он смолк, спросила, почему он до сих пор не говорил о своей матери.

— А кому до этого дело?

— Как кому? Разве это только одного тебя касается?

Валя ушла, и Тайдаков спохватился: зря раз откровеничался. Теперь она расскажет начальнику. Зачем? Все равно этим мать не вылечишь...

На следующий день Тайдакова действительно вызвали к начальнику колонии.

— Опять будут стружку снимать, — заметил Пушкирев.

Но, к его удивлению, Тайдаков, возвратясь,

заклонил голову вправо, в сторону Алеси, и сказал:



— Я тебе помогу, Алеша, — сказала Валя.

Вопрос встал лишь о том, отпустить Тайдакова домой одного или с сопровождающим.

Решили собрать воспитанников первого отделения.

Говорили обстоятельно. Взвешивали «за» и «против». На собрании присутствовала и Валя. Она видела, как Тайдаков волновался. Ведь речь шла о доверии; сумеет ли он его оправдать. Большинство высказалось за то, чтобы Тайдакова отпустить одного, взяв с него слово, что он вернется в срок. Валя тоже поддержала это предложение.

...Прошла неделя. Сегодня Тайдаков должен возвратиться. Но настала ночь, а Алеша все еще не было.

Некоторые из ребят утверждали, что ждать бесполезно: Тайдаков добровольно не вернется. И, что странно, не верили Тайдакову его же приятели.

В тревоге и тяжелом раздумье провел ночь начальник колонии Пронкин. Он пытался связаться по телефону с Курском, куда поехал Тайдаков, но из-за прошедших сильных метелей связь не работала.

Утром Валя поехала в институт, сказав Кравцову, чтобы тот обязательно позвонил ей, если появится Тайдаков. Но прошел день, а Алеша все не было. Настроение у ребят было подавленное. И вдруг около шести часов вечера по колонии разнеслась весть: Тайдаков приехал, ждет на вокзале.

Немедленно снарядили «газик». Вместе с Кравцовым на вокзал поехала и Валя. Как она обращалась, увидев виновато улыбающегося Алеше!

— Понимаете, — говорил он простуженным голосом, — метель... Поезда не шли... А вы, наверное, подумали... — И губы его дрогнули.

— Нет, что ты! — воскликнула Валя, — Я была уверена, что ты вернешься.



**П**одготовка к диспуту была в разгаре. В библиотеке нарасхват разбирались книги, которые Валя рекомендовала ребятам прочитать.

Редколлегия первого отделения выпустила сатирический бюллетень. Среди других материалов там была помещена карикатура на Пушкирова. Он был изображен спящим на верстаке. Подпись гласила: «Лодырь и прогульщик нам не товарищ». Пушкиров злился, грозился уничтожить бюллетень, но ребята зорко следили за ним.

О том, как прошел диспут на тему «В чем красота человека?», Валя записала в дневнике:

«...В тот день, когда был назначен диспут, я пришла в колонию сразу же, как только закончились занятия в институте. Воспитанники уже собирались в комнате отдыха; здесь были вывешаны фотоиллюстрации, выдержки из книг, пословицы, поговорки.

Первым выступил староста класса Толя Чубарев; в отделении его прозвали «философом». Волнуясь, он то и дело бросал на меня вопросительный взгляд, как бы спрашивая, так ли он говорит. Мне нравится этот серьезный, усидчивый и любознательный подросток. После его жаркого выступления наперебой говорили другие ребята.

— А как ты, Тайдаков, понимаешь красоту человека? — неожиданно спросил Василий Павлович Кравцов.

Наступила тишина. Все повернули головы в сторону Тайдакова. Пушкиров хихикнул и локтем толкнул друга в бок. Алексей медленно встал и, насупив брови, молчал.

На выручку поспешил Пушкиров.

— Красивая подруга жизни — это все, как мне говорил один приятель. С красивой приятно, например, пройтись по улице, потанцевать... — Пушкиров стоял подбоченясь и высокомерно рассматривал по сторонам. Тайдакову, видно, стало не по себе от кривляния друга.

— Кончай, ты!.. — бросил он и так взглянул на Пушкирова, что тот поперхнулся и умолк. — Ничего ты не смыслишь, — резанув рукой по воздуху, продолжал Алексей. — Не в том красота человека. Она может быть и красивой на лицо, да пустой... Я так понимаю: красивым не рождаются. Красивым можно стать потом, и то не всегда...

Тайдаков хотел, видно, еще что-то сказать, но махнул рукой и сел на свое место.

— Ребята одобрительно шумели».



**П**остепенно Тайдаков наверстывал упущенное. В свободное время брал какую-нибудь книгу и читал, чего раньше за ним не замечалось. Казалось, парень твердо встал на путь исправления. Но однажды он вновь сорвался. И вот как это получилось.

Как-то Пушкиров, разыскивая друга, заглянул в школу. Там, в одном из классов, увидел Тайдакова и Валю. Они сидели вдвоем и о чем-то оживленно разговаривали. «Все ясно», — ухмыльнулся Пушкиров, прикрывая дверь. Его взяла злость. «На меня ноль внимания, а с ним цацкается. Чем я хуже его?» — рассуждал Пушкиров, направляясь в общежитие.

— Ребята, — крикнул он, вваливаясь в комнату. — Есть новость! — И, делая таинственные намеки, он стал болтать о том, что его друг «зря время не тратит».

— Брешешь! — в гневе крикнул Чубарев.

Когда Тайдаков узнал об этом, у него потемнело в глазах. Он разыскал Пушкирова и жестоко избил его. Потом явился к воспитателю и спокойно сказал:

— Я избил одного...

Как ни пытался Кравцов узнать, что произошло между приятелями, Тайдаков не сказал.

А спустя несколько дней Пушкиров сам подошел к Тайдакову.

— Зря дуешься на меня, — сказал он примирительно.

Тайдаков отчужденно взглянул на него.

— Вот что, — сказал он, хмуря брови. — Валю не трожь. Ясно?.. И еще. Мы с тобой говорили о многом, так ты выбрось из головы... Вообще, башка у нас с тобой забита была не тем. Подумай хорошенъко... Я о многом передумал...

Через несколько дней происходил смотр общежития. Лучшее место по чистоте, уюту, порядку завоевало первое отделение.

— В этом вы одержали победу, — сказал начальник колонии, — а вот как с учебой, с производственным планом?

Весело подмигнув ребятам, воспитатель уверен-но сказал:

— Первое отделение должно быть первым и в школе и на производстве...

— Правильно! — раздался хор голосов.

Пронкин заметил:

— Не дружно... Не слышно, например, голоса Тайдакова и еще кое-кого.

— А я — как все, — ответил Тайдаков.

А в Валиной тетради появилась новая запись: «У меня с Тайдаковым состоялся откровенный разговор. Он сказал: «Не бойтесь за меня, не подведу...»

Берю, Алексей...»



b. DauMier

**Т**ворчество Оноре Домье, знаменитого французского художника XIX века, принадлежит всем странам и всем временам. Домье всегда будет «своим» и «современным» для всех, кто не ненавидит произвол и насилие, кто презирает подлость и пошлость. Подлинный патриот, пропагандист и борец по натуре, Домье был непримиримым врагом моральных устоев буржуазного общества. Это был величайший сатирик своего времени.

Домье стал известен в начале 30-х годов прошлого столетия прежде всего как график-литограф. Свой путь в искусстве юный Домье начал с иллюстраций в газетах и журналах. Его революционная настроенность энергично проявлялась не только в его рисунках, но и в жизни. Домье сражался и был ранен на баррикадах Июльской революции 1830 года. За дерзкую сатиру на короля Луи-Филиппа он полгода отсидел в тюрьме. В период 1830—1835 годов Домье создал самые острые и беспощадные свои сатиры. О них можно судить по литографии «Вам предоставляется слово»: председатель издавательски любезно обращается к несчастному обвиняемому, у которого завязан рот. В глубине зала виден другой обвиняемый, уже прижатый к плахе. Документы защиты разорваны и брошены на пол.

Этот рисунок — правдивое разоблачение лицемерия и жестокости буржуазного правосудия. Литограф-



Оноре Домье.

Автопортрет.

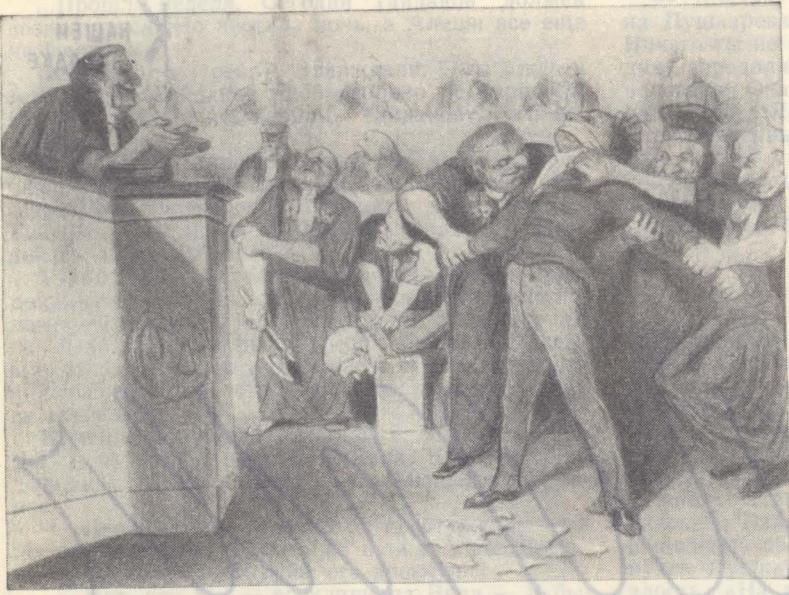
фия была одной из последних, прорвавшихся сквозь цензуру. Осенью 1835 года была запрещена свобода прессы, закрыт журнал «Карикатор», в котором сотрудничал Домье.

Художнику пришлось ограничиться бытовой карикатурой. На протяжении многих лет в журнале «Шаривари» (то есть «Кошачий

концерт») печатались серии его литографий, само название которых раскрывает их содержание: «Добрые буржуа», «Супружеские нравы», «День холостяка», «Лучшие дни жизни», «Съемщики и домовладельцы», «Купальщики» и множество других (всего около 4 тысяч работ). Подобно Бальзаку и другим представителям реализма XIX века, Домье в своих рисунках стремился вскрыть связь и зависимость характеров от социальной среды. В литографии «Шесть месяцев супружеской жизни» дан один из эпизодов трагикомедии буржуазной семьи, где раскрывается духовное убожество и бесодержательность чувств буржуа.

Домье доводит выразительность мимики и позы героев до гротеска, сохраняя в то же время художественное правдоподобие реальности. Он величайший мастер в передаче движений. Его штрихи уверен и лаконичен. В своих литографиях Домье создавал такую красивую, бархатистую глубину черного цвета, такое сверкание света, такие прозрачные, серебристые тени, что его имя можно поставить наряду с великими Рембрандтом и Гойей.

К сожалению, популярность Домье как графика оставила в тени другую замечательную грань его творчества — живопись. Правда, он стал заниматься ею позже, уже в зрелые годы, но перенес в нее все свои основные творческие искания. В графике Домье разоблачал и смеялся, в живописи раз-



«Вам предоставляется слово».

мышлял с кистью в руке. Литография для Домье была средством к существованию, источником заработка. Картины он писал для себя. Это был его досуг, плоды раздумий.

Живопись раскрывает глубокий и мужественный оптимизм Домье, его веру в человеческое достоинство, в глубину и искренность чувств. Он находит эти качества у простых людей из рабочей среды. Сам активный участник революции, Домье неоднократно обращался к теме уличных боев, нашедшей завершение в картине «Семья на баррикадах». Домье располагает фигуры таким образом, что они кажутся выхваченными из мгновение нашим взором из общего стремительного людского потока. Домье не выписывает мелких деталей лица и одежды — ведь их невозможно было бы уловить, — он ограничивается основными, направляющими линиями, смелыми, красочными пятнами, сочетание которых усиливает общую динамичность картины.

Проблема передачи массового движения была одной из основных в живописи XIX века. Но у Домье искание формы всегда тесно связано с идейным содержанием картины. В замечательном рисунке «Камиль Демулен призывает народ»

восстанию 12 июня 1789 года» художник с неподражаемым мастерством передал единый порыв толпы, устремившейся к оратору.



«Шесть месяцев супружеской жизни». (Литография).

А тот, в свою очередь, высится над людьми, подобно дирижеру, направляющему бурю народных чувств. Иным характером отличается стремительное движение ве-реницы людей в картине «Эмигранты», проникнутой захватывающим трагизмом.

В таком произведении, как «Художник», передано творческое состояние самого автора. Трудно представить себе большую концентрацию внимания, критической настороженности к самому себе и внутреннюю активность при внешней застылости позы. Характерны смелые мазки, одновременно создающие иллюзию объема и освещения.

Домье был подлинным новатором в области живописи. Он понимал, что для новой, современной живописи должен быть найден соответствующий язык форм. Одним из таких экспериментов был этот «Читающий книгу». Отвергнув устарелые академические правила, следя лишь своему необычайно точному художественному воображению и памяти, Домье одним красным мазком обозначает форму, толщину и расположение книги в пространстве. Не вырисовывая детально анатомическую форму глаза, Домье в то же время передает внимательный взгляд человека.

«Сцена из спектакля» знакомит нас с еще одной областью исканий Домье — с проблемой освещения. Он увлекался передачей огней театральной рампы, при которых формы тела и черты лица под гризом принимают неожиданные и непривычные формы.

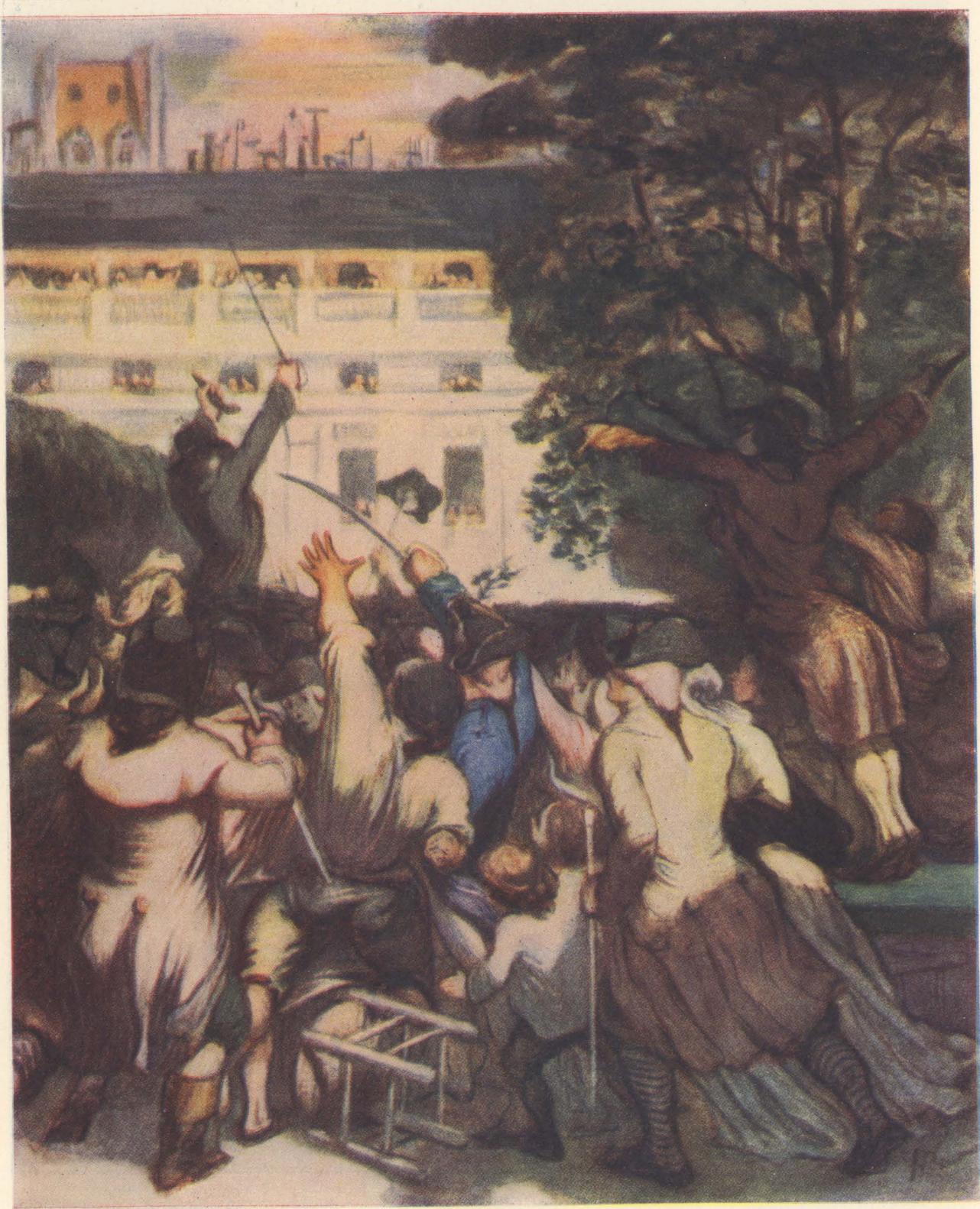
Особенность таланта Домье была в величайшей свободе выбора изобразительных средств для воплощения идеи. Его не останавливали трудности техники литографии, иниграции, живописи и даже скульптуры. Но как бы смелы ни были его искания художественной формы, они неразрывно сочетались с глубоким идеальным содержанием произведения.

Творчество Домье органически слито со всей его честной и трудной жизнью. Ослепший под конец жизни, в борьбе с надвигающейся нищетой, замечательный художник умер, оставив богатейшее художественное наследие. Его творчество до сего дня служит путеводной звездой борцам за современное демократическое искусство, и такие замечательные мастера советской сатиры, как Кукрыники, как многие другие, справедливо признают Домье одним из своих лучших учителей.



Семья на баррикадах.

Из произведений французского художника Оноре ДОМЬЕ (1—4 страницы вкладки)



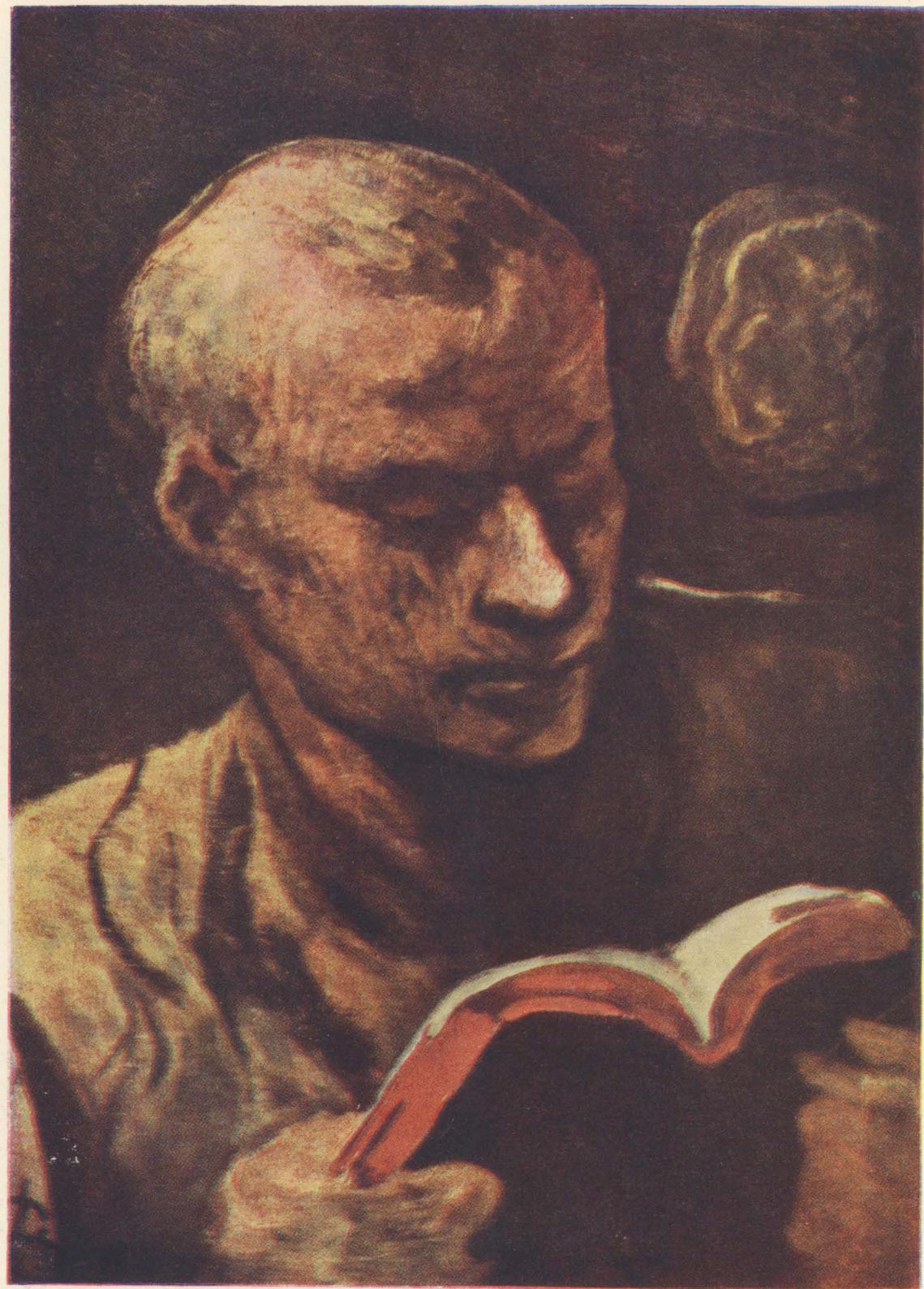
Камиль Демулен призывает народ к восстанию 12 июня 1789 года.



Эмигранты.



Художник.



Читающий книгу.

**Э. ЧЕРЕПАХОВА** Был бы и юная любовь к работе  
и юношеская тяга к новому, то можно было бы от-  
нести к нему заслуги. Но ведь есть и другие качества, кото-  
рые делают человека интересным. Это, конечно, юношеская  
жизнь. Она же и есть самое главное в жизни юноши.  
Она же и есть самое главное в жизни юноши. Она же и есть самое главное в жизни юноши.

**СИЛЯНИМОВЫМ ОТРЫВКАМ** Ольга  
Толстая, Евгений Симонов, Юрий Борисов, Юрий  
Борисов, Юрий Борисов, Юрий Борисов, Юрий Борисов,

## ЛЮБИМЕЦ ПУБЛИКИ

Рисунки В. Барышкова.

**Че Пе!**

**В**се шло как по маслу. Стешко уже дал интервью. Корреспондент нацелился объективным глазом «ФЭДа» и бодро попросил:

— Улыбнитесь нашим читателям!

И затем щелкнул: сначала затвором, а потом языком — от удовольствия. Передовик ему явно нравился: такой высокий, сильный, стоит, вороча золотистый чуб, и смущенно поводит широкими плечами, будто ему впервые сниматься.

— Что же вы, товарищ корреспондент, только меня фиксируете? — спрашивал. — Нас в бригаде пятеро. Так сказать, одна дружная семья молодых производственников...

(Журналисты у нас часто бывают, и Стешко успел усвоить некоторые их любимые обороты.)

Корреспондент, конечно, засиял:

— Отлично! Отлично! Прошу, товарищи!

— Нет, — резко сказал я и отвернулся.

— Обойдется без нас, — сквозь зубы произнес второй член «дружной семьи молодых производственников», Володя Артиков.

— Извините, мы потрясающие заняты, — вежливо уклонился Пашка Голованов, обычно на редкость корректная личность.

Нина ничего не сказала. Но, когда ошарашенный Стешко посмотрел ей в лицо, он увидел глаза, подернутые ледком, и возле губ горький росчерк морщинки.

— Вы что, ребята? — осипшим голосом обратился он к нам. — Я вас сегодня на новоселье хотел... По-хорошему... В чем дело, ребята, Нина?

Он смотрел на нас, широко раскрыв светлые, всегда веселые глаза.

— Вот тип! — пробормотал Володя. — Ждал на новоселье, слыхали? — Он повысил голос, но Нина взяла его за рукав.

— Брось ты, — проговорила она. — С ним не так надо... Сам понимаешь.

Корреспондент только глазами хлопал. История! Вероятно, он побывал у начальства и там сказали: «Стешко? Золотой работник! Передовик,

зарисовкой» подбежал Пашка и сел на скамейку, протягивая руки.

— Толя, ты где? — спросил он.

— Я там, понимаешь, — отвечал Толя, поднимаясь с места.

Пашка поднялся и, поклонившись,ново сел на скамейку.

— Толя, ты где?

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

Ты об этом спрашиваешь? — Толя, ты где?

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.

— Толя, ты где? — спрашивал Пашка, поднимаясь с места.



81



— Вон вы как? При людях такое устроили... Ладно! Валяйте... Хотел бы я знать, что же вы в конце концов мне инкриминируете?

Ишь ты, «инкриминируете»! Я взглянул на Пашку. Он упорно рассматривает материал, из которого сделан пол в нашем цехе. Грустным воспретительным знаком стоит хвостик на его берете... Я вдруг обратил внимание, что берет он носит точно так же, как Стешко,— набок и слегка приминая с одного бока. Черт возьми! Я сам ношу точно так же с тех пор, как познакомился с Толей Стешко! Я рывком снял берет, расправил его и напялил на самый лоб, как попало.

— Ну, давайте за работу,— глухо сказала Нина.

Стешко набрал в рот воздуху, словно хотел что-то выговорить, но мы не стали дожидаться, пошли по местам: перерыв кончился. Обыкновенно команду подавал он, бригадир, и всегда с шуткой какой-нибудь, например: «Ну, сделаем, братцы, перерыв на труд!»

Сегодня ему не до шуток, и нам не до шуток. По правде говоря, тяжело.

— Эй, вы, стешковцы, чего нос повесили?— спросил знакомый паренек, пробегая мимо нас. Володя покраснел от досады:

— Стешковцы! Пошел ты... Сам стешковец!

У Анатolia какой-то осунувшийся вид. То ли он меньше ростом стал, то ли мне мерещится. Нет, не мерещится, он маленький... Он оказался

страшно маленьким и мелким... Но что мы можем ему «инкриминировать»? Ничего «такого», ничего, за что судят, снимают, выносят выговоры и так далее... «Ин-кри-ми-ни-ру-ете» — какое холодное, каменное, скользкое слово!.. А ведь как мы носились с ним, с этим Стешко! Словно с писаной торбой, честное слово! Странно и грустно вспоминать. А вспоминают об этом все — я вижу по лицам ребят, по их глазам.

## Что мы вспоминали?

**В**споминали, как началось наше знакомство. Стешко был первый, с кем мы подружились, когда пришли на этот завод резиновых изделий. А пришли мы совсем зеленые, едва успевшие забыть свои недавние страхи перед отметками по поведению в четверти и контрольными по немецкому. Он поразил нас сразу же и наповал. Всего на три года старше нас, а какой знаток техники! Какой мастер своего дела! Стенная газета посвящала ему свои передовые, многотиражка печатала о нем очерки...

Показывая нам, как надо работать на комбинат-машинах, которая склеивает и «бинтует» рукава для тракторов, машин, сварочных аппаратов, он широко, добродушно улыбался, и его портреты на Доске рационализаторов и на Доске почета как будто повторяли эту улыбку.

— Как называются вот эти железные палочки? — робко спрашивали мы, показывая на длинные металлические стержни, лежащие возле комбинат-машины.

Он, не задумываясь, отвечал:

— Эти палочки называются «дорны». Мы повторяли почтительным эхом:

— Дорны!

— А как называются эти куски материи?

— Эти куски материи, — посмеиваясь, объяснял он, — называются «косяки прокладки».

Мы послушно повторяли за ним:

— Косяки прокладки!..

Он умел на глаз определять марку резины, с его языка легко слетали загадочные для нас слова: «моддинги», «каландр», «шприц-машинисты», — всему он умел дать объяснение, все он знал... С ним интересно было и по другим цехам пройти — там, где с непривычки чихаешь от серого, как пыль, талька и щекочущих запахов разноцветных kleев; везде он был «в курсе». Мы всегда первые получали зарплату, доставали лучшие билеты у «культсектора», потому что Стешко всегда держал с ним личный контакт и умел его убедить, что молодежной бригаде необходимо культурно расти и развиваться. В столовой у него оказывалась знакомая буфетчица, в медпункте — знакомая медсестра; со всеми он ладил, все звали его по имени и никогда не отказывали, если он обращался с просьбами. И не то, чтобы делал он что-то особенное. Так просто, личное обаяние...

Мы были прямо влюблены в него. Мы так прислушивались к каждому его замечанию, так рассматривались к каждому его движению, когда он работал, что довольно быстро освоили комбинат-машину.

Иногда у Стешко спрашивали:

— Ну, как там твои школьники? Он отвечал:

— Ничего... Заработать умеют...

Он подружился с Ниной, и мы перестали набиваться ей в провожатые и предлагать «случайно» оказавшиеся у нас билетики в кино и театр. Мы молчаливо признавали его превосходство.

После работы он скидывал комбинезон и надевал новеньющую рубашку в полосочку и серый костюм. Брал под мышки папку — что твой работник глава! — и отправлялся учиться в техникум. Он готовился стать технологом по резине. В цехе с ним очень считались. Нина то и дело рассказывала:

— Опять Стешко пригласили на актив. Опять Толю вызывают на совещание. Опять бригадира пришли мучить журналисты... Покоя нет.

Нас стали называть стешковцами. Мы краснели от удовольствия. Я записал в дневнике, что скоро попрошу у него рекомендацию в комсомол.

Володя как-то сказал мне:

— Толковый малый наш бригадир... Энтузиаст настоящий!

Пашка любил щеголять стешковскими словечками, вроде: «Теперь такое время — за одного культурного двух некультурных ни в одном отделе кадров не возьмут».

В спорах, даже не имеющих отношения к производству, мы любили говорить друг другу: «Стешко услышал бы, он бы тебе прописал...»

Он становился для нас мерилом, образцом настоящего рабочего человека.

И вот мы пришли на одно производственное совещание. Встал наш бригадир, повернувшись к привычке свои золотистые волосы и начал высоким, крепким голосом речь о том, что надо заводской маркой дорожить, ежели есть в тебе настоящая рабочая совесть. Он долго с возмущением рассказывал о том, что автомобилисты жалуются на нас, мол, резино-металлические сальники халтурно делаем: и мороза они не выносят, и жара на них действует губительно. И потом случается, из машины, оставленной на некоторое время на улице, вытекает тормозная жидкость: наш завод выпускает такие гидротормозные манжеты, что они при эксплуатации затвердевают и уменьшаются в диаметре. Разве это не позор, не стыд?! По всему Союзу поминают нас недобрым словом и пишут на завод и в газеты неласковые письма. Даже резиновые «дворники» — стеклоочистители — мы отправляем за ворота порой в таком виде, что самим неведомо: заранее знаем, мало пользы от этих «нерях и лентяев». Как заработает наш «дворник», на стекле черные полосы появятся... Такие дела! Гоним план — скорей, скорей, больше, больше! — а на качество плюем. Мало думаем о тех, для кого работаем, — о людях...

Говорил он легко, увлеченно, интересно. Володя, никогда не отличавшийся ораторскими способностями, то и дело шептал нам:

— Во! Так надо выступать, ясно?

Нина сидела, раскрасневшись от радости. Из всех бригад поддерживали Стешко, хлопали ему. На всех почти лицах было одно и то же добродушное выражение: хороший хлопец, горячее сердце.

Мы с Пашкой слушали, раскрыв рот, и даже разика два крикнули с места:

— Правильно!

А через неделю у нас в бригаде вышла такая история. Пашка работал вальцовщиком — рукава «бинтовал» (есть такая операция на комбинат-машине). Ну и зазевался как-то, нахалтурил, напутал — в общем, получился брак. Растряпанный,

красный, подбежал Пашка к бригадиру и, занявшись, проговорил:

— Толя, ты только не ругайся, пожалуйста... Я там, понимаешь, напорол, кажется...

Толя побежал смотреть и быстро убедился, что Пашка действительно напорол. Он нахмурился, повернулся, волосы, повздыхал и, как-то расцепленно шаря глазами по стенам цеха, сказал:

— Ну, ладно... Чтобы это в последний раз... Ты об этом не трепись, парень, нигде... А в ОТК я договорюсь как-нибудь... Там у меня знакомая девчина...

— А как же... заводская марка? — пробормотал я. — А водители, которые поминают нас недобрым словом?

Стешко шутливо пихнул меня в плечо:

— А как насчет того, чтобы всем без премии к концу месяца оставаться? И попасть в отпетые бракоделы? Диалектика, брат: у каждой палки



обязательно два конца. А за качество мы еще поборемся, не дрейфь!

...Рукав, о котором шла речь, в ОТК пропустили.

Володя, резковатый в суждениях человек, сказал по этому поводу что-то довольно грубое, но Нина вспыхнула и заявила, что у него просто несносный характер: Стешко ведь не только за себя — за всю бригаду боялся, что она заработает мало денег и плохую славу на заводе.

Пашка поддержал ее. И мы, может быть, вскоре забыли бы об этом случае, если бы не другой эпизод.

Как-то зашел у нас разговор об Авдонине. Володя с ним свел знакомство и уверял, что это «очень интересный мужик».

— Душа-человек, — говорит. — У него дома орава — пятеро детишек мал-мала меньше. А он

перешел в отстающую бригаду. Как с деньгами сейчас оборачивается, одна жена знает. Ведь по-куда еще вдвое меньше зарабатывает.

Володя прямой малый. Он признался:

— Вот я бы так, может, не смог. Просто не решился бы. Тут надо характер иметь особый, помоему. Авдонин мне так сказал: я, мол, выдержать не мог. «Как гляну на своих соседей, что они там творят, так сердце и заходится: какие же вы, собачьи дети, клейщики?!» Начнет он им выговаривать, а они орут: «Ты нам не бригадир, у нас свое начальство!» Ну, он взял и перешел к ним, стал начальством. Налаживает помаленьку, воюет...

А Стешко тут же с нами сидел (в обед дело было) и слушал. Вдруг он сказал:

— Ты за этого Авдонина, парень, не волнуйся, что он там мало зарабатывает и прочее такое... У него башка варит... Он, наверное, так рассудил, как умный человек: «Перебьюсь годика два для хороших характеристики — и порядок! А там меня и в мастера двинут...» Вот так вот... Потерпеть стоит, что и говорить!..

Володя посмотрел на него и спрашивал:

— А чего же ты сам не перешел в отстающую бригаду? Ты, что, не хочешь характеристику заработать или не считаешь себя умным человеком? Или неохота бюджет перетряхивать?

Говорю вам: резковатый парень Володя! Стешко оглядел свою притихшую, насторожившуюся бригаду и ответил:

— Я, может, и перешел бы, но знаю: не отпустите вы меня. — И засмеялся — добродушно так, заразительно.

Но только одна Нина смех его подхватила, да как-то неуверенно и скоро замолчала.

Тогда, видно, и пролегла в наших отношениях первая трещинка. И случай с бракованным рукавом припомнился и его назидание: «Диалектика, брат: у каждой палки обязательно два конца...»

Но все-таки мы были еще сильно привязаны к нему. Он раздобыл футбольный мяч, и в перерывы мы гоняли на заводском дворе. Он здорово бегал, здорово обводил, здорово бил. Мы приходили в азарт, подшибали друг друга и были ужасно довольны.

Володя как-то сказал Пашке:

— Нет, что ни говори, он все-таки неплохой парень, неплохой...

Он несколько раз повторил это слово, будто с кем-то спорил.

А тут подвернулось такое дело. Приходим мы на работу утром, в первую смену. Встали к машине, а работа не клеится. Для клейщиков в этом выражении грозный смысл заложен. Из подготовительного цеха к нам поступили смеси с «сюрпризами» — щепкой, камнями, всяким сором. Цех нервничает, смеси возвращают назад, время идет, график летит к черту.

Ребята из соседней бригады, тоже клейщики, встревожились еще больше нас: у них дела и так неважно идут, каждый месяц они план заваливают, а тут еще простой получился. Вадик Бондаренко, клейщик из этой бригады, бегает взад-вперед и произносит вслух нехорошие слова.

Наш Стешко мрачней тучи.

— Я им, — говорит, — покажу, я их, — говорит, — раздолбаю.

Вадик возражает:

— Когда-то еще долбать будешь, а сейчас стоим как миленькие и за хвост себя кусаем... И завтра будет то же самое, я уверен.

И тогда Нина предложила:

— Давайте, ребята, «молнию» трахнем, а? Я карикатуры нарисую, Пашка текст зарифмуется, Володя перепишет — и все! Давайте! Должна действовать такая «молния», я уверена!

Я обрадовался:

— Точно! Только надо что-нибудь про Репкина посильней сказать.

А Репкин — это начальник подготовительного цеха и член завкома.

Да, вот я и говорю:

— Сегодня комиссия по заводу ходит, пусть ему нагорит, а то он слушать никого не хочет. Засел в своем кабинете и держится за телефонный шнур, как моряк за трос во время шторма. У него всегда так: как комиссия, он висит на телефоне, обзванивает свое хозяйство... Ты как, бригадир, смотришь?

Стешко отвел глаза и неопределенно пожал плечами:

— Бросьте вы, честное слово... Что вам Репкин сделал? Он мужик неплохой, а вы его под монастырь подвести хотите. Это первое. Второе — патриотизма в вас нет: свой завод перед комиссией позорите. А вас все-таки здесь специальности обучили, здесь вы первую зарплату получили...

Ребята из соседней бригады подошли, слушают, как мы спорим.

Вадик Бондаренко высказался коротко:

— Не подводи базу, неубедительно!

Но бригадир стоял на своем. Он сильно развелся, уговаривал нас обождать: через день — два все снова наладится. Но ребята никак с ним не соглашались: чего ждать столько времени, ведь и так за сегодняшний день отстанем здорово. И Репкина нечего жалеть, он сам себя чресчур жалеет... Какие рукава пойдут при таких смесях? Брак, халтура! Больше ничего...

Стешко вышел из себя:

— Рукава назад пришлют — исправить можно... Попробуйте вот так же с отношениями... Тут уж испортиши — все, амба! Репкин же, насколько я знаю, с завода уходить не собирается...

Тогда Нина подошла к нему и сказала только одно слово:

— Анатолий!

И он тоже ответил ей одним словом:

— Нина!

Но с таким выражением поговорили люди!

Потом он сказал:

— Ладно, действуйте. Я пойду к начальству, пошурую...

Мы выпустили «молнию» — срочную, экстренную, тревожную, с обращением к Репкину. Мы принесли ее в цех, еще сырую от клея, чтобы под словом «Комсомольцы» поставить свои фамилии.

Подписались. Володя побежал за Стешко, искал, искал его, насилиu нашел. Приводит, показывает «молнию». Тот всегда авторучку в кармане носит — как же, ведь студент! Вынул ее, прочел раз, вздохнул, поправил какой-то знак препинания, прочел во второй. Сунул самописку в карман и говорит:

— Ну, молодцы, прямо молодцы! Идите, вешайтесь...

Я спросил:

— А твоя подпись?

Он удивился:

— Да вы что, ребята? За кого вы меня принимаете? Чтобы я примазался к чужому труду?

Вы бегали, хлопотали, старались, а я? Нет, плохо вы обо мне думаете!..

Вадик Бондаренко сплюнул от досады:

— Благородно говоришь, аж плакать хочется, Ладно, обойдемся... Пошли!

Пашка взял «молнию», мы понесли ее в подготовительный цех и прямо на дверь Репкину и пришелели.

И «молния» воздействовала: смеси стали поступать нормальные. И по заводу пошло:

— Молодцы стешковцы!

Стешко молча принимал поздравления, иногда говорил:

— Да что вы, я тут ни при чем, это они у меня такие молодцы! — но с таким выражением, что ему отвечали:

— Брось, брось, знаем твою скромность...

А через неделю после этого распределяли комнаты в новом доме, и Стешко получил вызов на комиссию по жилищным вопросам.

Он, правда, давно уже просил комнату. И как же такому активному и сознательному не дать ордера?! Но смотровые ордера вручал раскрытикованный нами Репкин, и Стешко, пока до него очередь дошла, волновался ужасно:

— Если бы не «молния»... — вырвалось у него. — Если бы вся эта история произошла после, после комиссии... Ах, черт!

И хотя он сказал это негромко, одной Нине, мы услыхали, потому что были рядом. Мы хотели посмотреть, как он будет получать ордер, и послушать, что он станет говорить. Все прошло блестяще. Когда он вошел в залком и представал перед жилищной комиссией, кто-то из присутствующих сказал:

— А вот и товарищ Стешко. Этот всей душой за наше, заводское... Помните, недавно вышла боевая «молния»? Его, стешковской бригады, дело. Под его руководством...

Мы ждали, ждали от него какого-то слова, какого-то жеста, чего-нибудь, что сделало бы бригадира прежним в наших глазах... Но ничего не произошло. Он получил ордер, улыбался, отвечал на поздравительные рукопожатия, благодарил, выслушивал похвалы как должное...

Мы ушли домой прежде, чем он вышел из залкома. На душе было муртено.

Но что мы могли ему «ин-кри-ми-ни-ро-вать»? Вадик Бондаренко произнес:

— Э, слизняк!

Мы разошлись по домам, чувствуя, что еще предстоит трудный, откровенный разговор.

А на следующий день к нам прислали корреспондента. И получилось так, что разговор начался при нем...

После этого, вторую половину смены, мы работали молча, перебрасываясь лишь самыми необходимыми словами, не глядя друг на друга. А когда кончили, пошли, не дожидаясь Стешко, в душ, а потом в раздевалку. Мы стояли с номерками в руках, а он уже успел одеться (конечно, раньше всех) и топтался на месте, не зная, как ему быть. Наконец он окликнул Нину. Она взглянула на него и отвернулась. Пашка насмешливо засвистал и начал слегка притопывать ногой. Я



старался поймать взгляд Анатолия. Остальные глядели исподлобья. Мы молчали, но он вдруг сорвал кепку и крикнул:

— Да что вы ко мне привязались в конце концов? Что вам надо? Я с вами, как с людьми... Чуть не каждый месяц по полторы нормы железно давали... Зарабатывали со мной — дай боже!.. Так нет, все шипят, все чего-то копают... Да на кой вы мне сдались? Я вот в отстающую бригаду уйду! Мы с ними такое завернем!.. Правда, Вадик? Я к вам переберусь, посмотришь! У вас действительно люди, с ними можно дело иметь...

Вадик Бондаренко смерил его взглядом с ног до головы.

— Спасаешься бегством? — спросил он. — Инт-рес-но...

Стешко вздрогнул и снова повернулся к нам. Он стоял перед нами, наш бригадир, а мы перед ним.

Он ведь неглупый парень, этот Стешко. Он, вероятно, понял, что сбежать не удастся, не позволим мы.

— Ну, до завтра, — медленно, с трудом выдавил он.

И дверь резко хлопнула, затворившись за ним.

Мы стояли и смотрели ему вслед.

До завтра, Стешко! До завтра, на прежнем месте...

Место, оно, конечно, прежнее. Но какое будет «завтра»? Как ты его начнешь? Теперь мы твердо знаем: это зависит не только от тебя, но и от нас, от всех нас.

—

И. НЕНАРОКОМОВА

# ЦИФРЫ И ЖИЗНЬ

Рисунки П. Шорчева.



## НЕМНОГО О СКУЧНОМ

Десять обыкновенных цифр, от нуля до девяти. Скомбинированные по-разному, они составляют множество чисел. Сами по себе они ничего не значат. Если их приводят слишком часто, бывает скучно читать статью. Тогда говорят: «засушили материал».

Но нужно уметь видеть, что скрывается за этими цифрами и стоящими с ними рядом буквами — т. квт.-ч. км. Нужно уметь их читать. И тогда они расскажут о том, сколько произведено тонн стали или добыто угля, сколько выработано миллиардов киловатт-часов электроэнергии, сколько проложено километров железнодорожных путей. Цифры расскажут о нашей жизни.

Вот, например, цифра 70,7 миллиона тонн. Она приведена в итогах выполнения плана развития народного хозяйства нашей страны за первое полугодие нынешнего года. Это тонны нефти. Ее добыли на Каспии, в Башкирии, на Сахалине, Печоре... Куда идет столько нефти? Что можно сделать из этих миллионов тонн? Да очень многое. Горючее для двигателей и топливо для бытовых нужд, вазелин и мазут, шины и духи, парафин, анилиновые краски. Обыкновенный нафталин от моли — тоже переработанная нефть. Нефть — это пластмассы, лекарственные вещества и даже заменитель крови. Вот на что будут израсходованы 70,7 миллиона тонн нефти.

Или возьмем деловую древесину. Сто тридцать четыре миллиона кубических метров вывезли работники лесной промышленности за первое полугодие. Древесина — это новые дома, целлюлоза, лаки. Это новая красивая мебель, бумага, рубашки из искусственного шелка, легкие яхты, скрипки, виолончели...

Всему в хозяйстве нужен счет. Ведет его Центральное статистическое управление при Совете Министров СССР — ЦСУ. Это оно собирает и обрабатывает все данные по экономике, культуре и быту населения. «Учет и контроль — вот главное, что требуется для «наложения», для правильного функционирования первой фазы коммунистического общества», — писал В. И. Ленин. Без этого не построить нужного числа металлургических заводов и не посеять достаточно пищевицы.

Занимаются учетом бухгалтеры, экономисты, статистики — люди, без чьей кропотливой, порой утомительной работы не осуществить ни одной, самой дерзновенной мечты, не решить самых элементарных вопросов.

Сколько нужно в городе троллейбусов? Сто, тысячу?

Сколько ежедневно делать пирожных? Может быть, миллион? Но вдруг их не раскусят? Тогда много сахара, муки и других продуктов пропадет зря.

Сколько принять студентов на физические факультеты? Наверно, не меньше ста тысяч. Но вдруг через пять лет окажется, что физиков подготовили слишком много, а вот кормить и лечить их некому — не хватает поваров и врачей.

Этого, конечно, не случается, потому что у нас все делается по плану. А основу всех наших экономических планов составляет статистика. Чтобы на остановках не стояли очереди, в магазинах не портились продукты и институты подготовляли бы требуемое число физиков и врачей, нужно точно знать, сколько у нас специалистов каждой профессии, сколько жителей в данном городе, сколько учится в вузах, сколько людей населяет всю страну. Этими вопросами также занимается ЦСУ.

Троллейбусы да пирожные — это лишь маленький пример. Данные ЦСУ необходимы и для простых дел и для решения сложнейших, первостепенной важности. Так, в 1941 году, в первые месяцы войны, ЦСУ помогло спасти сотни крупнейших промышленных предприятий западных областей



страны. За три-четыре дня ЦСУ провело полную перепись всех помещений в восточных районах. Указали их размеры. С помощью этих данных в несколько дней удалось составить план эвакуации промышленности на восток. Свердловск и Челябинск, Новосибирск и Магнитогорск стали давать сталь, орудия, танки вдвойне, втройне.

Мы победили, мы снова начали восстанавливать и создавать.

Из районного центра в областной, из областного в республиканский, а оттуда прямо в Москву летят по телеграфным проводам бесконечные цифры. По ним проверяют, как выполняются обязательства и какие новые резервы можно вовлечь в производство, почему, например, в Тихорецком районе имеются потери ячменя или почему в Вологду плохо подвозят фрукты. По цифрам проверяют нашу жизнь.

## СКОЛЬКО И ГДЕ ИМЕЕШЬ

**С**амой большой и трудоемкой работой, проведенной ЦСУ в последний период, была Всесоюзная перепись населения 1959 года. Миллионы рук заполняли графы переписного листа — национальность, возраст, профессия, образование. Это была самая точная перепись за время существования СССР.

Все от мала до велика охотно помогали статистикам, решали, как правильнее ответить на поставленные вопросы. Все воодушевились начатым делом и с нетерпением ждали результатов.

А когда-то эти нужные сведения получались с огромным трудом. Особенно недоверчиво относились к переписям крестьяне.

— Коль переписывают, — жди какой-нибудь новой подати или налога.

Старались утаить количество членов семьи, скрывали свое ремесло. Разубедить людей было иногда невозможно. Восемь лет, например, обрабатывались материалы переписи 1897 года, но так и не были закончены. Все же многое стало известно. Оказалось, что в России было тогда всего около 25 процентов грамотных. Учителей насчитывали 79 тысяч, зато священников, монахов и других служителей культа — 263 тысячи.

Революция круто изменила жизнь. Началось советское строительство. Потребовалось точно узнать численность населения в стране и количество предприятий. В. И. Ленин предложил провести новую перепись — первую при Советской власти. Народу была объяснена цель переписи. В 1920 году, во время войны, голода и разрухи, ВЦИК РСФСР выпустил обращение: «Уходит старый мир капиталистической эксплуатации... Хозяином, настоящим хозяином становятся сами трудящиеся. Они должны быть не просто хозяином, а хорошим хозяином. Хороший хозяин — это прежде всего тот, кто знает все свое имущество, знает свои поля и леса, свои фабрики и заводы, знает, сколько и где он имеет... Переписи дадут нам именно такое знание. Они облегчат нам строительство на основах хорошо продуманного хозяйственного плана. Все трудящиеся, как один человек, должны помочь получить это знание, ибо хозяином и творцом жизни являются сами трудящиеся».

Обращение подписал М. И. Калинин. И хотя саботажники — тайные приверженцы старого — чинили всяческие препятствия, хотя часть страны находилась в руках интервентов, все возможные сведения были собраны.

Население нашей страны тогда насчитывало 134 миллиона.

## ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

**С**ейчас в Советском Союзе живет 214 400 000 человек. А сколько будет через двадцать лет? Это не праздный вопрос. Правительство приняло решение о составлении на этот срок перспективного плана развития народного хозяйства. Но для этого нужно знать, как будет меняться общая численность населения, сколько будет людей в работоспособном возрасте, сколько детей и пенсионеров, как разместится население на территории страны. Выяснить все это предстоит статистикам.

Чем же руководствуются они в своих подсчетах?

— Вы, конечно, понимаете, что ни перспективный план, ни прогноз численности населения не являются простой догадкой, — ответил нам начальник ЦСУ СССР Владимир Никонович Старовский. — К вопросам будущего, как и ко всему в нашей жизни, подход у нас строго научный. Приходится учитывать все «за» и «против», вычислять и сравнивать множество различных показателей.

— Мне придется назвать несколько цифр, потому что без них вообще невозможно говорить о статистике. Но, я думаю, эти цифры будут интересны читателю. Сейчас наша страна имеет самую низкую смертность в мире и очень высокий прирост населения. Н. С. Хрущев, выступая на съезде





учителей, отметил, что это величайший показатель завоеваний нашего народа. В царской России из каждой тысячи умирало в среднем тридцать человек. Семнадцать из них были дети моложе 5 лет. А в 1958 году смертность в СССР составила 7,2 человека на тысячу, то есть самая низкая в мире. Дания, Нидерланды и США, имевшие лучшие показатели, теперь уступили нам первое место. В Нидерландах средняя цифра смертности равнялась в 1958 году 7,5, а в США — 9,5 человека.

— Что же конкретно учитывают статистики при определении перспективного числа жителей? Сейчас в стране населения больше, чем до войны, на 24 миллиона. А ведь война унесла много жизней. Видимо, через ближайшие двадцать лет людей будет значительно больше, нежели теперь.

— Из чего мы исходим? Прежде всего из того, что неуклонно растет материальное благосостояние, улучшается медицинское обслуживание. Средняя продолжительность жизни до революции составляла у нас 32 года, сейчас — 68 лет. И все говорит за то, что она будет увеличиваться.

Прирост населения зависит от количества браков. Статистика показывает, что у нас заключается самое большое число браков на тысячу населения, хотя у нас еще велик недостаток жилья. Значит, молодежь уверена в своем будущем. Значит, жизнь становится лучше.

— А все-таки сколько же будет у нас народу через двадцать лет?  
В. Н. Старовский улыбается:

— Пока что я не назову вам цифру. Она еще не подсчитана точно, надо еще серьезно поработать, а наше учреждение любит точность. Пять лет назад Н. С. Хрущев говорил: «Страна наша будет тем крепче, чем больше будет у нас народа. Идеологи буржуазии изобрели много людоедских теорий, в том числе теорию перенаселения. Они думают о том, как сократить рождаемость... У нас, товарищи, иное дело. Если бы к двумстам миллионам еще миллионов сто прибавить, и тогда было бы мало». Нам нужны люди, чтобы быстрее улучшать жизнь. А вот в некоторых странах считают иначе. Там тоже проводят переписи и вычисляют прогнозы прироста. Только делается это с другой целью, чем у нас. Эту цель весьма ясно изложил в 1950 году американский журнал «Мэгэзин оф Уолл-стрит»: «Итоги переписи дают ценные сведения для любой отрасли предпринимательства в стране и позволяют проницательному банкиру, предпринимателю и специалисту по капиталовложениям определить, в каких областях можно получить сейчас и в будущем наибольшие прибыли». Что ж! Каждый сле-дует своим идеалам.

## ПОМОГАЮТ МАШИНЫ

**Д**аже в самом маленьком городе есть несколько предприятий. Каждое выпускает свою продукцию. На каждом — сотни и тысячи рабочих. Сколько же нужно времени, чтобы собрать, подсчитать, проверить это бесчисленное количество показателей?

Потребовалось, например, узнать, какова стоимость всей промышленной продукции, выпущенной за первое полугодие. На какую сумму она увеличилась по сравнению с этим же временем прошлого года?

И вот ЦСУ опубликовало данные: промышленная продукция за первое полугодие 1960 года увеличилась почти на 70 миллиардов рублей. Сколько же людей в цехах и бухгалтериях заводов, в статистических инспекциях районов сидели день-деньской над цифрами? Щелкали на счетах, скрипели перьями, изводили горы бумаги, потом разбирали все эти кипы по отдельным показателям. По несколько раз, чтобы не было ошибки, подсчитывали каждый из них. Должно быть, немало времени и труда уходит на такие подсчеты.

Нет! Оказывается, все обстоит иначе. Работников статистики не так уж много — около 50 тысяч на всю страну. А всю наиболее трудоемкую работу выполняют машины.

Приводимая цифра — 70 миллиардов рублей — была высчитана всего за 8 дней. К 1 июля все предприятия подсчитали стоимость и количество своей валовой продукции. В тот же день сведения были переданы областным статистическим управлениям. Пять суток их машинно-счетные станции подводили итоги по областям. Одновременно цифры сообщались по телеграфу в статистические управления союзных республик. А 8 июля ЦСУ СССР имело уже полные данные и доложило их правительству.

Такая скорость возможна лишь при современной технике. Около 40 тысяч показателей в час подсчитывает машина. А без нее самым виртуозным статистикам не подсчитать на счетах более 500.

Но и теперешняя скорость получения данных не предел. Уже ведутся опыты автоматической передачи сведений непосредственно с предприятия в центр, с машины на машину.



## СКОЛЬКО ЗАПАСЛИ ВАРЕНЬЯ?

— Скажите, пожалуйста, сколько сахара уходит в вашей семье в день?  
— Скажите, как вы потратили полученную премию?  
— Сколько запасли варенья?

Пожилая женщина охотно отвечает на все вопросы. Но что за нетактичный человек лезет в ее дела? Это... статистик. И не стоит обвинять его в любопытстве. Он действительно очень дотошен. Но уж такова его профессия. Он должен побывать во многих семьях и проследить, как расходуются средства рабочих, служащих, колхозников. Исследование семейных бюджетов очень важно: оно дает представление об уровне жизни народа.

Только одним статистикам без помощников не справиться с этой нелегкой работой. Но помощники есть. Это люди самых различных профессий. Из месяца в месяц свыше 24 тысяч семей рабочих и служащих и свыше 27 тысяч колхозников тщательно ведут записи своих доходов и расходов. Все они добровольно вызвались облегчить труд статистиков.

Что практически дают такие обследования? Они показывают, как растет реальная заработная плата, как растут денежные и натуральные доходы колхозников, как увеличиваются поступления из общественного хозяйства, изменяется потребление отдельных продуктов. Они показывают, сколько покупок делается в государственных магазинах, сколько в кооперативной торговле и на рынке, каков удельный вес общественного питания.

Собранный материал дает возможность лучше планировать товарооборот в стране и следить за уровнем цен на рынках.

Благодаря статистикам, собравшим и проанализировавшим бесконечное множество цифр, составляются планы и задания, по которым работают в сибирской тайге экспедиции геологов, подвозят масло и мясо в отдаленные районы. На основе статистических исследований повышают зарплату врачам и строят новые кинотеатры.

Статистика дает данные для составления планов, рассказывает о ходе их выполнения, подводит итоги. А итоги служат новой основой для новых планов. Без статистики не обойтись!

## ТОЧНОСТЬ БЫВАЕТ РАЗНАЯ

«Советы больны секретностью», «За железным занавесом», «Голая пропаганда» — такие и подобные им заголовки мелькают в буржуазных газетах. Нашу страну упрекают в том, что мы скрываем сведения о развитии хозяйства, о внутреннем положении. Очередная выдумка СССР очень широко публикует самые разнообразные статистические данные об экономической и культурной жизни. И у нас эти данные подробнее, детальнее, потому что у нас нет конкуренции, а следовательно, нет и коммерческих тайн. Капиталисту невыгодно рассказывать о своем предприятии. В США, например, до сих пор показатели себестоимости продукции абсолютно секретны. Предприниматель никогда их не выдаст: и конкурент узнать может, и рабочим не следует над ними задумываться.

У нас же эти данные являются основой планирования народного хозяйства, ибо снижение издержек производства и повышение производительности труда — одна из главных линий борьбы на экономическом фронте.

Данные в капиталистических странах собираются не по «сплошным» отчетам, а выборочно или исчисляются косвенным путем — раз в 5—10 лет. У нас предприятия отчитываются ежемесячно и даже чаще.

Каково соотношение классов в капиталистических странах, каков там уровень жизни рабочих, размер их зарплаты, рост цен — на все эти вопросы достоверных ответов не найти. Оказывается, буржуазные статистики то и дело прибегают к всяческим фокусам. Широко применяются, например, особого рода «средние» цифры, над которыми смеялся еще В. И. Ленин. Чтобы вычислить среднюю зарплату рабочих, ее подсчитывают вместе с зарплатой и премиями директоров крупнейших монополий, являющихся, как правило, совладельцами или акционерами предприятий. В результате таких манипуляций данные о доходах капиталистов искусственно преумножаются, а данные о зарплате рабочих преувеличиваются. Невелика цена этой усиленно распространяемой «статистики»!

Факты и цифры нашей жизни — вот что не дает покоя капиталистам. Не потому ли так боятся на Западе проникновения коммунистических идей, что они агитируют фактами? Эти факты можно увидеть всюду. Цифры можно прочитать везде.

Научившись читать сухие цифры, научившись видеть за ними труд миллионов людей и замечательные творения рук их, вы узнаете и поймете много интересного из жизни своей страны, своего народа.



## ПАНОРАМА „ЮНОСТИ“

● ПАНОРАМА „ЮНОСТИ“ ● ПАНОРАМА „ЮНОСТИ“ ●

1. По почину комсомольцев жители Севастополя решили сделать свой город образцом общественного порядка и высокой культуры. Они активно участвуют в благоустройстве и украшении своего города. Большинство буфетов и магазинов работает без продавцов, троллейбусы — без кондукторов, в библиотеках свободен доступ к книжным фондам.

На Севастопольской швейной фабрике в день выдачи зарплаты в цехах на столе раскладываются конверты с деньгами и ведомость. Кассира нет. Каждый получает зарплату сам. На снимке: свою зарплату берет швея Лиза Пискунова.



1

2. Первый студент из Ганы в Московском медицинском институте Атандр Сэт Веллингтон и его однокурсница москвичка Людмила Иванова готовятся к занятиям.



2

3. В Харькове открылся новый школьный кинотеатр «Звездочка». Здесь не только зрители, но и весь обслуживающий персонал — школьники. В новом кинотеатре 60 мест. Ежедневно в нем проводятся пять сеансов. На фото: киномеханик, ученик 8-го класса Леонид Рябов (слева) и его помощник, семиклассник Валерий Ященко.



3

4. Молодежь столичного автозавода имени Лихачева оборудовала неподалеку от станции Лопасня свой палаточный туристский лагерь. За лето здесь отдохнули 350 юношей и девушек. Корреспондент сфотографировал заводских туристов в момент подготовки к новому походу.

5. Молодой скульптор Петр Шапиро по заданию Министерства культуры СССР изготовил памятную медаль в честь гастролей американского пианиста Вана Клиберна. Во время работы над медалью скульптор сделал несколько портретов пианиста. На одном из них Ван Клиберн написал автору: «Чрезвычайно ценю Вашу доброту и замечательную работу, сделанную Вами. С искренностью Ван Клиберн».

6. В этом году, как обычно, десятки московских школьников — члены Клуба юных автомобилистов — совершили традиционные автомотопробеги по стране. Одна колонна прошла по маршруту Москва — Харьков — Киев — Ленинград — Москва. Другая — Москва — Казань — Куйбышев — Уральск — Пенза — Москва. За время пробега каждый юный водитель проехал за рулем не менее 2 500 километров.

7. «Кропоткинское море» — так окрестили москвичи новый плавательный бассейн в центре столицы. Ежедневно несколько тысяч человек проводят здесь свой досуг — купаются, загорают. Наш корреспондент сфотографировал бригаду коммунистического труда завода «Электросчетчик» на пляже нового, столичного «моря». Слева направо: В. Малорослянская, И. Бренер, Б. Гришин, В. Еремин, З. Щербакова, Н. Шишкина.

8. Наш фотокорреспондент сфотографировал неподалеку от Савеловского вокзала витрину «Не проходите мимо». Здесь народные дружинники Тимирязевского района столицы выставляют на суд общественности хулиганов и пьяниц. За последнее время число нарушений общественного порядка в районе резко уменьшилось.

● ПАНОРАМА „ЮНОСТИ“ ●



4

With my great affection for your  
Kinder, and the wonderful work you  
have done  
With fondest regards  
Dr Charles  
Bartholomew  
24/VIII/60



5



7



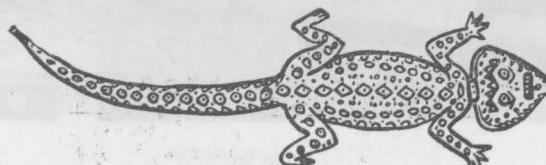
6



8

# ПОСЛОВИЦЫ АФРИКАНСКИХ НАРОДОВ

Рисунки М. Бирштейна.



- Рана заживает, шрам остается.  
Выдуманная история имеет семь версий, правдивая — только одну.  
Даже пробыв десять лет под водой, ствол не превращается в крокодила.  
Хочешь быть благоразумным — сиди и слушай.  
Если твоя жена угожает тебя изысканным обедом, спроси у неё:  
откуда берутся эти лакомства?  
Не ругай крокодила, пока ты не вышел из реки.  
Крик не признак силы.  
Единственное лекарство против ненависти — разъехаться.  
Кривой благодарит бога после того, как увидит слепого.  
Если хромает глава племени, хромает и его советник.  
Лев не одолживает своих зубов другому льву.  
Кто не осушает слез ребенка, будет плакать сам.  
Не бросай песком в крокодила; все равно это не наносит ему ущерба.  
Ребенок, который много путешествовал, знает больше, чем его родители.  
Даже в самом красивом яблоке может оказаться червяк.  
Только глупый может пойти на прогулку с украденной козой.  
Надо быть очень храбрым, чтобы подоить львицу.  
Собрав дрова в молодости, не замерзнешь в старости.  
Тот, кто тебе скажет: «Посидим еще немножко», — безусловно, сидит не на муравейнике.  
Кто работал на солнце, может спокойно есть в тени.  
Плохие вести быстро распространяются.  
На молчдые плечи нельзя насадить старую голову.  
Нет более глухого, чем тот, кто не хочет слушать.  
С крапивы инжир не собирают.  
Пославши девять дураков выполнить поручение, рискуешь превратиться в десятого.  
Никому не хочется танцевать под рычание льва.  
Кто не встречал в жизни трудностей, никогда не станет настоящим человеком.

Если ребенок плачет от голода, значит, его мать также голодна.  
Король — прав он или неправ — всегда прав.

О чем говорят при мертвом льве, о том молчат при живом.

Правда, что я убил слона, но неправда, что я на своих плечах привнес его домой.

Язык твой — лев: дашь ему свободу, он тебя съест.

Голодный кот никогда так не обходителен, как при встрече с сыпленком.

Слон не забытится о том, что остается после того, как он прошел.

Есть сорок видов безумия, но только один вид здравого смысла.

Дерево, если оно упадет, уже не поднимется.

Обещание — это долг.

Если в гуще леса ты два раза пройдешь перед одним и тем же деревом, будь уверен: ты заблудился.

Сын леопарда — тоже леопард.

Нельзя потушить костер, подбрасывая в него дрова.

Маленький топор может срубить большое дерево.

Даже мудрец не знает всего.

Не каждый слон может похвалиться большими бивнями.

Обезьяна, даже отрезав себе хвост, остается обезьянкой.

Для слепого все цвета одинаковы.

У лентяя каждый день — праздник.

Утром один час лучше, чем два вечером.

Когда ешь, жуй; говоря, думай.

Насыщаясь плодами, подумай с благодарностью о том, кто посадил дерево.

Ребенок без отца, что дом без крыши.

Капля дождя может быть началом наводнения.

Леопарды и козы не живут в одном стаде.

Не обнажай саблю, чтобы убить юношу комара.

Если тебя укусит собака, не отвечай ей тем же.

Осел, если надеть на него даже золотое седло, все равно остается ослом.

Лучше быть последним среди львов, чем первым среди шакалов.

Раздор между овцами не касается коз.

Люди боятся зубов леопарда; но не имей он зубов, боялись бы они его?

Лучше умереть с хорошей славой, чем жить с дурной.

Уголь, если даже мыть его водою, не станет белым.

Если в чужой стране идет золотой дождь, а в нашей — каменный, все равно лучше жить на своей земле.

Нет нужды учить маленького леопарда есть мясо.

Вода, грязная у истока реки, будет так же грязна и в устье.

Если ты безуспешно ловил рыбу при отливе, попробуй во время прилива.

Разногласия между друзьями лучше устраниТЬ на следующий день.

Не учись плавать там, где мелко.

Когда два слона дерутся, страдает трава.



Собрал и перевел

А. АКОПЯН

# ОЖИВШИЕ КАМНИ ПУСТЫНИ

*Наскальные фрески Сахары*

Книга французского исследователя Анри Лота «К открытию фресок в Тасили» о замечательных находках в центре Сахары вызвала огромный интерес во всем мире. Мы публикуем пересказ и выдержки из этого интересного произведения научно-популярной литературы. Перевод и публикация подготовлены Л. Васильевским и Ю. Васильевским.

**С**ахара! Величайшая пустыня нашей планеты, занимающая почти четвертую часть всей площади африканского материка. Выжженная зноем область, где на сотни и сотни километров простираются мертвые желтые пески, где горные массивы прорезаны глубокими ущельями... Подобно тому, как в ледниковой Антарктиде учёные обнаружили «полюс холода» земного шара, один из районов Сахары, Ин-Салах, признан исследователями «полюсом жары».

Ни городов, ни больших селений нет в глубинах горных районах Сахары, только кочующие туареги да исследователи проникают на верблюдах в эти места...

А ведь не всегда Сахара была такой. Нынешняя пустыня в давно прошедшие века была плодородной страной, в ее долинах текли полноводные реки. Различные народы обитали не только на ее окраинах, но и в самом сердце. И эти люди, населявшие Сахару в минувшие тысячелетия, оставили великое художественное наследство — наскальные рисунки.

Два года назад в залах знаменитого парижского Лувра посетители с восхищением и удивлением рассматривали копии картин, созданных тысячи лет назад. Сотни таких картин доставила из Сахары экспедиция французского профессора Анри Лота. Шестнадцать месяцев — с начала 1956 года до середины 1957 года — пробыла группа Лота в горном массиве Тасили, который теперь нередко называют «естественным музеем первобытного искусства».

Вот что рассказывает Анри Лот в своей книге об этой выдающейся историко-художественной экспедиции...

## В ГЛУБЬ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ

**Н**ачалось все с неожиданной находки французского лейтенанта Бренана в 1933 году. Небольшой его отряд пробирался на верблюдах через малоисследованные районы Сахары. К югу от военного поста Форт-Полиньян отряд Бренана проник в обширный горный массив Тасили-н-Анже, в долине Игаргарена, где не бывал ни один европеец. В лабиринте каменных коридоров на выветренных скалах лейтенант обнаружил загадочные рисунки, изображавшие зверей. А дальше Бренан открыл на скалах целую галерею удивительных фресок. Несомненно, эти произведения искусства были созданы в очень далекие времена, но когда и кто был их автором, осталось неведомым. Позднее наскальные рисунки были найдены и в других районах Сахары.

Лишь через несколько лет после своего путешествия в Тасили лейтенант Бренан встретился со своим соотечественником, известным исследователем Сахары Анри Лотом и рассказал ему о своих открытиях. Лот достойно оценил значение наскальной живописи Тасили; он полагал, что подробные исследования суть открыть новые страницы в истории Сахары и, быть может, в истории всего человечества. Французский учёный, посвятивший почти десять лет изучению великой пустыни, решил разгадать тайну Тасили. Но исследованиям помешала вторая мировая война. Миновало почти полтора десятилетия, и в одной из марокканских деревень Лот снова встретился с Бренаном, теперь уже полковником. Они договариваются о подготовке экспедиции в лабиринт Тасили. На это ушло почти два

года. Но когда экспедиция Лота прилетела в Алжир, полковника Бренана уже не было в живых... Научный отряд двинулся на верблюдах в каменные теснины Тасили. Что даст эта попытка проникнуть в глубь тысячелетий?..

Известно, что самые ранние наскальные изображения возникали еще при первобытнообщинном строе. Они отражали явления трудовой деятельности человека. Первобытная живопись была найдена в Северной Испании, Южной Франции, Швеции. На территории Советского Союза известны наскальные росписи в Средней Азии, в долине реки Лены, в Карелии и других местах.

В своей книге «К открытию фресок в Тасили», вышедшей в 1958 году почти одновременно с открытием новых экспозиций в залах Лувра, профессор Анри Лот приподнимает завесу, скрывающую жизнь народов, которые населяли некогда плодородную Сахару. Лот пишет в предисловии:

«С разгадкой художественных секретов доисторических пещер франко-кантабрийской провинции была открыта новая страница истории человечества. Мы знакомы с культурными богатствами Египта и Месопотамии, нами разгадана история этих двух стран. Судя по уровню их архитектуры и живописи, мы долгое время считали, что эти страны были колыбелью всех искусств — так высока и разнообразна была их техника.

Открытия в пещерах Комбарель, Эйзье, Мута и Альтамиры (места стоянок доисторического человека). — Прим. пер.) перевернули все представления о происхождении искусства и глубоко смущили нас. Мысль о том, что примитивные люди той эпохи, обладавшие низким культурным уровнем, смогли создать такие прекрасные творения, вначале показалась специалистам сомнительной».

Анри Лот напоминает историю открытия картин в пещере Альтамиры. Они были обнаружены внучкой владельца поместья. Множество посетителей ознакомились с этими картинами. Но когда в пещере побывали ученые, они обвинили владельца поместья в подделке. Вскоре это обвинение было перенесено на некоего художника, который незадолго до находки гостил в Альтамире: члены международного археологического конгресса в Мадриде сочли, что изображенные на стенах раненые бизоны — это дело рук альтамирского гостя... Спустя несколько лет молодой аббат Брэй, впоследствии виднейший историк, осмотрел пещеру Комбарель, ход в которую был пробит незадолго до того, и на стенах ее увидел изображения бизонов, «похожих, как братья, на альтамирских!.. Тут же не могло быть и речи о фальсификации. Несомненно, что специалисты, осматривавшие Альтамир, жестоко ошиблись в своих выводах...

Рисунки на стенах были найдены не только в кантабрийском районе; много их оказалось в испанском Леванте, но не на стенах пещер, а на скалах под открытым небом. Есть рисунки и гравюры в Южной Африке, но возраст их не определен; существует мнение, что они созданы бушменами в недавнее время. Наконец, в Сахаре, особенно на юге Оранской области, только в 1933 году было обнаружено много рисунков...

С большими надеждами отправились Анри Лот и его спутники в Тасили-н-Анже. Это труднодоступное горное плато окружено небольшими массивами, пересеченными узкими коридорами. Вдалеке простираются отвесные скалы и колоннады. Кажется, будто вокруг — мертвый город... «Сегодня

здесь пусто, царит гнетущая тишина, — пишет Лот. — А некогда эти коридоры были оживленными улицами; глубокие владины у основания скал служили естественными убежищами для первобытных жителей. Эти жители исчезли, но остались на стенах своих жилищ сотни рисунков... Я и мои товарищи на протяжении шестнадцати месяцев шли от одного открытия к другому, снимая кусок за куском точные копии всех фресок. Это был благословенный труд в центре каменной пустыни... Мы не смогли бы вынести столько испытаний в стране без каких-либо ресурсов, в условиях нечеловеческого климата, если бы не помнили, что, выполняя свой долг, мы ознакомимся и с прошлым Сахары и с сокровищами человеческого искусства.

Мы нашли на скалах Тасили сотни изображений людей и животных. Они образуют целые ансамбли, иногда очень сложные сцены, рассказывающие о материальной и духовной жизни различных народов, населявших эти места... Мы были потрясены разнообразием стилей и сюжетов. Рядом с маленькими фигурками размером в несколько сантиметров мы нашли фигуру гиганта. На некоторых рисунках изображены группы лучников, сражающихся за обладание стадом; отдельные люди сражались дубинками; далее мы увидели охотников, преследующих антилоп; людей в пироге, нападающих на гиппопотама, сцены танцев, жертвоприношений и многое другое.

Среди найденных наскальных изображений можно легко различить два основных стиля: символический — более древний, вероятно, негроидного происхождения; другой — более поздний, слегка натуралистический, в котором заметны влияния обитателей долины Нила. Особенно важно, что фигуры на скалах Тасили не «родственные» франко-кантабрийским и южноафриканским; открытые нами наиболее древние рисунки принадлежат к возникшей здесь и доныне не известной школе. Мы приобрели наиболее древние сведения о негритянском искусстве.

Картины франко-кантабрийской провинции раскрыли некоторые черты обычая и нравов пещерных людей, но принесли мало знаний о природе и происхождении тех, кого они изображали; правда, мы узнали, что наша страна некогда была населена охотниками на бизонов, мамонтов, носорогов и северных оленей. Картины в Тасили — это правдоподобный архив, который позволяет судить о древнем населении Сахары, о различных народах, обитавших в ней, о пастухах, проходивших там со стадами, и о влияниях извне. По этим картинам можно проследить изменения фауны и климата, то есть как росла засушливость, которая со временем превратила страну в пустыню.

Это — открытие большого значения. Рисунки насчитывают по меньшей мере восемь тысяч лет».

## КАМЕННЫЕ КОРИДОРЫ ТАСИЛИ

Открытия экспедиции Анри Лота неопровержимо подтверждают, что еще восемь тысяч лет назад в плодородных долинах Сахары жили чернокожие люди, обладавшие высокой по тому времени культурой. И это новый, сокрушительный удар по лженаучным «теориям» расистов о творческой неполнотености людей негроидной расы.

В условиях трудной биваучной жизни в безводной пустыне, среди раскаленных африканским солнцем скал, в тяжелом, непривычном для европе-

пейцев климате Аири Лот и его спутники свершили свой научный подвиг. Они стремились расшифровать каждый рисунок, чтобы прочитать историю, отраженную в цепи этих картин. Рисунки повествуют о том, что в течение тысячелетий в обширную область Тасили-н-Анже вторгались новые народы, приносившие свой стиль, свою манеру рисования, художественное мастерство, отличное от того, которым владели их предшественники.

Фрески Тасили поражают и своими красками, не утратившими свежести за многие тысячелетия. Откуда у первобытных художников взялась такая богатая палитра? Аири Лот устанавливает интересную связь. Оказывается, почва Тасили содержит большое количество сланцевых пластов, выходящих во многих местах на поверхность. В зависимости от глубины залегания пласти эти подвергались воздействию солнечных лучей и постепенно изменили свой цвет. Наиболее укрытый от солнца слой представлял собой самую темную охру — почти шоколадного цвета; затем идет гамма красно-кирпичной охры, светло-красной, желтой, а далее — серия светлых тонов, вплоть до зеленоватых...

При раскопках в каменных коридорах Тасили было найдено много краскотерок, на которых «перерабатывались» извлеченные из земли охры; затем порошки смешивали с различными связывающими веществами, происхождение которых еще точно не установлено.

Экспедиция Аири Лота состояла, не считая самого руководителя, из двенадцати молодых учеников и художников. Четырнадцатым членом экспедиции был старый туарег Джебрин-аг-Мохамед, один из представителей древней и многочисленной африканской народности, некогда известной своей воинственностью. Туареги долго и очень стойко сопротивлялись европейской колонизации, неоднократно восставали. Джебрин-аг-Мохамед, нанятый Лотом в качестве проводника, немало помог экспедиции; ее успех часто зависел от способностей старого туарега безошибочно ориентироваться в хаосе нагроможденных скал, среди огромных каменных россыпей, а умение Джебрина жить в трудных условиях пустыни поражало всех европейцев, его спутников.

Свой первый лагерь Лот установил среди каменного цирка Ти-н-Беджедж. «Местность напоминала древнее большое покинутое поселение, отдельные скалы походили на аллегорических животных», — пишет Лот. — Ширина цирка — около километра, он окружен высокими скалами. Мы вступили в зону наскальных картин и при первом же обследовании обнаружили сотни их. Это были рисунки различных стилей. У некоторых оказался профиль европеоидов, у других были круглые головы, а у иных персонажей головы заменила палочка. Нашлись здесь и многочисленные изображения животных: жирафов, быков, лошадей, тянувших военные повозки или оседланых вооруженными людьми с копьями; обнаружили мы и сцены охоты с собаками на муфлонов — диких баранов... Несомненно, в благоприятную эпоху эти места посещались многими племенами, и каждое из них оставляло на скалах память о себе — свою историю, в зависимости от интересов, которыми они жили: для одних это была охота, для других — скотоводство, для третьих — война. Какой контраст с пустынной обстановкой, окружающей нас!..»

Здесь экспедиция встретилась с небольшой группой туарегов-кочевников, современных обитателей самых отдаленных и бесплодных районов Сахары. Об этом народе, вымирающем в условиях колониального гнета, Лот рассказывает: «Туареги обычно проводят ночи под кожаным тентом. Они кажутся очень жалкими и живут как троглодиты, укрываясь от холода и ветра за каменными стенками, которые складывают сами, загоняя туда и свои маленькие стада коз. Все их имущество состоит из нескольких деревянных предметов домашней утвари, старого котелка, чайника и нескольких кожаных мешков, в которых хранятся сушеные финики и просо. Отогнав собак, женщины вежливо приняли меня и предложили «молоко гостеприимства»; на поверхности его плавали зерна...»

Началась трудная жизнь экспедиции... «Надо было добывать дрова, печь хлеб, — пишет Лот. — Воду брали из луж, оставшихся от проливного дождя, вызванного «божьим благословением». В этой воде находились всякие виды маленьких козявок, личинки насекомых, крохотные ракообразные, а кроме того, песок, шерсть, трава, помет коз и верблюдов. Калигала — один из наших слуг — фильтровал эту жидкость через феску, которая служила ему головным убором...».

На каким методом снимались копии наскальных картин?

Это была одна из важнейших работ экспедиции, и она была далеко не столь простой и легкой, как может показаться на первый взгляд. Сначала с картины снимали копию на кальке прямо с каменной стены, где она нарисована. Затем на кальке устраивались искажения, так как стены были шероховатыми. Исправленный рисунок или картину переносили с кальки на бумагу; предварительно на нее наносили фон, соответствующий естественному цвету скалы. Ни одна деталь картины не представлялась на произвол художника, снимавшего копию. Одновременно картины фотографировались; эти снимки становились как бы документальным подтверждением подлинности живописных произведений. Самые крупные картины копировали полосами, которые потом соединялись.

В книге «К открытию фресок в Тасили» Аири Лот не только очень высоко оценивает мастерство доисторических художников разных периодов, но и делает первые попытки ответить на многочисленные вопросы, связанные с материальной и духовной жизнью народов, обитавших в этой части Африки в минувшие тысячелетия.

## ЦИВИЛИЗАЦИЯ ПАСТУХОВ

«Джебрин — умный, забавный и очень оригинальный человек. Ему около шестидесяти пяти, но точная дата его рождения не установлена. Он рыжеволосый, что очень редко встречается среди туарегов. Джебрин, несмотря на его ревматизм, очень весел и бодр. Я никогда не скучал во время путешествий с этим неистощимым рассказчиком.

В 1934 и 1935 годах, когда мы были в районе Тамрита, он забавлялся, наблюдая, как я исследую все скалы с убежищами или пещерами. Джебрин полагал, что это своеобразная мания, присущая многим французам. Наскальные картины были непонятны моему спутнику. Что ему говорит колесница, запряженная лошадьми, если, кроме верблюдов, ослов и коз, он за всю свою жизнь не

видел других животных? Далекое прошлое? Это не тот вопрос, который занимает туарегов; резь в желудке доставляет им больше забот...

Однажды я показал ему силуэт слона: «Вот голова, Джебрин... Вот хобот и клыки, видишь?» Хотя изображение было совершенно ясное, он не понимал его. А ведь слон — персонаж фольклора туарегов! Вероятно, Джебрин слышал о существовании толстокожих животных, но не имел представления об их формах. Позднее он увлекся и уже не пренебрегал «охотой» на «тсуира» — этим арабским словом называют изображения на скалах. Джебрин ищет их и привык осматривать все скальные убежища, которые встречает во время своих дальних странствий. Я приобрел ученика, и теперь Джебрин — мой самый ценный сотрудник в исследованиях. В пути он не стоит на месте ни минуты, усердно обследует соседние убежища и нередко возвращается с вестью: «Здесь что-то есть». Художникам порою довольно трудно поспевать за его темпами...

В районе Тамрита мы сделали прекрасные открытия. Ручей Тимазузин протекает между отвесными скалами, и по обе стороны его тянутся убежища длиной сто пятьдесят метров. Там оказались сотни картин! Многометровые рыбы, жирафы, слоны, очаровательные, беспорядочно разбросанные лучники и бесконечные вереницы быков... В соседних кулурах мы открыли также множество картин; они находились во впадинах на значительной высоте, и требовалась акробатическая ловкость, чтобы добраться до них. Никогда еще, ни в какой области доисторического искусства не обнаруживали столько сюжетов на одной скале; мы увидели, пожалуй, тысячу фигур, принадлежащих к десятку различных стилей, и самым удивительным было изображение колдуна с ногами муфлона...

Однажды Джебрин позвал меня, чтобы показать нечто «очень красивое». Это был словно настоящий ковер — чудесный ансамбль антилоп; стиль изображения напоминал некоторые мотивы эпохи Возрождения.

Да, люди Тасили обладали чувством красоты. Но что побуждало их рисовать? Считают вероятным, что доисторическое искусство вызывалось практикой магии — колдовства, чародейства, волшебства, порождаемых первобытными религиозными верованиями. Во Франции и Испании произведения древнего искусства оказались в глубоких темных гrotах, похожих на алтари... Однако некоторые сюжеты древнейших рисунков были плодом воображения их авторов. Изображения, найденные в Тасили, только в очень редких случаях имели ясно выраженный магический характер. Глубокие убежища, исследованные нами особенно тщательно, конечно, могут напоминать алтари. Но в более мелких убежищах мы нашли изображения, расположенные без какой-либо системы и даже в полном беспорядке.

Представляется, что люди Тасили рисовали везде, где находили подходящее место, и, понятно, чаще всего там, где они жили. В длинных убежищах им попадались идеальные для этого скалы. Такие места сплошь покрыты изображениями. Так как площади хватало, фигуры располагались одна подле другой, и наложения здесь встречаются редко. А там, где пространство ограничено, мы находили многочисленные наложения одного рисунка на другой. Люди, обитавшие в этих пещерах в разные эпохи, систематически дополняли труды своих предшественников. Обнаруживали

мы картины и в таких уголках, которые абсолютно не были связаны с местами жилья.

Разнообразие наших находок очень велико: в них различают по меньшей мере шестнадцать периодов, относящихся к различным стилям и эпохам, со своими особенностями. Среди наших находок есть и боги и колдуны, но также немало композиций, которые говорят нам, что художники, сданные большим воображением, рисовали просто ради удовольствия изображать виденное ими.

Думается, что картины, относящиеся к периоду появления домашнего быка, или, как мы назвали этот период, стиль бовидье, занимают в искусстве Тасили значительное место, первое по количеству. Это самый последний из шестнадцати известных нам периодов, он предшествует эпохе, в которую появилась лошадь. Излюбленная тема художников периода бовидье — бык, тысячи быков, изображенных на скалах большими стадами, в сопровождении пастухов. Животные нарисованы с замечательным мастерством и тщательной заботой о деталях. В этом многоцветном искусстве художники использовали красную, желтую, зеленую и даже голубую охру. Перед тем как рисовать, бовидье гравировали свои сюжеты. Я нашел много эскизов, штрихи которых напоминают упражнения современного карикатуриста. Штрихи эти очень тонки, их как будто наметили кремнем.

Персонажи в различных одеждах очаровательны по форме, полны грации и элегантности. Мы видим их в атлетических позах, в движении: стреляющими из лука по дичи; стягивающимися в сражениях за обладание стадами; в сценах танца. Изображения трудовых процессов также очень многочисленны и живо отражают домашнюю жизнь. Люди обитали в хижинах конической формы. Женщины мололи зерно каменными жерновами. Передвигаясь верхом на быках, женщины сидели позади мужчин. Кроме быков, в их хозяйстве были козы и овцы.

Черными или белыми были эти люди? Их профили удивляют своим разнообразием; есть профили с выдающимися нижними челюстями, есть и европоидные. По-видимому, физический тип не был единым, различные народы жили бок о бок. Это подтверждается и разнообразием костюмов, среди которых есть и длинные туники, и короткие набедренные повязки, и одежды из волосков... Чаще всего профиль людей напоминает эфиопский. Наверное, с востока пришли многочисленные пастушеские народы, распространившиеся не только в Тасили, но и по всей Сахаре. В какой-то исторический период бовидье имели связи с египетской цивилизацией. Несколько раз мы находили среди фресок изображение египетской барки с Нила.

Однажды под скалой с рисунками я обнаружил кучу пепла. Это были остатки пищи бовидьевских пастухов. Я извлек оттуда много бычьих костей. Мы нашли также каменные жернова, дробилки для зерна, каменные топоры, костяное шило, остатки глиняной посуды, маленькие просверленные диски — своеобразные ожерелья, которые бовидье вырезали из скорлупы стручковых яиц, наконец, подвески и перстни из сланца.

За время экспедиции удалось обнаружить пять подобных стоянок. Благодаря этому мы теперь знаем о культуре бовидьевских пастухов. Несомненно, что они жили в Сахаре в период большой влажности; в их фресках мы видим слонов и носорогов, гиппопотамов и жирафов, а этим животным нужно много воды, чтобы пить,

и много травы, чтобы питаться! И вот еще важное открытие: в маленькой пещере массива Ауанрет, на высоте 2 тысяч метров, мы нашли на склоне изображение трех пирог, окружающих трех гипопотамов.

Но экспедиции везло не во всем. Несмотря на все старания, нам не удалось обнаружить никаких признаков человеческого скелета, ни одной могилы. Мы и поныне ничего не знаем о том, как древние жители Тасили хоронили своих мертвых...

Когда я рассказывал Джебрину, что некогда в посещенных нами местах протекали большие ручьи, а на месте камней зеленела трава, он не понимал меня: «Откуда же приходила эта вода? Могла ли расти здесь трава?!» Как его отец и как его дед, Джебрин с самого детства не видел вокруг ничего, кроме камня и песка; ему представляется, что страна всегда была такой, как теперь. Думается, что и многие французы мыслят так же...

О причинах высыхания Сахары было высказано много предположений. У нас есть основания полагать, что присутствие многочисленных стад во многом оказалось роковым для растительного покрова. Это можно наблюдать и в наши дни в некоторых зонах Суданской саванны, где растительность чахнет, потравляемая стадами. Судя по наскальным рисункам, бесчисленное множество животных кочевало на территории Сахары в течение тысячелетий. Конечно, рогатый скот был не единственной причиной превращения Сахары в пустыню, но, очевидно, он значительно способствовал этому.

А что же стало с пастухами и их стадами? Исчезли ли они бесследно? Быть может, гонимые засухой, люди искали новые пастища в Суданской саванне к югу от Сахары? Сейчас в этой области живут три группы пастухов, владеющих быками: мавры, туареги и фульбе. Возможно, именно фульбе являются потомками древних пастухов — бовидынцев; у мавров и туарегов быки появились позднее. И еще одно: на многих изображениях людей бовидынского периода мы обнаружили удивительные формы причесок, напоминающие те, которые сейчас употребляются у фульбе.

## ПЯТЬ ТЫСЯЧ ФИГУР ЖАББАРАНА

«Когда ты увидишь Жаббаран, то остынешь», — сказал мне незадолго до отъезда экспедиции мой старый товарищ полковник Бренан.

Жаббаран?! Этот небольшой горный массив из песчаника скромно выступает на плато Тасили. У основания его скал образовались глубокие выемки. На этой стоянке доисторических людей Бренан, ведомый нашим храбрым Джебрином, в 1938 году открыл и скопировал несколько великолепных картин. Они, несомненно, приобретут всеобщее признание, когда станут известны все шедевры, с которых мы сняли точные копии.

Экспедиция направилась в Жаббаран после месячного труда в убежищах Тимазузина, где сильная буря едва не уничтожила плоды упорной работы.

Скопление песчаниковых куполов Жаббарана издали очень напоминает африканскую деревню с круглыми соломенными крышами. На первый взгляд ничего увлекательного здесь нет, кажется, будто местность лишена даже красок. Но когда мы прошли в глубь песчаников, у всех вырвался

восторженный крик — таким впечатляющим оказался этот хаос. «Хижины» оказались самыми прекрасными из всех пристанищ, которые нам удалось видеть в Тасили.

Перед нами возникло подобие города с улицами, перекрестками, площадями. Все скалы вокруг покрыты сотнями картин самых различных стилей; нам предстояла огромная работа. В первые дни мы чувствовали себя несколько растерянными в этом лабиринте, но затем начали давать наименования его частям: здесь — лагерь Джо; там — мой; дальше — улица Крокодила, переулок Жирафов, пещера Ориктеропа (ископаемый). — Прим. перев.:) перекресток Гадюки — там в день нашего прибытия Калигала убил змею; обрыв Маленьких Кроликов... Тихий и пустынный город внезапно снова стал оживленным.

На языке туарегов Жаббаран означает «гиганты», и это целиком относится к находящимся здесь картинам; на некоторых из них изображены гигантские человеческие фигуры. Размер одной из картин на вогнутом потолке глубокой пещеры достигает шести метров в высоту. Несомненно, это одно из самых больших наскальных изображений, известных в настоящее время. Контур ее прост, безыскусствен, и круглая голова — единственная примечательная деталь. Форма ее напоминает современную манеру изображения марсиан. Марсиане! Какой заголовок для сенсационного репортажа!..

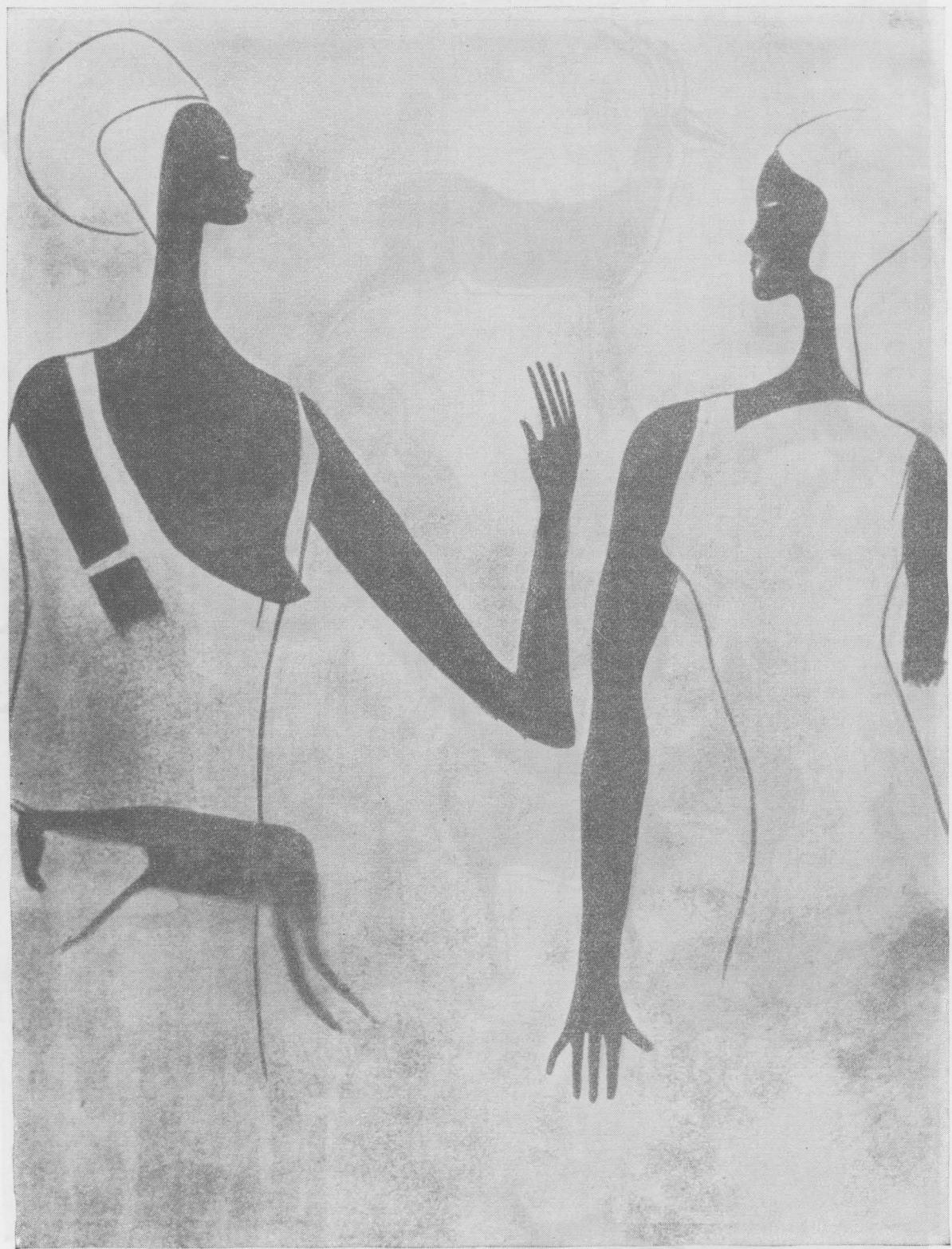
«Марсиане» в Жаббаране многочисленны. Брендан обнаружил некоторых, но наиболее красивые остались незамеченными; их удалось выявить лишь после основательной мойки стены губкой. Этот метод позволил нам сделать открытия первостепенной важности. Осторожно применяя его, мы могли не только освободить охру от слоя глины, но и восстановить краски в первоначальной их живости; вот откуда взялась потрясающая свежесть наших копий, о чем пишут видевшие их.

Жаббаран — это целый мир! Свыше пяти тысяч сюжетов! Это может считаться наиболее богатым центром древнейшего искусства в мире.

Пол нашей пещеры покрыт следами, оставленными пещерными художниками и их современниками. Тысячи осколков глиняной посуды, сотни жерновов, зернодробилок, каменных молотков. Иногда казалось, будто некоторыми предметами пользовались недавно.

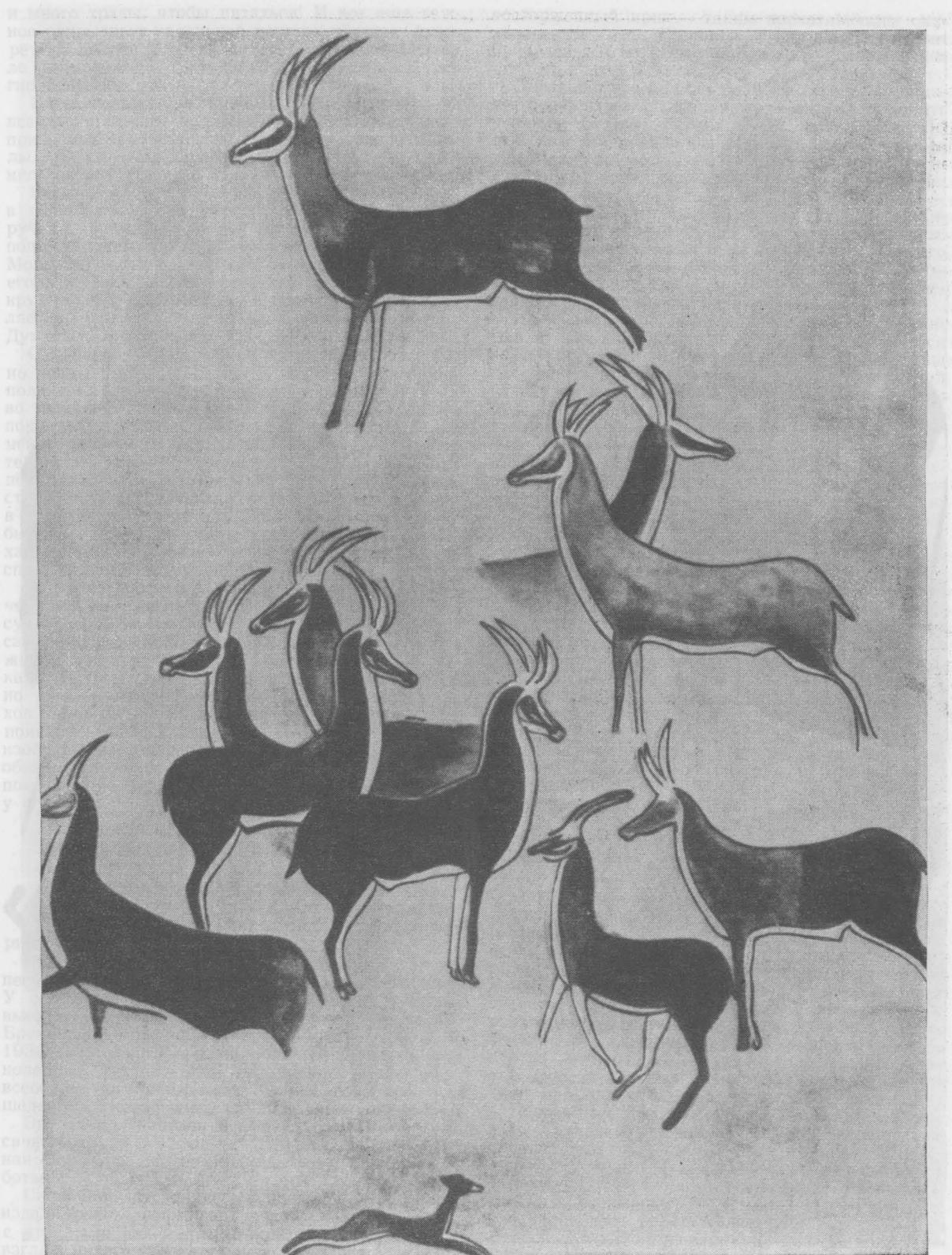
Наиболее важный скальный ансамбль принадлежит бовидынцам. Везде видны быки — всех размеров, изображенные разными стилями, во всяких позах, но повсюду с замечательным качеством и исключительной точностью исполнения. Именно в Жаббаране я увидел, что бовидынцы гравировали свои рисунки перед тем, как их раскрашивать. К той же школе относятся великолепно изображенные жирафы, слоны, антилопы, дикие ослы, козы и домашние бараны. Главная фреска представляет сцену охоты, выполненную с поразительным реализмом. Охотники, вооруженные луками, преследуют газелей и антилоп; в центре картины — раненый носорог, из ноздрей его течет кровь. В углу — группа лучников, готовящихся напасть на стадо быков, и пастухи, отражающие нападение... Площадь картины превышает 20 метров; чтобы снять с нее копию, мы работали вплотером...

В ярусах круглоголовых («марсианский тип») мы также нашли удивительные фигуры, например, антилопу с туловищем слона, высотой в два метра; возможно, это какое-то древнее божество.



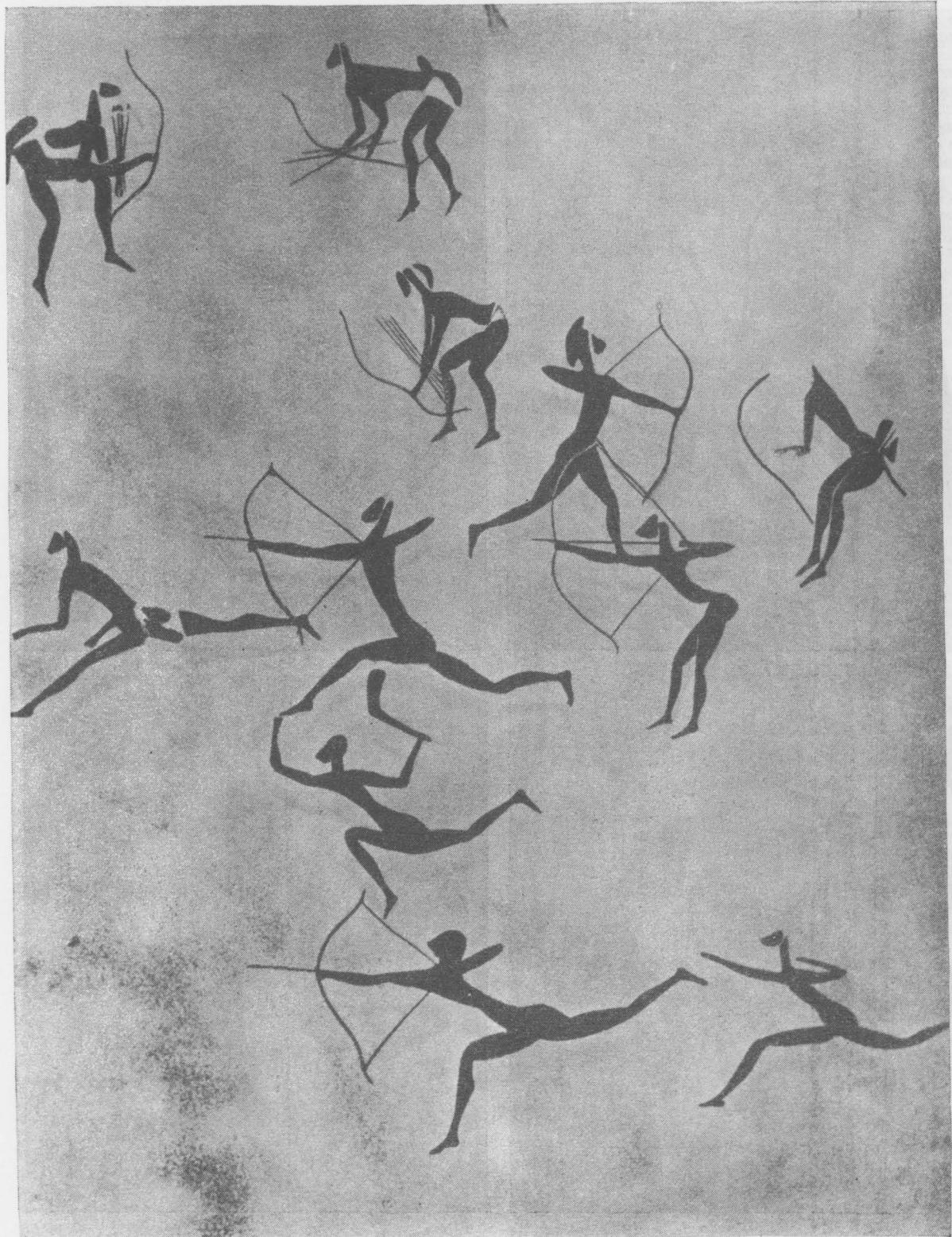
В Жаббаране были обнаружены изображения девушек. Формы их причесок напоминают  
известные виды элеменов, которые сейчас носят женщины фульбе.

жаббаране

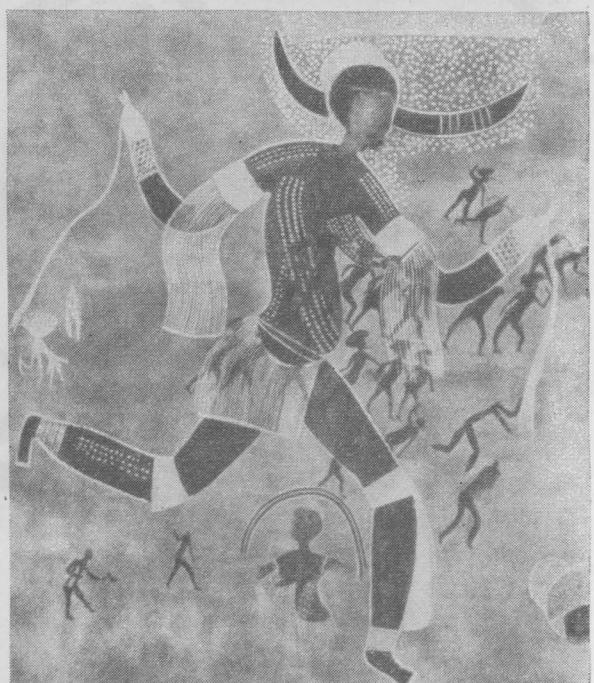
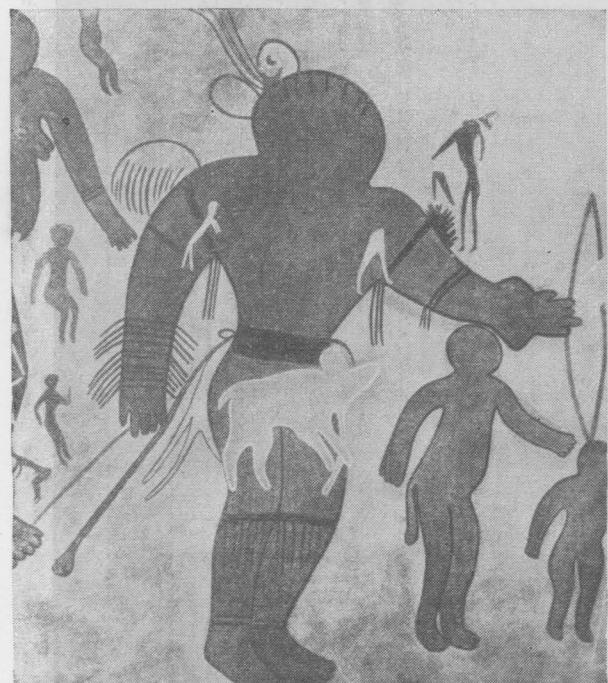
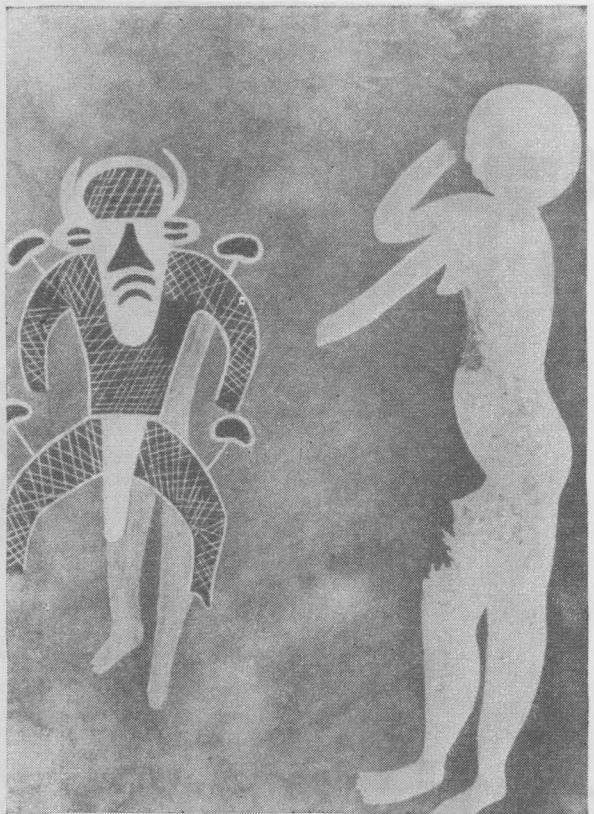
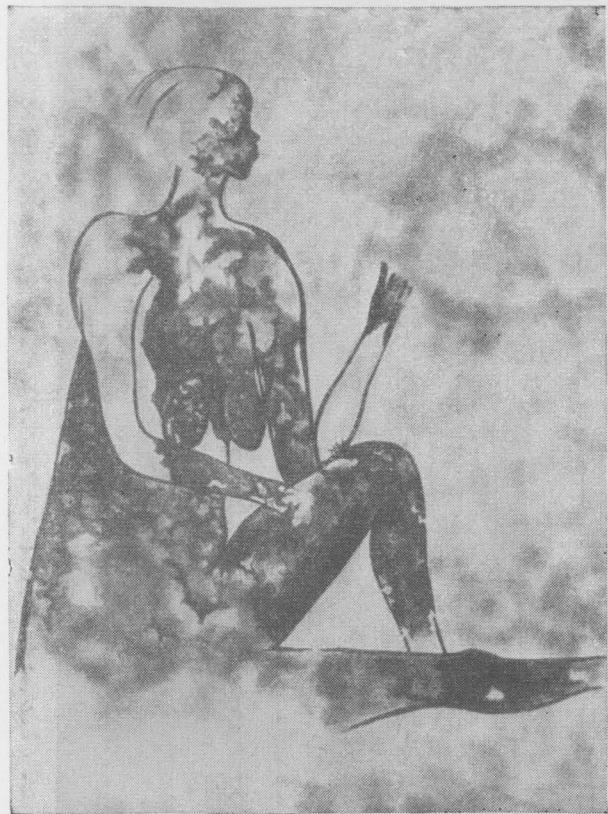


Будто местность принадлежала антилопам. Но мы прошли сквозь пустыню и вспомнили, что антилопы не живут в пустыне. И тут же вспомнили, что антилопы живут в Африке. И тут же вспомнили, что антилопы живут в Африке.

Эти древние изображения антилоп удивительно напоминали чудесные ковры эпохи Возрождения.



Так выглядят наскальные изображения лучников, созданные древними пастухами много тысяч лет назад.



Вверху слева: трехметровое изображение сидящей женщины. Справа — человек в маске: подобные маски можно и сейчас встретить у некоторых африканских народов. Внизу слева: рисунок круглоголового человека «марсианина» (как его называли участники экспедиции). Справа: «Белая дама Ауанрета».

Каждый день приносил нам новости. Все скалы убежищ Жаббарана покрыты картинами. Мы обнаружили много наложений, сделанных в разные периоды. Это поможет выяснить, кто в древности населял Сахару, какую роль сыграли ее обитатели в заселении Африки.

Среди многих больших сюрпризов, которые преподнес нам Жаббаран, выделяется находка участника экспедиции Клода. Отмывая скалу, он обнаружил четырех маленьких женщин с птичьими головами; эти изображения совершенно сходны с открытыми на некоторых памятниках Египта. Мы ожидали, что сейчас вот-вот обнаружим иероглифы, но никаких знаков, несмотря на старателнюю работу губкой, не появилось.

В тот вечер в нашем лагере возник оживленный диспут: возможно ли, что люди фараонов во время своих набегов достигали Тасили?

Если подобные изображения найдутся в большом количестве, на этот вопрос можно будет с уверенностью ответить утвердительно. Но сейчас для этого нет оснований. Вероятно, маленькие богини Жаббарана относятся к историческому периоду XVIII или XIX династии фараонов и появились примерно за 1 200 лет до нашей эры. Известно, что в тот период ливийцы, жившие в Фессане, стремились к захвату Египта и постоянно воевали с ним. Быть может, египтяне направили свою карательную экспедицию, и некоторые отряды преследовали противника до Тасили. Это не исключено, но очень сомнительно, да и ни в одной египетской летописи подобные экспедиции не упоминаются. Скорее можно предположить другое: авторами картины были пленники,уведенные в Тасили и вдохновленные здешними художниками. Возможно также, что рисунки принадлежат ливийцам, которые длительное время пробыли в Египте, а потом вернулись в Тасили, принеся искусство долины Нила. Продолжавшиеся веками войны между ливийцами и египтянами также могут объяснить эти влияния.

В то время как Клод обогатил нашу коллекцию очаровательными маленькими богинями с птичьими головами, другая группа отмывала скалы пещеры Ориктеропа. Внимание привлекло темное пятно, очень неопределенное; казалось, что это сильно разрушенная картина. Однако губка опять оказалась чудодейственной: после третьей мойки появилась во всей своей красе коленопреклоненная женщина, высотой около двух метров: голова ее поклонилась на согнутой руке. Лицо с длинными вытянутыми глазами и классической чистотой линий напоминало греческое искусство; диадема, сжимающая низ прически, наводила на мысль, что здесь изображена знатная особа, быть может, ливийская богиня; во всяком случае, черты ее говорили о средиземноморском типе женщины.

Я думаю об Антине, славной ливийской богине, которую греки «удочерили» под именем Афины. Любопытная деталь: на картине рука женщины обернута платком, конец которого завязан так, как это делают в наше время туарегские женщины, когда поют в хоре на свадебных празднествах. Что это, совпадение? Нет, скорее древние родственные связи между ливийцами и туарегами.

В течение трех месяцев мы перетаскивали свои мольберты из одного убежища Жаббарана в другое, совершали переходы с туарегами в поисках воды и дров. Тем временем верблюды Джебрина

паслись на соседних пастбищах, а маленькие ослики отправлялись по ущелью Арум за нашей почтой.

Привлекаемые возможностью получить тарелку мармелада или кускуса (местное блюдо, вроде плова. — Прим. перев.), туареги из окрестностей часто навещали нас, и ребятишки не оставляли экспедицию, надеясь на порцию варенья или печенья. Это доставляло им столько удовольствия! А мы знали, что они проводят дни в погоне за ящерицами и мелкими грызунами, чтобы обеспечить себе пропитание. В Жаббаране они высекали котелки и находили маленький заработок, продавая нам куколки из сущего верблюжьего помета, завернутого в тряпки. Всякий раз, когда они приносили щифтованные каменные топоры, я делал им маленькие подарки. Тогда наиболее предпримчивые ребятишки принялись изготавливать их — клянусь, очень удачно! — из кусков сланца и гальки, найденных в ручье...

Дважды мы уже готовились прекратить свою работу из-за недостатка воды. Огромная лужа, которую мы нашли по прибытии, высохла. Но вот поднялся сильный ветер, и на Жаббаран хлынул настоящий водопад. Территория лагеря превратилась в болото, ручей вышел из берегов.. Позднее мы стали ощущать недостаток дров. Все старые стволы, находившиеся поблизости, мы использовали. Надо было уезжать. Боги Жаббарана, бovidьенцы и их стада, маленькие египетские боги в тому времени уже находились в рулонах бумаги и отправлялись в парижский «Музей Человека»... Внезапно тишина вновь окутывает тысячелетние проулики, пробужденные на три месяца от многовекового сна.

## СВЯТИЛИЩЕ АУАНРЕТА

Покидая Жаббаран, я вспоминал слова Брена на. Конечно, мы были ошеломлены, открыв столько чудес. Но, без сомнения, и он был бы удивлен, узнав, что на противоположном берегу ручья в откосах Ауанрета скрыты другие шедевры.

Массив Ауанрет, который мы решили исследовать, напоминает орлиное гнездо. Высотой в две тысячи метров, он поднимается над Жаббараном. Подходы к Ауанрете нелегки. Два верблюда и пара осликов, которые несли наш небольшой бараж, усердно трудились на склонах, покрытых неустойчивыми осыпями. Джебрин сообщил, что мы первые европейцы, проникшие сюда.

В глубоком и довольно темном убежище я заметил две большие фигуры с круглыми головами, нарисованные белым. Одна из фигур, высотой около 140 сантиметров, была частично видна. Я различил слегка намеченный профиль. Затем внимание мое перенеслось на вторую фигуру, расположенную левее и выше. Этот рисунок, основным тоном которого была кирпичная охра, изображал человека в маске, со странно заштрихованным телом. Я видел стилизованную голову антилопы; между рогами располагалась объемистая шапка, а две параллельные черты по бокам обозначали уши. Мне помнилось, что в Западной Африке существуют подобные маски; позднее, исследуя коллекции парижского «Музея Человека», я обнаружил, что маски сходного с этим типом еще используются у некоторых народов при религиозных церемониях.

Этот оригинальный персонаж Ауанрета поразил меня другими деталями: ногами, изображен-

ными в положении, какое бывает у всадника, и большими, похожими на тюльпаны цветами, которые находились на плечах и бедрах. Я уже видел такие орнаменты на одном из рисунков Жаббарана и дал название этому негроидному, на мой взгляд, персонажу — «Бог Ауанрет». При виде растений, которые, казалось, возникают из его тела, я думал о примитивном божестве, хозяине или создателе растительности; это божество часто встречается в фольклоре и верованиях обитателей суданского леса. Теперь мой предположения подтвердились. Фигура Ауанрета несомненно доказывала, что люди негроидной расы некогда долго жили в Сахаре. В неолитические времена эта маска играла ту же роль, какая принадлежит ей сейчас в культурах некоторых народов Западной Африки.

Это — открытие большого значения, оно меняет наши познания о населении Африки и его искусстве.

Недалеко от лагеря я нашел очень красивые бовидьенские фрески. Гишар, обошедший массив с другой стороны, вернулся и рассказал, что открыл очень интересную фигуру. Мы отправились туда. Изображение находилось в убежище под отдельной скалой. Клод, действуя губкой, краем глаза наблюдал за мной. «Колоссально!» — воскликнул я, и это не было преувеличением... На мокрой скале вырисовывается грациозный силуэт женщины, бегущей большими шагами. Одна нога, слегка согнутая, только что коснулась земли, в то время как другая заканчивает над землей свое гибкое движение. С колен, с пояса и раскинутых рук свисает тонкая баxрома. По обе стороны головы, над вытянутыми горизонтально двумя рогами, образуется как бы облако зерен, падающих из хлебного поля. Во всем довольно сложном ансамбле есть что-то свободное и тонкое, например, тонкие нити, вырывающиеся из нарукавников, и баxрома нарукавных повязок, развеваемая ветром. Здесь же расположены маленькие персонажи, относящиеся к бовидьенскому периоду. Они составляют две группы и движутся индейской цепочкой. Поразителен контраст между их судорожными позами и стройной фигурой женщины. Ее тело нарисовано нежной желтой охрой и обведено белым, покрыто на плечах, животе, спине и на груди забавными украшениями: параллельные линии из белых точек, выделенных красными штрихами. Несомненно, это изображение принадлежит к «стилю круглоголовых».

Гишар убежден, что это какая-то богиня. Во всяком случае, из всех фигур, написанных в «стиле круглоголовых» и виденных мной, эта наиболее прекрасная, законченная и оригинальная. Сначала мы ее именовали рогатой богиней, а потом называли «Белой дамой Ауанрет»... Богиня! Это не исключено, потому что женщина, так тщательно украшенная, не могла быть просто красивой девушки той эпохи. Быть может, это изображение жрицы бога земледелия: такую мысль внушила россыпь зерна над ее рогами.

В других картинах, обнаруженных вскоре в том же массиве, оказались следы египетского влияния. Это коленопреклоненная женщина; человек, играющий на роге; вереница маленьких фигурок, взирающих на дерево; наконец, большая стилизованный рыбка с украшениями, подобными тем, которые изображены на одной древней вазе, найденной в Египте.

Но и это не все. Рядом с лагерем мы открыли странные картины, происхождение которых свя-

зано с религиозными темами древнего Египта. Одна из них изображает женщину с удлиненным телом и несоразмерно вытянутыми конечностями; кажется, будто она плывет... Длинными руками, вытянутыми назад, она несет человека, на первый взгляд безжизненного, либо глубоко погруженного в свои мысли. Ниже — коленопреклоненный персонаж, который кажется посторонним в этой сцене. Еще один персонаж нарисован в том же стиле белой охрой: это человек, вылезающий из странного предмета, который по цвету и строению напоминает нечто вроде кокарды, улитки и яйца. Представляет ли это изображение аллегорию рождения человека, тогда как верхнее напоминает о смерти?.. Несомненно, что красные шапки на головах персонажей в точности походят на виденное нами в других рисунках, где египетское влияние бесспорно.

Часть египетского, часть негроидного, часть бовидьенского — вот возможное объяснение сложных и оригинальных стилей, обнаруженных в Ауанрете. На одной из фресок мы обнаружили татуировку. Участник второго отряда экспедиции Андре Вила взялся представить мне в Париже фотографии татуировки современного африканского народа лоби — она совершенно сходна с насечками на коже персонажей Ауанрета. Значит, в этом отношении за шестьдесят веков не произошло никаких изменений?

Находки наши этим не ограничились. Я перечислю их в беспорядке, чтобы подчеркнуть разнообразие сюжетов: группа хижин; животное, похожее на огромную водяную личинку; битва архаров; круглоголовые, сопровождающие слона; растение, изображающее баобаб; сцена охоты на гиппопотама; быки... Много прекрасных рисунков нашли мы в Ауанрете, таком труднодоступном и неудобном для жизни месте. Бовидьенцы, эти скотоводы, кочевавшие по долинам и плато, удобным для стад, посещали и Ауанрет, но их рисунков там немного. Лишь несколько прекрасных убежищ, где мы обнаружили в изобилии глиняную посуду, могли дать благоприятные условия жизни.

Когда начинаешь размышлять о населении, которое предшествовало бовидьенцам, и о качестве их живописи, возникает мысль: не был ли Ауанрет местом религиозного посвящения и тайных культов? Вот почему, когда говоришь об Ауанрете, на память приходит слово «святилище».

## БОЛЬШОЙ БОГ СЕФАРА

 отя считают, что вся Сахара известна и там нечего исследовать, ни один европеец до нас не побывал на массиве Сефар. Он очень живописен: разделен пополам глубоким каньоном, рассечен узкими ущельями среди гигантских глыб и песчаниковых колонн; многочисленные цирки образуют «города»; некоторые группы скал напоминают Реймский собор, разрушенный бомбардировкой. Перед этими каменными гигантами мы вновь ощутили себя смешными карликами.

Может быть, именно это тяжело повлияло на душевное состояние одного из наших товарищей, тогда как у других вызвало восторженное чувство, — кто знает! Однако именно в этот момент нервы нашего спутника сдали, и его необходимо было отправить домой, во Францию. Гишар отправился вместе с ним.

Экспедиция лишилась сразу двух сотрудников, темпы работы ослабли, и я не раз спрашивал себя: сможем ли мы полностью исследовать Сефар до наступления нестерпимой летней жары? Участники экспедиции постарались не ударить в грязь лицом.

Сефар принес нам большие радости. Число найденных здесь картин уступало Жаббарану, но качество и разнообразие фресок придавали Сефару исключительный интерес. Снова мы оказались перед странными рисунками; они настолько отличались от всего нами виденного, что мы почувствовали, будто попали в особенный мир. Нам открылись новые перспективы проникновения в прошлое Африки, мы увидели доказательства ее величия и самобытности. Уже сейчас намечаются невыясненные связи и отношения, но чтобы детально проследить их, потребуются долгие и тщательные исследования.

Конечно, открывать — это хорошо, но это еще не все. Нужно понять, проникнуть в тайну далекого прошлого разных народов, которые остались нам эти рисунки, определить время их появления, попробовать объяснить их. Чем больше число изображений и различных стилей, тем труднее эта задача.

В Тамрите, в Жаббаране мы нашли столько сцен, относящихся к эпохе пастушеской культуры, что многим из нас уже и глядеть не хотелось на быков. Копировать одни и те же сюжеты для художника — занятие скучное, хотя, надо заметить, среди очень многих быков, с которых мы сняли копии, нет даже двух похожих. А Сефар принес нам некоторые подробности истории пастухов: мы открыли изображения женщин, возделывающих поле; картины танцев; сцены, в которых показаны домашние собаки. Находки множества жерновов и зернодробилок давали основание считать, что у пастухов было земледелие; однако эти примитивные орудия могли служить и для дробления дикорастущих злаков. После того, как мы обнаружили изображения женщин, работающих на поле, сомнения исчезли: бовидьенцы занимались земледелием. В сценах танца женщины держат в руках нечто вроде трещоток, другие — жезлы с шарами. До открытой в Сефаре нам было неведомо, когда в Сахаре появилась домашняя собака; теперь мы знаем, что она была и у пастухов-бовидьенцев.

В Сефаре бовидьенские сцены не столь многочисленны, как на других стоянках, и это не удивительно: стада быков могли здесь проходить, вероятно, лишь в двух или трех долинах. Значит, пастухи рисовали только в тех местах, где находились вместе со своими животными.

Наиболее замечательные фрески Сефара относятся к группе «марсиан». Это подобные найденным в Жаббаране изображения круглоголовых людей, но не такие крупные. Странные позы сефарских персонажей производят сильное впечатление. Высота одного из них — около трех метров. С поднятыми руками и лицом, обращенным к свету, он господствует над сотней других картин различных эпох. Многие из них повреждены, но мы различили нарисованных в том же стиле женщин меньшего роста; они простирают руки к гигантам, как будто обращаясь к нему с просьбой, с мольбой. Слева изображен огромный бык длиною около трех метров.

Эта группа вызывает ощущение мощи и таинственности. Мы словно очутились в храме, соору-

женном в честь первобытного божества. Джебрин повел нас дальше по запутанному лабиринту. И вот перед нами возникло изображение, величие которого превзошло все, что мы могли себе представить. Центр убежища был занят «Гнусным человеком песков» высотой три с четвертью метра. Левее пять женщин следуют одна за другой, протягивая к нему руки; кажется, что они молятся. Справа красной охрой нарисована антилопа, на спине которой лежит женщина, ожидающая рождения ребенка. Бессспорно, что эта сцена — магического характера; здесь ясно проявляется культ плодородия или материнства. Фигуры женщин выражают страх и почтение к центральному персонажу. Такие фигуры мы нашли и на других фресках Сефара; почти всегда этим персонажам сопутствуют огромные животные, например, лев длиною более четырех метров.

Как же скопировать эти фрески? Большая сцена поклонения занимает около тридцати квадратных метров! Но ведь не можем же мы сохранить лишь в своей памяти это видение, это свидетельство наивных верований, настолько сильных и прочных, что их обнаруживают в существующих даже сегодня культурах Бретани и других провинций Франции. Фреска была сфотографирована, заснята на кинопленку, скопирована и, несмотря на свои тридцать квадратных метров, помещена в «Музей Человека». Она не одинока там — в Сефаре нашлось достаточно сюжетов той же школы: изображения людей, слона, больших антилоп, жирафа, муфлона и других животных.

Складывается впечатление, что муфлон занимал важное место в верованиях древнего населения Сахары. На скальных картинах разных периодов это животное встречается в изобилии. На колдуне с ногами муфлона, которого мы нашли в Тимазузине, был танцевальный костюм, а плечи покрывала шкура муфлона. Мы видели рисунки, изображающие рога этого животного. Муфлон и сейчас обитает в Тасили и других горных массивах Сахары. Он ловок, смел, обладает исключительным чутьем, и поймать его очень трудно. У туарегов охотник на газелей — лицо обычное, тогда как охотник на муфлонов пользуется уважением. Об этом горном животном создан обширный фольклор; считают, что существуют муфлоны-дженуны, способные похищать коз. Некогда за муфлоном охотились с помощью собак, теперь чаще пользуются ружьем. Даже вооруженный туарег, отправляясь на охоту, никому об этом не говорит, чтобы не накликать на себя неудачу. Некоторые охотники, отправляясь в горы, кладут на голову камень, подпрыгивают на ходу и очень быстро произносят многократное заклинание...

## НЕ ТУТ ЛИ БЫЛА АТЛАНТИДА?

Н е случайно в предисловии к своей книге о фресках Тасили профессор Анри Лот рассказал, как была установлена подлинность доисторических рисунков пещеры Альтамира, когда владельца поместья, где она расположена, обвинили в подделке. Нечто подобное выпало экспедиции Лота после ее возвращения.

Пресса и радио быстро разнесли во все концы земного шара известие об открытиях в лабиринте Тасили. «Наши открытия тотчас же получили широкий отзвук в различных кругах», — пишет Анри Лот. — В то время о Сахаре начали много гово-

рить в связи с тем, что там были найдены минеральные и нефтяные богатства. Доказательства существования исчезнувшей цивилизации усилили общий интерес к пустыне.

Наши открытия удивили многих. Сама находка доисторических следов в Сахаре была значительным делом. Но одновременное обнаружение фресок, представляющих столько разнообразных сюжетов, стало важным и беспрецедентным событием...

Было достаточно сенсационных сообщений, чтобы вокруг экспедиции Лота возникли разного рода ложные слухи, распространяемые «осторожно», «по секрету». Этим в немалой степени объясняется то обстоятельство, что когда во Францию были доставлены первые скопированные в Тасили фрески, многие из осматривавших их специалистов отнеслись к ним с чрезмерной подозрительностью, считая стиль их «слишком современным» и вызывающим сомнения в подлинности.

Однако профессор Лот, человек опытный, искусший и упорный, не позволил очернить замечательные результаты экспедиции. Он приводит абсолютно убедительные доказательства, которые опровергают любые сомнения в подлинности обнаруженных фресок. Исследуются сланцы Тасили. Затем, по примеру доисторических художников, из них готовят охры различных оттенков и раскрашивают ими скопированные на бумаге картины. Методом микроскопического анализа устанавливают степень окисления древних красок и глубину их проникновения в песчаник скал; так объясняется поразительная стойкость красок на протяжении тысячелетий.

Но это была не единственная проблема, волновавшая ученых. Оставались нерешенные вопросы: какой была эта страна, столь неожиданно напомнившая нам о своем существовании, какие народы, неведомые современной науке, населяли ее?

Нашлось немало восторженных энтузиастов. Они без колебаний писали Лоту, что работы его экспедиции воскрешают Атлантиду, кладя конец ученым спорам о ее существовании и местонахождении, на которые было изведено столько чернил со времен Платона, поведавшего историю Атлантиды в своих знаменитых диалогах... Один из таких энтузиастов писал: «Атлантида! Но это творение атлантов, которое вы явились вновь открыть! Это, несомненно, следы знаменитого острова, потопленного гневом богов, на который вы вступили своими ногами, сами не зная этого! Ведь то, о чем рассказал Платон, не было выдумкой!..»

Некоторые приписывали Лоту «дар ясновидения» и полагали, что, отправляясь в Тасили, он уже заранее точно знал, в какие «точки» надо двигаться, отчетливо все видел, и что именно это явилось поводом для экспедиции.

Разумеется, ничего подобного Лот не говорил и не писал ни до открытий в Тасили, ни после этого.

Чтобы рассеять недоразумения и восстановить научную истину, он тщательно изучает все материалы и приходит к вескому выводу: Сахара не может быть исчезнувшей некогда Атлантидой. Геологические исследования показали, что площадь пустыни никогда не была покрыта водой.

«Значит, мы не открыли Атлантиду, — пишет Лот, — но мы сделали лучше. Мы установили, что Центральная Сахара в неолитическую эпоху была одним из наиболее населенных доисторических очагов, а заодно раскрыли, что в этой пустыне, некогда покрытой огромными пастбищами, существовали различные культурные традиции.

Гравюры и фрески Сахары относятся к четырем большим периодам: 1. Период охотников или буйволов (начало неолитической эпохи); 2. Период пастухов рогатого скота — «бовидье» (неолитическая эпоха); 3. Период пастухов на повозках и конницы или период лошади (доисторическая эпоха); 4. Период верблюда (начало нашей эры).

Сейчас, когда только начинается изучение собранных материалов, я уже насчитываю по меньшей мере тридцать различных стилей; большинство их предшествует периоду «бовидье»...

Расшифровка собранных экспедицией материалов только начата. Чтобы с помощью фресок Тасили и других находок познать прошлое величайшей пустыни, предстоит большая лабораторная работа.

Ученые должны проникнуть в тайну Сахары. Почему некогда плодородная обширная область с мягким и достаточно влажным климатом превратилась в бесплодную и знойную пустыню? Когда это произошло? В исторических документах сохранились лишь отрывочные сведения. Геродот (V век до н. э.) говорил, что когда-то Сахара была страной с богатой растительностью, многоводными реками и довольно густо населенной. Другой античный историк, Страбон (I век до н. э.), упоминал, что количество воды в Сахаре уменьшилось, а примерно через полтора столетия появились описания водного режима Сахары, сделанные Плинием-Старшим; этот режим сведен с современным.

Доисторическая культура Сахары не знала письменности, но ей было присущее высокое искусство рисунка; художникам древних народов были известны краски. Тысячи наскальных фресок позволяют судить о материальном мире, окружавшем этих людей, и догадываться об их общественном строе и духовной жизни. Вместе с тем доисторическое население Сахары знало лишь самые примитивные орудия труда. Оно не умело воздвигать здания, подобно своим ближайшим соседям — египтянам; оно не строило городов, а использовало для жилья лабиринт песчаниковых скал массива Тасили-н-Анже. Стены этих естественных городов на протяжении тысячелетий покрывались множеством рисунков...».

\* \* \*

С добросовестностью настоящего ученого Анри Лот в своей книге неоднократно напоминает, что публикуемые им сведения являются только предварительными; потребуются еще длительные исследования. Придет время, когда тайны Сахары будут полностью раскрыты, и ученые расскажут нам увлекательную историю ее древнейших обитателей. Нам остается запастись терпением. Ждать, вероятно, осталось недолго...

# ПРОСТО,

ЗАМЕТКИ  
и  
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

# УДОБНО,

# КРАСИВО!

Фото Н. Никольского.

**В** новом районе Москвы — Верхние Мневники, в 77-м квартале открылся мебельный магазин. Казалось бы, что в этом особенного — мебельных магазинов в столице много. И все же вновь открытый резко отличается от всех остальных. Вместо загроможденного столами, стульями, шкафами большого зала — ма-

ленькая, со вкусом обставленная однокомнатная квартира, рядом еще одна и еще... В квартирах изящная мебель, от которой в комнате кажется просторнее, светлее. И стоит такая мебель недорого.

Здесь книжный шкаф и письменный стол соединены вместе. Диван без особого труда можно превратить на ночь в

двуспальную кровать. Тут же рядом изящная тахта с одной боковинкой. Вместо другой у нее тумбочка, куда складывается на день постельное белье. Мягкие, пружинистые сиденья у стульев изготовлены из новых синтетических материалов — поролона и латексной резины. Из этих же материалов сделаны и подушки на тахте.



Этот удобный набор секционной мебели предназначен для двухкомнатной квартиры.



Легкий, красивый гарнитур хорошо украсит однокомнатную квартиру.

Запылятся подушки — сними чехол и мой их.

Первые 50 наборов такой мебели московские фабрики выпустили в конце прошлого года. А уже к июню нынешнего года 2 340 наборов трех различных комплектов малогабаритной мебели поступили в магазины, а из них — в квартиры москвичей. В 1961 году запланировано выпустить уже около тридцати двух тысяч наборов. Спрос на эту мебель растет — это значит: самый строгий, самый придирчивый экзаменатор — покупатель дал ей высокую оценку. И если еще один раз услышишь скептическое заключение от пожилого человека, привыкшего к массивной, с украшениями мебели, то молодежь привлекает в новой мебели все: новый рисунок, легкость, изящество форм. Именно такой, по мнению молодежи, и должна быть обстановка современной квартиры: чтобы немного времени тратилось на уборку, легко было бы переставлять мебель и даже перевозить ее.

Конструкторы создали два новых типа мебели: секционную и разборную. Отдельные секции можно устанавливать и использовать по собственному усмотрению. Вот, например, два небольших серванта и горка. Серванты можно свинуть и поставить посередине горки. Один вариант. А можно из одного серванта и горки сделать небольшой буфет, а другой приспособить как шкафчик для белья, книг, тумбочку под телевизор.

Еще интереснее разборная мебель. Московская фабрика № 3 производит десять видов щитков, из них собирают и выпускают в продажу четырнадцать различных изделий. Вы можете прямо в разобранном виде привезти щитки домой и здесь собрать: крепятся они очень просто. А потом, если захотите, сами займитесь несложным конструированием: из пяти более сложных вещей вы сможете собрать шесть или семь менее сложных. А если вдруг появится много книг и книжный

шкаф станет мал, купите в магазине дополнительно несколько щитков и надстроите свой шкаф сами! Возможности неграничены. Конструкторы подсчитали, что из десяти различных щитков можно построить многие сотни различных предметов, чтобы удовлетворить любые запросы.

Веками дерево считалось единственным материалом для производства мебели. А теперь его все решительнее теснят разнообразные синтетические материалы: слоистые и рулонные пластики, полихлорвинил, пластмасса. Да и само дерево используется уже несколько иначе. Дорогостоящую древесную плиту заменила плита из прессованной стружки, даже из опилок начали прессовать отдельные детали.

Художники украшают новую мебель цветной отделочно-декоративной фанерой. Химики разработали составы специальных лаков, придающих поверхности мебели вид полированного дерева. Ученые продолжают рабо-

тать сейчас над составами лаков особо высокой прочности, чтобы можно было перевозить мебель, не боясь поцарапать нарядную поверхность, чтобы прямо на стол можно было поставить горячий чайник и не осталось бы следа.

Однако поговорим с теми, кто уже получил новую мебель, кто уже успел обжить ее, почувствовать ее достоинства и недостатки. Все они отзываются о ней с большим одобрением: «Хорошая, удобная, красавая». И все-таки существуют еще досадные мелочи, которые портят настроение ее владельцам. Получив новую мебель, молодые супруги Вера и Станислав Г. долго примерялись, как ее разместить. Ставили и так и этак: мебель легкая — десять минут, и все стоит иначе. Наконец, удовлетворенные, присели на диван. И вдруг перед глазами сверкнула прерывистая полоса некрашеного дерева: белели боковые стенки слегка выступаю-

щих вперед ящиков комода. Пришлось искать для комода новое место и ставить его уже не там, где хотелось.

Неустойчивым оказался секретер: стоило положить руки на доску, и он наклонялся. Напрасно Станислав искал на задней стенке какие-нибудь при способления, чтобы прочно укрепить секретер: их не предусмотрели...

Тамара и Альберт К., едва успели получить однокомнатную квартиру, заказали себе новую мебель. И тут же со свойственной молодым горячностью начали продавать старые вещи. К тому времени, когда пришло извещение, что можно получить заказ, их комната была совершенно пустая. Счастливые, примчались молодые люди в магазин № 23, где выдают заказы, и тут же застыли разочарованные: вместо мебели с нарядной обивкой, которую они облюбовали в магазине-ателье, на них смотрели

серые, невзрачные диваны и стулья. Директор магазина развел руками: такую мебель присылает фабрика, другой нет. В Мосмебельторге тоже развернули руками: текстильщики виноваты. Обещают только на будущий год наладить производство новых нарядных тканей для обивки...

А как же сейчас? Хорошо было бы, если бы прямо в магазине-ателье покупатели могли не только заказать мебель, но по альбому образцов выбрать нужный им цвет обивки. А ведь организовать это, казалось бы, не так уж сложно. Многих покупателей огорчает, что в гарнитуре нет детской мебели. А ведь почти в каждой семье есть дети.

Бурными темпами развивается наше жилищное строительство. И отличная новая мебель должна стать приятным подарком молодым новоселам.

С. МАРИНИНА

## У КАЖДОГО СВОЯ ДОРОГА

**Н**егромко постукивает мел по доске. Знакомые слова, с которых начинаются сотни задач: «Путешественник вышел из точки А и направился в точку Б...» Неутомимый путешественник! Что ты ищешь в этой точке Б, почему тебе так нужно туда попасть?

К восьмому классу для Леонида Солодкина стало совершенно ясно, что путешественник — геолог, что зовут его Леонид, что ровно через семь лет (два до окончания школы, пять — институт) он в качестве начальника поисковой партии выйдет в неизвестную точку Б, чтобы отыскать скрытые от любителей несметные сокровища алмазных россыпей.

Но в институт Леонид не прошел по конкурсу. Где-то в точке В на втором году он сошел с намеченной дороги, неожиданно для себя поступил в техническое училище, где готовят токарей, фрезеровщиков, сборщиков, контролеров ОТК, конструкторов-чертежников. Здесь он встретил товарищей по несчастью, как ему тогда казалось. Встретил тех, кто так же, как и он, считал, что свернул в сторону, на проселок от своей мечты.

Десятилетка, техническое училище, завод — так начали свою сознательную жизнь Леонид, Алла, Валентин, Виктор и их друзья. Читатели «Юности» знакомы с этими ребятами по очерку Б. Кравченко «В пути», который был напечатан четыре года назад<sup>1</sup>. Автор прощается с героями в тот момент, когда они получили специальность, которой гордятся,

часть которой берегут. Это простая рабочая специальность — токарь. Но она научила их понимать, что каждое дело, если его любишь, приносит счастье и что совсем не так легко, как это представлялось прежде, найти свою единственную точку — дело, которому готов отдать всего себя.

И вот прошло четыре года...



**«** пять опоздал, — с досадой думал Валентин Алифанов, поднимаясь по лестнице. — Юрка, наверное, уже уснул».

Прямо от двери осторожно, на цыпочках, подошел к кроватке: так и есть, сын спит.

А все-таки приятно, когда все знакомые говорят: мальчик — выпитый отец. И начинают загадывать, кем же он будет.

— Уж Юрка-то сразу в институт поступит, — уверенно заявляет бабушка. — Сразу инженером станет.

А может, и не нужно, чтобы сын сразу инженером стал? Может, и лучше так, как отец?

В восемнадцать лет Валентин встал за токарный станок. Каждый день, волнуясь, ждал минуты, когда вместе со всеми пойдет сдавать мастеру готовые детали и, сдерживая гордость, спокойно скажет: заказ выполнен. А мастер удовлетворенно кивнет головой и даст ему новую работу, посложнее, потом еще сложней, словно проверяя новичка. Про-

<sup>1</sup> См. «Юность» № 7 за 1956 год.

шли месяцы, и Валентин уже мог работать строительщиком, слесарем, фрезеровщиком. Его привели в механики, потом в старшие механики. И вот только теперь он поступил в институт...

Недавно встретил приятеля, в школе вместе учился. Похлопал он его, Валентина, покровительственно по плечу и говорит:

— Что ж это ты, дружище, так отстал? Способный ведь был... У меня уже диплом в кармане, а ты...

Да разве только в дипломе дело? О нем Валентин как-то и не думал. Просто он должен был понять, понять до конца, что же ему больше всего нужно в жизни. Понадобился год у стакка, несколько лет в лаборатории, чтобы точно определить: пойду в Институт химического машиностроения, буду инженером-механиком.

Сейчас даже забавно вспоминать, как он шесть лет тому назад подавал заявление в Горный институт. Почему в Горный? Да просто полкласса пошло туда, и он с ними. Трудно сказать сейчас, вышел бы из него горный инженер и какой. Зато инженером-механиком он станет обязательно, и не таким уж плохим, за это он ручается.

Сын вдруг заворочался, зачмокал во сне губами, и Валентин поспешно отошел, боясь разбудить.

— Что так поздно? — шепотом спросила жена, собирая ужин.

— Комсомольское собрание проводили. Вопросы серьезные: ускорение пуска производственных мощностей. Проверяли работу комсомольских постов. Скоро соревнования по легкой атлетике. А надо бы с товарищами по училищу встретиться. Наверное, новостей у каждого — ворох.



**T**ихо в конструкторском бюро. Перед Аллой Мамонтовой только что начатый чертеж детали пневматического пресса. Подошел инженер, посмотрел на чертеж и молча отошел.

Работается легко. Четкие линии ложатся на ватман, и Алла уже представляет себе каждое движение токаря, который будет вытачивать эту деталь по ее чертежу. Еще бы! Ведь совсем недавно она сама была токарем.

В токарном цехе мальчишки считали Аллу «своим парнем»: работала ловко, красиво, словно родилась токарем. Потому так удивились товарищи по цеху, когда узнали, что Алла переходит в только что созданное особое конструкторско-технологическое бюро. И горчились: эту подвижную, неугомонную девчонку любили все. В то время Алла уже учились на втором курсе заочного машиностроительного института, и ей хотелось попробовать свои силы в инженерном творчестве.

С первых же дней работы в конструкторском бюро она решила, что это — самое интересное место на заводе. Сюда поступают из цехов заказы на изготовление нужных приборов, приходят рабочие со своими идеями усовершенствования станков. И они, инженеры и техники конструкторского бюро, создают эти приборы, переводят идеи на язык чертежей и цифр.

А какую гордость испытывала Алла, когда этой весной их конструкторское бюро организовало на заводе выставку своих работ и учиться к ним приезжали гости со всей страны!

Пока еще Алла работает техником-конструктором. Но уже сейчас она мечтает, как через три года, окончив институт, придет сюда инженером-конструктором.

Увлекательная работа ждет ее здесь!

декабрь 1980 года № 12

**C**транная акустика в Колонном зале: играешь и не слышишь своих товарищ, сидящих впереди.

Приходится внимательно следить за дирижером: не мудрено и сбиться.

А мелодия песни, то плавная, то быстрая, сама рвется со струн, и кажется, нет уже ни оркестра, ни огромного зала. Просто солнечным полднем ветер бежит по вершинам деревьев, шепчутся березы, тонко звенят ветви сосны, глухо и раздумчиво отзываются ели...

К этому, наверное, нельзя привыкнуть. С десяти лет играет Виктор Александров в оркестре народных инструментов Дворца культуры ЗИЛа, но неизменно с каждым выступлением приходит этот радостный подъем.

— Видно, играть тебе всю жизнь на своей домре — ничего больше, — нарочно вздыхая, подзадоривает мать.

Может, и на домре... Но как же — ничего больше? Ведь он токарь уже несколько лет и, кажется, совсем неплохой токарь. Работает серьезно, на совесть, всегда перевыполняет норму. И мастер доволен им. А потом есть еще любимая радиотехника. Вот он, лежит почти собранный им самим карманный радиоприемник.

Впрочем, он прекрасно знает, чего хочет от него мать. Об этом же не раз спрашивали ребята из училища.

— Ну, ты решил наконец, где дальше учиться будешь?

Не так просто ответить на этот вопрос. Не так-то просто найти дело, в котором твои силы и знания нужнее всего. Но ответ будет найден непременно — слишком часто и всерьез задумывается над этим Виктор.



**M**ы сидим с Леонидом Солодкиным на скамейке в сквере под Кремлевской стеной. День жаркий, но в тени деревьев дышится легче. Мимо нас, прямо по солнечным зайчикам на земле, спотыкаясь на нетвердых ножках, бежит малыш, одна за другой катятся коляски...

Рассеянно следя за ними, Леонид пытается рассказывать о себе, но, видимо, от смущения выходит у него как-то уж слишком скромно...

— Три года провел в армии, потом снова вернулся на тот же завод. Занимался на курсах. В этом году сдал экзамены в заочный машиностроительный институт. А пока — токарь. Стоило ли начинать рабочим, чтобы потом все равно пойти в вуз? Думаю, что стоило; хороший инженер должен всегда уметь сам любую деталь сделать. Сейчас я очень рад, что окончил техническое училище.

Он задумался на минуту, потом снова заговорил, быстро, точно убеждая:

— А вы думаете, тогда мы с радостью шли в училище? Да почему же мы, собственно, могли радоваться? В школе все настроились поступать в вуз; в вузы мы провалились, надо было учиться какому-то делу — вот и пришли сюда. Ведь и представления не имели, что такое работа токаря, слесаря, фрезеровщика. Впрочем, о какой работе мы тогда имели представление? Я хотел быть геологом-разведчиком. Начитался книг, мечтал, как будущий скитаться по тайге, бродить по горам, охотиться, ночевать у костра. В этом возрасте, уверен, большинство ребят мечтают о том же. Так же, наверное, как и стихи пишут.

Не понимали мы тогда, что во всяком деле есть своя романтика. Тогда, поступив в училище, многие ребята думали: конец мечте. А вышло наоборот. Но-вая, трудовая жизнь захватила всех.

Когда научились что-то делать сами, мы почувствовали себя хозяевами своей жизни, своей судьбы, ответственными за нее. Так незаметно пришла самостоятельность, и мечта наша стала глубже, умнее, а главное, доступнее.

Четыре человека вместе вступили в жизнь. Вместе провели они год в училище, вместе пришли на завод. Здесь они научились мерить всю свою жизнь трудом. Здесь окрепли их крылья, отсюда разошлись пути, и каждый из них догоняет свою мечту.

М. СЛАНСКАЯ

## ШАХМАТЫ

# МАШИНА УЧИТСЯ ИГРАТЬ

В прошлом веке изобретательный венгр Кемпелен сконструировал «шахматный автомат». На массивном столе стояла шахматная доска с фигурами, за столом сидел «турок» в чалме, передвигавший фигуры левой рукой. «Автомат» пользовался большим успехом и демонстрировался в разных странах. Механический шахматист играл очень хорошо.

Перед началом каждой партии публике показывали внутреннее устройство автомата: открывали разные дверцы, всюду виднелись колесики, пружины, рычаги и т. п. Зрители убеждались, что человеку решительно негде поместиться внутри. Однако в автомате был очень искусно спрятан человек — опытный шахматист, который, наблюдая за положением на доске, приводил в движение левую руку «автомата». А специальная система зеркал скрывала шахматиста внутри фигуры «турка».

Несколько лет назад современный карикатурист изобразил Кемпелена, глядящего на полностью автоматизированный завод. «Нужели все это тоже обслуживает только один спрятанный человек?» — удивляется хитроумный изобретатель.

Еще два-три десятилетия назад почти никто не верил в создание механического шахматиста. Но сегодня уже никто не спорит, сможет ли электронная счетная машина играть в шахматы. Она сыграла уже свои первые партии. Ее спортивная карьера началась. Теперь спорят о другом: сможет ли машина играть хорошо? И здесь мнения разделяются.

Мастер М. Юдович, например, пишет: «Машина играет в шахматы! Не пришло ли в связи с этим время говорить о гибели шахмат, о том, что совершенные машины будут играть безшибочно, побеждая умеющих ошибаться людей? Нет, это время не пришло и вряд ли придет. Ведь шахматы — это творчество, это смелое дерзание, это поиски нового. Машина твердо будет знать, что ферзь сильнее коня, но создавать комбинацию, в которой конь побеждает ферзя, ей вряд ли будет по силам».

Конечно, знания о шахматной игре все углубляются, число возможных ходов в самых обычных положениях грандиозно (хотя и не бесконечно!), и это заставляет многих прийти к выводу, что лишь человеческий разум может решать цель задачи, необходимых, чтобы найти сильный ход, верный план, чтобы играть мастерски. Действительно, машины пока играют плохо, но не надо быть слишком строгим. Ведь теперешние гроссмейстеры свои первые партии тоже играли слабо!

Счетные электронные машины находятся еще в детском возрасте своего развития, однако они уже решают многие научные и технические вопросы, которые совсем недавно считались неразрешимыми. Несомненно, что, создав такие машины, человек вооружил свой разум. Выдающийся советский шахматист, доктор технических наук М. Ботвинник, к примеру, считает, что машины будут играть сильно. Во всяком случае, экспериментальная партия такой машины с начинающим шахматистом принесла победу машине. Правда, встреча проводилась не на обычной доске, а на уменьшенной (36 клеток) без коней в начальной позиции.

Итак, существуют два мнения о возможностях машины. Для того, чтобы присоединиться к той или другой спорящей стороне, попробуем сначала разобраться в том, как шахматист обдумывает ход и принимает решение.

Даже начинающие любители знакомы с выражениями «комбинационный игрок», «позиционный игрок». Начинающий шахматист за эпитетом «комбинационный» обычно видит игрока с горящими от вдохновения глазами, с растянутой шевелюрой, а позиционный представляется аккуратным и, конечно, скучноватым субъектом.

В жизни все часто обстоит не так. Нет воображаемых «комбинационных» и «позиционных» шахматистов, хотя существует великое многообразие стилей, индивидуальных почерков. Любой сильный шахматист, независимо от его стиля, умеет рассчитывать вариан-

ты (то есть комбинировать) и умеет оценивать создавшееся положение и принимать позиционные решения. При оценке положения шахматист руководствуется накопленным опытом и знаниями. Этими методами владеет и позиционный и комбинационный игрок. Речь может идти только о преобладании того или другого метода.

В самом деле, как далеко ни рассчитывай варианты, через какое-то количество ходов придется остановиться. Ход мыслей будет выглядеть примерно так: «Я туда, он сюда. Тогда я туда, а он сюда. Что же получилось?» Как видите, вначале расчет, а затем оценка. Бывает и наоборот. Сначала оценка: «Надо занять седьмую горизонталь ладьей, это почти всегда хорошо (оценка). А как пойдет противник? Очевидно, туда...» Начинается расчет.

Теперь познакомимся с возможностями машины. Мощность ее в области расчета известна, и эта мощность быстро растет. Однако решить задачу, выигрывают ли белые в начальной позиции, или же игра должна закончиться вничью, машина еще не может. Значит, чтобы научиться играть хорошо, машина должна научиться оценивать. Сами настраивающиеся счетные машины способны накапливать и использовать опыт, а со временем они будут еще более усовершенствованы. Получив для сведения изрядную порцию отобранных мастерами типичных комбинаций, позиционных приемов, освоив несколько тысяч лучших партий, машина сумеет решать и чисто позиционные проблемы, то есть научится давать оценку.

Допустим, что это не предположение, а уже свершившийся факт. Какие же шансы будет иметь машина в игре против человека?

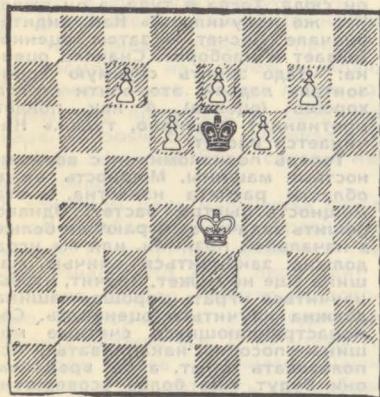
Память у машины неизмеримо лучше, чем у человека: машина не устает и до бесконечности терпелива. Самочувствие у нее всегда «бодрое», настроение всегда рабочее. Никакие события не могут отвлечь ее от игры, она всегда будет действовать в полную силу. Машина не будет допускать так называемые «зевки» — элементарные просчеты. Словом, «спортивные

качества» у машины сильнее, чем у человека. «Подучившись», машина сможет играть, как мастер, хотя в «оценке» позиций будет, вероятно, избирать чаще всего шаблонные решения.

Развитие машин не ликвидирует, разумеется, шахматную игру между людьми, но кое-какое влияние, быть может, окажет. Сейчас игра в больших состязаниях длится не более пяти часов. За это время партнеры обязаны сделать по сорок ходов, затем партия откладывается. Возможность машин анализировать позиции сделает откладывание нежелательным, так как появится возможность «посоветоваться» с машиной. В связи с этим, возможно, придется изменить и контроль времени. В угрожаемом положении окажется игра по переписке. С участниками турниров придется брать честное слово, что они не будут тайком получать консультацию у машины.

Вопросы шахматной квалификации можно будет решать быстро и справедливо. Предположим, человек претендует на первый разряд. Его подводят к машине, специально отрегулированной для определения силы первого разряда. Машина задает человеку нужные вопросы, проверяет верность ответов, учитывает затраченное человеком время и в случае удачи немедленно, без волокиты выписывает классификационное удостоверение по всей форме.

Остается вопрос: сможет ли машина создать комбинацию, в которой «конь побеждает ферзя»? Сможет! И обязательно создаст! В подтверждение этого утверждения приведу пример. Как-то машине предложили такую задачу.



Мат в три хода.

На решение задачи машине понадобилось 12 минут.

Решение: 1. e7—e8C! Креb:d6 (f6) 2. c7—c8L! (g7—g8L!), и мат ладьей следующим ходом по шестой горизонтали.

Машине сумела разобраться, что лучше поставить на доску слона, а не ферзя. Сообразила, что жадность приводит к пату. Значит, у нее весьма приличные шахматные способности!

Следует отметить, что в задаче фигуры расположены на первых четырех горизонталях. Машине пришлось перебирать варианты на первых четырех горизонталях, чтобы найти правильный. Но это не означает, что машина не может решать задачи с фигурами на всех шести горизонтах.



# ЮНОСТЬ

№ 10

ОКТЯБРЬ

1960

## В НОМЕРЕ:

Радий ПОГОДИН. Дубравка. Рассказ	2
Сергей АНТОНОВ. Порожний рейс. Рассказ	14
Андрей БЛИНОВ. Никогда без любви. Рассказ	31
Олег ДМИТРИЕВ. Да здравствуют наши парни	42
Новелла МАТВЕЕВА. Бобры. Открытое письмо анониму. В детстве. Ночь. Лженоваторам. Архивист. «Ночь по холмам не погоду гнала...» Стихи	43
Т. ЖИРМУНСКАЯ. Бессонница. Мой поезд. Шаги. «Сети кругом развесены...» Стихи	45
И. КАШЕЖЕВА. На «ты» перейти не просто. Тусклые окна светятся. Стихи	46
Светлана ЕВСЕЕВА. Рыбачки. Мать. Когда степные города росли. Весна. Гость в Москве. Лето. Былина. О красивом. О любви. «Ты сегодня и потом...» Защита. В гостях. Стихи	47
Инна ГОФФ. Северный сон. Маленькая повесть	50
Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ. Пресмыкающимся. Стихи	69
Е. СУВОРИНА. На улицах Москвы	70
К. ДОРОФЕЕВ. Верю, Алексей!	74
<b>К нашей вкладке</b>	
А. ЗАМЯТИНА. Оноре Домье	79
Э. ЧЕРЕПАХОВА. Любимец публики. очерк	81
И. НЕРАКОМОВА. Цифры и жизнь	86
<b>Панorama «Юности»</b>	
Пословицы африканских народов	92—93
Ожившие камни пустыни. (Наскальные фрески Сахары)	94

## Заметки и корреспонденции

\* С. МАРИНИНА. Просто, удобно, красиво! \* М. СЛАНСКАЯ. У каждого своя дорога

107—111

## Шахматы (под редакцией В. Васильева)

М. БЕЙЛИН. Машина учится играть

111—112

На 1-й и 4-й страницах обложки — рисунок С. ИСАЕВА

**С 1 ОКТЯБРЯ ОТКРЫТ ПРИЕМ ПОДПИСКИ НА ЖУРНАЛ «ЮНОСТЬ» [НА 1961 ГОД].**

Подписная цена на год — 48 рублей, на шесть месяцев — 24 руб. и на три месяца — 12 рублей.

Подписка принимается отделами «Союзпечати», отделениями связи и общественными распространителями печати.

**РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «ЮНОСТЬ» И ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА»  
ПОДПИСКИ НЕ ПРОИЗВОДЯТ.**

Художественный редактор  
Ю. Цицковский

Технический редактор  
Л. Зябкина

Адрес редакции: Москва, Г-69, ул. Воровского, 52. Телефоны: Д 5-17-83.  
Рукописи не возвращаются.

А 06435. Подписано к печати 20/IX 1960 г. Тираж 510.000 экз.  
Изд. № 1615. Заказ № 2306. Формат бумаги 84×108/16. Бум. л. 3,63.  
Печ. л. 11,89.

Ордена Ленина типография газеты «Правда» имени И. В. Сталина.  
Москва, ул. «Правды», 24.



ОНОРЕ ДОМЬЕ.

Сцена из спектакля.

Цена 4 руб.

81 - 10. 84

Главный редактор В. П. КАТАЕВ.

Зам. главного редактора С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ.

Редакционная коллегия: И. Л. АНДРОНИКОВ, В. Н. ГОРЯЕВ,  
Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ (отв. секретарь), С. Я. МАРШАК, Г. А. МЕДЫНСКИЙ,  
Н. Н. НОСОВ, М. П. ПРИЛЕЖАЕВА, В. С. РОЗОВ.